

Джозеф Конрад
Личное дело.
Рассказы

Joseph Conrad
A Personal Record.
Stories

Doubleday 1920

Джозеф Конрад
Личное дело.
Рассказы

УДК 821.111
ББК 84.4ВЕЛ
К64

Перевод — Мастерская литературного перевода Д. Симановского
Дизайн — ABCdesign

Конрад, Дж.

К64 Личное дело / Джозеф Конрад. — М. : Ад Маргинем Пресс, 2019. —
416 с. — ISBN 978-5-91103-475-7.

Джозеф Конрад (1857–1924) — классик британской литературы, один из пионеров модернизма, автор повести «Сердце тьмы», оказавшей значительное влияние на культуру XX века. В восьми рассказах, публикующихся на русском языке впервые, освещены основные темы творчества Конрада: морские приключения и экзотические страны («Подельник» и «Всё из-за долларов»), столкновение буржуазного общества и революционных движений начала XX века («Анархист», «Осведомитель»), судьба родной для писателя Польши («Князь Роман»), проблемы этического выбора («Сказка», «Возвращение»). В сборник также вошло «Личное дело» — единственная автобиография и своего рода творческое и гражданское кредо Конрада.

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Личное дело

Предисловие без церемоний 9

Примечание автора 18

Личное дело 25

Рассказы

Возвращение 144

Анархист 201

Осведомитель 223

Граф 248

Компаньон 265

Всё из-за долларов 297

Князь Роман 333

Сказка 356

Джозеф Конрад: взгляд из России XXI века.

Д. Симановский 375

Благодарности 412

Источники текстов 413

Переводчики 414

Личное дело

Предисловие без церемоний

Нас редко приходится уговаривать, чтоб мы рассказали о себе. Однако эта книжка появилась в результате дружеского предложения и даже некоторого не менее благожелательного давления. Я слегка поотпирался, но все тот же благожелательный голос со свойственной ему настойчивостью повторил: «Ну ты же знаешь, это надо написать».

Это, конечно, не довод, но я немедленно сдался. Надо так надо!

Все мы во власти слова. Кто хочет быть убедительным, должен вескому аргументу предпочесть меткое слово. Звук всегда доходчивее смысла. Я вовсе не умаляю значение смысла, но восприимчивость лучше раздумий. Раздумья не породили ничего великого — великого в смысле влияния на судьбы человечества. С другой стороны, невозможно игнорировать силу простых слов, таких, например, как Слава или Сострадание. Но — продолжать не стану. За примерами далеко ходить не надо. Произнесенные громко, настойчиво, уверенно и страстно, одним своим звучанием эти слова привели в движение целые народы и взрывали сухую, жесткую твердь, на которой покоится вся наша социальная структура. А возьмите «добродетель»!.. Конечно, нужно позаботиться и об интонации. Правильной интонации. Она очень важна. Вместительные легкие, зычный глас или нежные трели. Да что там Архимед с его рычагом. Человек, поглощенный своими математическими размышлениями. Математиков я всемерно уважаю, но механизмы мне ни к чему. Дайте мне правильное слово и интонацию, и я переверну землю!

Вот мечта, достойная сочинителя! Ибо и у написанных слов есть своя интонация. Именно! Дайте только найти нужное слово! Наверняка оно лежит где-нибудь среди обрывков причитаний и ликующих возгласов, что людские уста исторгают с того самого дня, когда надежда, неугасимая и вечная, сошла на эту землю. Оно там, это слово — затерянное, неразличимое, совсем близко, — только протяни руку. Но тщетно. Нет, я верю, что есть те, кто способен легко найти иголку в стоге сена. Однако я не из таких счастливицков. А ведь есть еще интонация. Еще одна загвоздка. Кто станет утверждать, верна ли интонация, пока слово не прозвучит, и не развеется, неслышанное, по ветру, так никого и не тронув? Давным-давно жил император. Он слыл мудрецом и был не чужд сочинительства. На дощечках слоновой кости записывал он мысли, изречения, замечания, по счастью сохранившиеся в назидание потомкам. Среди других изречений — я цитирую по памяти — вспоминается одно торжественное напутствие: «Пусть высокая истина звучит во всех твоих словах». Высокая истина! Звучит! Все это здорово, но легко же было суровому императору строчить претенциозные советы. В этом мире в ходу приземленные, а не высокие истины; и были времена в истории человечества, когда произносивший высокие истины вызывал лишь насмешку.

Едва ли читатель рассчитывает найти под обложкой этой небольшой книги слова необыкновенной мощи или героические интонации. Как бы ни задевало это мое самолюбие, должен признаться, что советы Марка Аврелия не для меня. Они больше подходят моралисту, чем творцу. Все, что я могу вам обещать, — это далекая от героизма правда и абсолютная искренность. Та драгоценная искренность, что, оставляя человека безоружным перед врагами, может поссорить его и с друзьями.

«Поссорить», наверное, слишком сильно сказано. Сложно представить, что у кого-то из моих врагов или друзей нет других дел, как затевать со мной ссору. Лучше сказать «может расстроить друзей». С тех пор как я стал сочинять, большинство, если не все мои дружеские отношения завязались благодаря книгам; и я знаю, что писатель живет своей работой. Он погружен в нее, как единственный реальный

персонаж созданного им мира, среди воображаемых вещей, происшествий и людей. О чем бы он ни писал — все это о себе. Но се же раскрывается он не полностью. Он как будто прячется за шторой; о его присутствии можно только догадываться, расслышав голос или уловив движение за складками повествования. В этих записях мне не за что прятаться. Мне все время приходит на ум фраза из трактата «О подражании Христу», где автор — монах, глубоко постигший жизнь, говорит, что «высоко ценимые люди, раскрывая себя, могут запятнать свое доброе имя». Именно этой опасности подвергает себя писатель, решивший говорить о себе открыто.

Пока главы этих воспоминаний выходили в прессе, меня нередко упрекали в расточительности. Будто бы я по собственной прихоти транжирю материал для будущих книг. Возможно, дело в том, что я не литератор до мозга костей. Ведь человек, который до тридцати шести лет не написал ни строчки для печати, не способен заставить себя воспринимать свой жизненный опыт, все умозаключения, ощущения и эмоции, воспоминания и сожаления, весь багаж собственного прошлого лишь как материал для работы. Года три назад, когда я опубликовал «Зеркало морей» — собрание впечатлений и воспоминаний, я получал схожие замечания. Практического толка. Но, по правде говоря, я никогда не понимал, что именно мне советовали приберечь. Я хотел отдать дань морю, кораблям и людям, которым обязан столь многим, которые сделали меня таким, какой я есть. Мне казалось, что только так я мог выразить свою благодарность минувшему. Относительно формы у меня сомнений не было. Возможно, экономя из меня и вправду никомушний, но это уже не исправить.

Я возмужал в особых условиях морской жизни и испытываю глубокое благоговение перед тем временем: впечатления от него были яркими, обаяние непосредственным, а требования — соразмерны нерастраченным силам и юношескому пылу. В них не было ничего, что могло бы смутить неокрепший ум. Я вырвался из родных пенатов под шквалом упреков от всякого, кто считал себя хоть сколько-нибудь вправе высказать свое мнение, и, очутившись на огромном расстоянии от

естественных привязанностей, которые у меня еще оставались, был отчужден от них совершенно непостижимым характером той жизни, что таинственным образом заставила меня забыть свои корни. Сейчас я без преувеличения могу сказать, что в силу слепой воли обстоятельств морю суждено было заменить мне весь мир, а торговому флоту — стать моим единственным домом на долгие годы. Неудивительно, что в двух моих сугубо морских книгах — «Негре с Нарцисса» и «Зеркале морей» (и в нескольких морских рассказах, таких как «Юность» и «Тайфун»), — я попытался с почти сыновьим почтением передать биение жизни в огромной стихии воды, в сердцах простых мужчин, которые веками бороздят эту пустыню, и тот дух, что обитает на корабле — творении их рук, предмете их заботы.

Литературе часто приходится подпитываться воспоминаниями и возвращаться к беседам с призраками прошлого, если только автор не решил посвятить себя обличению человеческих грехов или восхвалению его мнимых добродетелей, а попросту — нравочениям. Но я не избалованный, не льстец и не ментор, поэтому все это не про меня, и я готов смириться со скромной ролью, отведенной тем, кто предпочитает не выпячивать своего мнения. Но смирение не есть безразличие. И я бы не хотел оставаться простым наблюдателем на берегу великого потока, увлекающего столько жизней. Я бы хотел обладать той степенью пронизательности, что может быть выражена в словах сочувствия и сострадания.

Думается, что по крайней мере в одном авторитетном кругу критиков меня подозревают в некоей бесстрастности, в мрачном безучастии — в том, что французы назвали бы *sécheresse du coeur*[•]. Пятнадцать лет непрерывного молчания, а затем множество как хвалебных, так и нелестных отзывов сформировали наконец мое отношение к критике, этому прекрасному цветку субъективности в саду литературы. Но подозрение это в большей степени касается именно человека — того, кто скрывается за текстом, и потому его уместно будет обсудить в книге, которая представляет собой личные

• Черствость сердца (*франц.*) — Здесь и далее примечания переводчика.

записи на полях общей истории. Не то чтоб это меня хоть как-то задевает. Обвинения — если их вообще можно так назвать — предъявлены в самых взвешенных выражениях и весьма сочувствующим тоном.

Моя позиция состоит в том, что если всякий роман содержит элемент автобиографии — а это трудно отрицать, поскольку только в творчестве автор может отразить собственные переживания, — то непосредственное выражение собственных чувств для некоторых из нас просто невыносимо.

Я бы не стал чрезмерно превозносить способность к самообладанию. Чаще это вопрос темперамента. Но это не всегда признак равнодушия. Это может быть гордость. Для автора нет ничего унижительнее, чем пустить стрелу эмоции и промахнуться, не вызвав ни смеха, ни слез. Ничего более унижительного! И все потому, что выстрел мимо цели, когда открытая демонстрация чувств не трогает читателя, вызывает лишь отвращение или презрение. Не стоит упрекать художника, когда он втягивает голову от страха перед вызовом, который с радостью принимает лишь глупец и лишь гений осмелится не заметить. В работе, суть которой — в более или менее откровенном обнажении души, внимание к приличиям, пусть даже ценой успеха, является желанием сохранить достоинство человека, которое неразрывно связано с достоинством его произведений.

И потом, невозможно жить на этой земле в неомрачаемой радости или непрерывной печали. Комичное, когда речь о человеке, часто оборачивается страданием; да и беды наши (только некоторые, не все, поскольку именно способность к страданию возвеличивает человека в глазах других) — следствие слабостей, которые нужно встречать с участливой улыбкой, поскольку все мы не без греха. Радость и печаль в этом мире перетекают друг в друга, смешивая черты и голоса в сумерках жизни, непостижимой, как океан в тени облаков, когда ослепительно-яркий свет самых высоких надежд, пленительный и неподвижный, горит на самом краю горизонта.

Да! Я бы тоже хотел иметь волшебную палочку, чтобы повелевать смехом и слезами, ведь это признается высшим

достижением художественной литературы. Только чтобы стать великим фокусником, нужно отдаться силам мистическим и безответственным либо в помыслах, либо в реальности. Все мы слышали о простаках, за любовь или власть продающих душу какому-нибудь карикатурному дьяволу. Даже самый заурядный ум без долгих размышлений поймет, что в такой сделке ничего не выиграешь. Потому и мое недоверие к подобным аферам не является признаком какой-то особой мудрости. Возможно, мое морское воспитание наложило на естественную склонность держаться за то единственное, что принадлежит мне по-настоящему, — но правда в том, что я определенно страшусь пусть даже на одно мгновение утратить полную власть над собой — самообладание, которое является обязательным условием хорошей службы. А представление о хорошей службе я сохранил и в своей новой ипостаси. Я, никогда не искавший в письменном слове ничего, кроме воплощения Красоты, — перенес этот догмат веры с корабельных палуб в более тесное пространство рабочего стола и поэтому, полагаю, стал навечно ущербным в глазах не называемой вслух компании строгих эстетов.

Как в политической, так и в литературной жизни человек приобретает друзей благодаря силе своих предубеждений и последовательной узости взглядов. Но я никогда не мог полюбить то, что не вызывает любви, или возненавидеть то, что не вызывает ненависти, из одних только принципиальных соображений. Сочтете ли вы это признание смелым или нет, я не знаю. Когда половина жизненного пути уже пройдена, и опасности, и радости мы встречаем без особого волнения. Поэтому, ступая с миром, я продолжаю утверждать, что в стремлении нагнетать эмоции я всегда видел лишь проявление все обесценивающей неискренности. Чтобы по-настоящему тронуть, мы умышленно позволяем себе выйти за рамки обычного восприятия — почти невинно, по необходимости, подобно актеру, который со сцены говорит громче, чем в обычном разговоре, — но все же пересекать эту грань нам приходится. И большого греха в этом нет. Но опасность в том, что писатель становится жертвой собственных гипербол, теряет

верную тональность искренности и доходит до того, что презирает уже саму правду — слишком холодна, слишком груба для него правда, — уж не чета она его ярким чувствам. От смеха и слез легко скатиться до нытья и подхихикивания.

Такие рассуждения могут показаться эгоистичными; но нельзя же, будучи в здравом уме, осуждать человека за заботу о собственной целостности. Это его прямая обязанность. И менее всего можно осуждать художника, как бы робко и небезупречно он ни преследовал свою творческую цель. В этом внутреннем мире, где его мысли и чувства бродят в поисках воображаемых приключений, нет ни полиции, ни закона, ни давления обстоятельств, ни страха перед чужим мнением, которые удерживали бы его в рамках. Кто ж тогда скажет «нет!» искушениям, если не собственная совесть?

А кроме того — здесь и сейчас, не забывайте, разговор идет начистоту, — я думаю, что любые устремления допустимы, кроме тех, что заставляют идти по головам, пользуясь человеческой доверчивостью и страданиями. Позволительны также любые интеллектуальные и художественные амбиции в пределах здравого смысла и даже за его пределами. Они неспособны никому навредить. Если они безумны, тем хуже для художника. В самом деле, подобно всякой добродетели, честолюбивое устремление — награда сама по себе. Разве это настолько безумно — верить в безграничную власть искусства, искать новые средства, новые способы утверждения этой веры, все глубже погружаясь в суть вещей? Желание проникнуть глубже не есть жестокосердие. Летописец сердец — не есть летописец чувств, он идет дальше, как бы ни был труден путь, ведь его цель — достичь самого источника смеха и слез. Жизнь человеческая достойна восхищения и жалости. Заслуживает она и уважения. И не жестокосерден тот, кто, наблюдая за ее коллизиями, откликнется сдержанным вздохом, но не рыданием, улыбкой, но не ухмылкой. Смирение, не религиозное и отрешенное, но осознанное и подкрепленное любовью, — вот единственное человеческое чувство, которое невозможно подделать.

Не то чтобы я думал, что смирение — это последнее слово мудрости. Я все-таки дитя своей эпохи. Но я полагаю, что

истинная мудрость заключается в том, чтобы принимать волю богов, не зная точно, в чем она состоит и есть ли вообще у них воля. И в жизни, и в искусстве для счастья важно не Почему, но Как. Как говорят французы: «Il y a toujours la manière». Как это верно. Да. Всегда есть манера: и в смехе, и в слезах, в иронии, возмущении, энтузиазме, в суждениях и даже в любви. Манера, в которой, как в чертах и особенностях человеческого лица для тех, кто умеет смотреть на себе подобных, скрыта внутренняя сущность.

Читателю известны мои убеждения: мир, бранный мир людей, покоится на нескольких очень простых истинах, простых и древних, как он сам. Среди прочего он опирается на идею Постоянства. Во времена, когда только нечто революционное может рассчитывать на широкое внимание, я своими текстами не стремлюсь произвести революцию. Революционный дух чрезвычайно удобен тем, что освобождает от всех моральных принципов в угоду идеологии. Его непоколебимый, тотальный оптимизм отвращает мой разум, поскольку таит в себе угрозу фанатизма и нетерпимости. Подобные размышления, безусловно, могут вызвать лишь улыбку, но, не слишком преуспев в эстетике, я недалеко ушел и в философии.

Всякое притязание на исключительную правоту вызывает во мне насмешку и чувство опасности, не свойственное человеку с философским складом ума...

Боюсь, что, желая говорить понятнее, я начинаю излагать слишком сбивчиво, перескакивая с одного на другое. Мне так и не удалось освоить искусство беседы, искусство, которое, как я полагаю, теперь утрачено. Мое детство — время, когда формируются характер и привычки, — было наполнено часами долгого безмолвия. Голоса, его нарушавшие, к разговорам отнюдь не приглашали. Нет у меня привычки к разговорам. Однако сбивчивость эта в определенной степени даже уместна для последующего рассказа. Рассказ получился сбивчивый в результате пренебрежения хронологией (что само по себе преступление) и несоответствия принятым литературным формам (что выходит уже за всякие рамки). Меня всерьез предупреждали, что публика будет недовольна неформальным тоном воспоминаний.

«Увы! — мягко возражал я. — Прикажете начать сакраментальным „Я родился тогда-то и там-то“? Моя родина слишком далека, чтобы вызвать интерес у читателя. Удивительные приключения не преследовали меня изо дня в день. Не было среди моих знакомых замечательных людей, о которых я мог бы припомнить забавный анекдот. Я не был замешан в известных или скандальных историях. Это своего рода психологическая летопись, но даже в ней я не желаю навязывать собственные умозаключения».

Но мой критик не унимался. «К чему оправдываться в том, что уже написано, если имелись серьезные основания не писать вовсе», — говорил он.

Допускаю, что все, почти все на свете может послужить весомым аргументом в пользу решения — не писать. Но раз уж воспоминания написаны, мне остается сказать в их защиту одно: составленные без оглядки на общепринятые правила, эти мемуары — не беспорядочное словесное извержение. В них есть надежда и цель. Надежда, что по прочтении этих страниц может сложиться представление о личности человека, стоящего за столь разными книгами, как, скажем, «Причуда Олмейера» и «Тайный агент», и все же человека неслучайного и последовательного как в мотивах, так и в поступках. Это — надежда. Непосредственная же цель созвучна надежде и состоит в том, чтобы записать личные воспоминания и правдиво передать чувства и переживания, связанные с рождением моей первой книги и первым знакомством с морем.

В совместном звучании двух этих натянутых струн дружеский слух, надеюсь, различит некую гармонию.

Дж. К. К.

Примечание автора

Переиздание этой книги, строго говоря, не требует нового предисловия. Но, коль скоро лучшего места для личных замечаний не найти, я воспользуюсь возможностью в этой части обратиться к двум темам, которые, как я заметил, последнее время часто обсуждаются, когда речь заходит обо мне в печати. Первая из них затрагивает вопрос языка. Я всегда ощущал, что на меня смотрят как на некий феномен, — и такое суждение вряд ли можно назвать завидным, если только вы не выступаете на арене цирка. Нужно быть человеком особого склада, чтобы получать удовлетворение от возможности намеренно совершать нелепые поступки из чистого самолюбования. Тот факт, что я пишу не на родном языке, конечно же, обсуждался почти в каждой заметке, обзоре и более пространных критических статьях, посвященных различным моим произведениям. Полагаю, это неизбежно; нет сомнений в том, что эти комментарии могли бы польстить авторскому самолюбию. Но только не моему: в этом вопросе я лишен его совершенно. Да и взяться ему неоткуда. Первая задача этого предисловия — убедить читателя, что осозанный выбор языка не является заслугой.

Распространено представление, будто я вынужден был выбирать между двумя неродными для меня языками — французским и английским. Это представление ошибочно. Я вижу его истоки в статье, написанной сэром Хью Клиффордом и опубликованной в 1898-м году минувшего века. Немногом ранее сэр Клиффорд нанес мне визит. Он был если не первым, то вторым моим другом, обретенным благодаря работе (вторым

был мистер Каннингем-Грэм^{*}, которого, что характерно, покорил мой рассказ «Форпост прогресса»). Эти дружеские отношения, выстоявшие до сего дня, я отношу к самым драгоценным своим достижениям.

Мистер Хью Клиффорд (в то время он еще не был удостоен рыцарства) только что опубликовал первый том своих малайских записок. Я был искренне рад его видеть и бесконечно благодарен за теплые отзывы о моих первых книгах и нескольких ранних рассказах, действие которых происходило на Малайском архипелаге. Я помню, что после всех добрых слов, от которых я должен был покраснеть до корней волос, произнесенных им с возмутительной сдержанностью, он с непреклонной и в то же время доброжелательной настойчивостью человека, привыкшего говорить нелицеприятную правду даже восточным властителям (для их же, конечно, пользы), заметил, что я не имею ни малейшего представления о малайцах. Я и сам прекрасно это понимал. Я никогда не претендовал на это знание, и взволнованно парировал (и по сей день я поражаюсь своей наглости): «Конечно, я ничего не знаю о малайцах. Если бы я знал о них хоть сотую долю того, что знаете вы и Франк Светтенхам, от моих книг было бы не оторваться». Он некоторое время доброжелательно, но строго смотрел на меня, пока мы не расхохотались. В ту памятную для меня встречу двадцатилетней давности мы успели поговорить о многом; среди прочего — о характерных особенностях разных языков, и именно в тот день у моего друга сложилось представление, что я сделал осознанный выбор между французским и английским. Позже, когда дружеские чувства (совсем не пустой для него звук) сподвигли его написать заметку о Джозефе Конраде в «Норт Американ Ревью», он поделился этим представлением с публикой.

Ответственность за недоразумение, а это было не что иное, безусловно лежит на мне. Должно быть, в ходе дружеской и доверительной беседы, когда собеседники не слишком

* Британский писатель-социалист, автор критикующей империализм книги «Чертовы нигеры».

тщательно подбирают слова, я недостаточно ясно выразился. Помнится, я хотел сказать, что если бы мне пришлось выбирать между языками, я не решился бы на попытку самовыражения на таком «кристаллизованном» языке, как французский, — хотя и говорю на нем достаточно хорошо с самого детства. «Кристаллизованный» — уверен, я употребил именно это слово. А затем мы перешли к другим темам. Мне пришлось немного рассказать о себе, его же рассказы о работе на Востоке, о том особенном, его личном Востоке, о котором у меня были лишь обрывочные, весьма туманные представления, полностью меня поглотили. Возможно, нынешний губернатор[•] Нигерии запомнил эту беседу не так хорошо, как я, и он вряд ли станет возражать против того, чтобы я, как говорят дипломаты, «ректифицировал»^{••} заявление малоизвестного писателя, которого, следуя порыву щедрой души, он нашел и сделал своим другом.

А правда в том, что мое умение писать по-английски — такая же природная способность, как любые другие врожденные данные. У меня есть странное чувство непреодолимой силы, что английский — всегда был неотъемлемой частью меня. Это никогда не было вопросом выбора или овладения. У меня даже мысли не было выбирать. Что касается овладения — да, оно случилось. Но это не я, а гений языка овладел мной; гений, который, не успев я толком научиться складывать слова, захватил меня настолько, что его обороты — и в этом я убежден — отразились на моем нраве и повлияли на мой до сих пор пластичный характер. Это было очень интимное действие и потому слишком загадочное, чтобы пытаться его растолковать. Задача невыполнимая — это как пытаться объяснить любовь с первого взгляда. То был восторг единения, почти физическое узнавание друг друга, та же душевная уступчивость, та же гордость обладания — и все это скреплено уверенностью, что никто никогда еще не испытывал ничего подобного, что ты первым ступил на эту землю.

- Нигерия с 1914 по 1960 год была колонией Британии.
- В дипломатической практике «ректифицировать документ» означает изменить его содержание в соответствии с новым видением и по обоюдному согласию сторон.

И чувство это не омрачала и тень того гнетущего сомнения, что осеняет предмет нашей недолговечной страсти, даже когда она сияет в самом зените.

У первооткрывателя меньше прав, чем у законного наследника, и оттого обретенное имеет для него куда большую ценность и накладывает пожизненное обязательство — оставаться достойным своей великой удачи. Но вот я и пустился в объяснения, хотя совсем недавно объявил это невозможным. Если в процессе активного действия мы можем с трепетом наблюдать, как Невозможное отступает перед неукротимостью человеческого духа, то Невозможность отрефлексировать, подвергнуть анализу — всегда проявится так или иначе. Все, на что я могу претендовать после долгих лет прилежной практики, каждый день которой прибавлял мучительных сомнений, несовершенств и колебаний — это право заявить, не представляя доказательств, что если бы я не писал на английском, я не писал бы вовсе.

У меня есть еще одно уточнение — тоже своего рода «ректификация», хоть и менее прямолинейная. Оно не имеет ни малейшего отношения к средствам выражения и касается моего писательства в другом смысле. Мне ли критиковать моих судей, тем более что я всегда полагал их самыми справедливыми и даже сверх того. И все-таки мне кажется, что они, несмотря на неизменный интерес и симпатию, слишком многое из того, что присуще лично мне, относили на счет национального и исторического влияния. Так называемая в литературных кругах «славянская душа» предельно чужда польскому характеру с его традиционной сдержанностью, галантной нравственностью и даже чрезмерным уважением к правам личности. Не говоря уже о том важном факте, что сам польский менталитет, западный по духу, сформировался под влиянием Италии и Франции и исторически всегда оставался, даже в религиозных вопросах, в согласии с наиболее либеральными течениями европейской мысли. Непредвзятый взгляд на род людской во всем его великолепии и убогости в сочетании с особым вниманием к правам угнетенных, не из религиозных соображений, но из чувства товарищества и бескорыстной взаимопомощи — вот основная

черта интеллектуальной и нравственной атмосферы тех домов, что стали убежищем моему тревожному детству. Все это на основании спокойного и глубокого убеждения — неизменного и последовательного, бесконечно далекого от того человеколюбия, которое есть не более чем следствие расшатанных нервов или нечистой совести.

Один из моих самых доброжелательных критиков пытался объяснить некоторые особенности моей литературной деятельности тем, что я, по его словам, являюсь «сыном революционера». Совершенно неуместно так называть человека со столь сильным чувством ответственности во всем, что касается идей и поступков, и столь равнодушного к голосу личных амбиций, как мой отец. Я до сих пор не понимаю, почему польские восстания 1831 и 1863 годов по всей Европе считались «революциями». Ведь по сути это были восстания против иностранного господства. Сами русские использовали слово «бунт», что, с их точки зрения, вполне точно отражало события. Среди людей, вовлеченных в подготовку восстания 1863 года, мой отец был настроен не более революционно, чем остальные, в том смысле, что они вовсе не собирались свергать существующий общественный или политический строй. Он просто был патриотом, то есть человеком, который, веря в национальный дух, не желал мириться с его порабощением.

Упомянутая в благожелательной попытке глубже понять сочинения сына фигура моего отца потребует еще нескольких слов. Ребенком я, конечно, очень мало знал о его деятельности, ведь мне не было и двенадцати, когда он умер. То, что я видел своими глазами, — это его гражданские похороны; перекрытые улицы, притихшие толпы. Однако я отчетливо понимал, что все это — просто подходящий повод, чтобы проявить дух национального единства. Толпы рабочих с непокрытыми головами, университетская молодежь, женские лица в окнах, школьники на тротуарах — все эти люди могли ничего не знать о моем отце лично, он был известен им лишь своей приверженностью тому путеводному чувству, которое разделяли все. Я и сам знал не больше других, и это грандиозное безмолвное шествие казалось мне вполне естественной данью, но не человеку — Идее.

Куда более личное впечатление я получил, когда недели за две до смерти отца сжигались его рукописи. Это делалось под его личным присмотром. Так случилось, что тем вечером я зашел в его комнату немного раньше обычного и, никем не замеченный, наблюдал, как сиделка кормила пламя в камине. Мой отец, подпертый подушками, сидел в глубоком кресле. Это был последний раз, когда я видел его не в постели. Он выглядел не столько безнадежно больным, сколько смертельно усталым — побежденным человеком. В этом разрушительном действе меня больше всего поразила атмосфера поражения. Впрочем, капитулировал он не перед смертью. Человеку столь сильной веры она не могла быть врагом.

Много лет я был совершенно уверен в том, что ни одной его записи не уцелело. Однако, когда в июле 1914 года я коротко был в Польше, меня навестил директор библиотеки Краковского университета и рассказал, что в архивах все еще находится несколько отцовских рукописей, а главное — письма к его ближайшему другу. Они были написаны до и во время ссылки, а затем переданы в университет на хранение. Я сразу же отправился в библиотеку, но успев лишь мельком взглянуть на них, собирался вернуться на следующий день и заказать копии всей переписки. Но на следующий день началась война. Скорее всего, я так никогда и не узнаю, чем отец делился в период семейного счастья, когда у него родился сын, когда он был полон больших надежд, и позже — во времена разочарований, лишений и подавленности.

Я представлял, что через сорок пять лет после смерти его уже никто не помнит. Но оказалось, что это не так. Несколько молодых литераторов открыли его как замечательного переводчика Шекспира, Виктора Гюго и Альфреда де Виньи, чью драму «Чаттертон», им же и переведенную, он сопроводил красноречивым предисловием, в котором отстаивал поэта, его глубокую человечность, его идеал благородного стоицизма.

Вспомнили и о его политической деятельности; некоторые из его современников, соратников в деле сохранения национального духа в надежде на независимое будущее, на склоне лет опубликовали мемуары, где его роль в общем деле

была впервые открыта широкому кругу. Тогда я узнал о неизвестных мне прежде подробностях его жизни, о вещах, которые за пределами узкого круга посвященных не могли быть известны ни одной живой душе, кроме моей матери.

Таким образом, из опубликованных после его смерти мемуаров об этих тяжелых годах, я впервые узнал, что Национальный комитет, первичная цель которого была противостоять нарастающему давлению русификации, был основан по инициативе моего отца; и что первые собрания комитета проводились в нашем варшавском доме, из которого я отчетливо помню лишь одну комнату, в белых и алых тонах, скорее всего гостиную. В той комнате была самая большая из известных мне арок. Куда вела эта арка, остается для меня загадкой, но и по сей день я не могу избавиться от ощущения, что все вокруг было гигантских размеров и что люди, которые появлялись и исчезали в этом необъятном пространстве, были много выше обычных представителей рода человеческого, каким я узнал его позднее. Среди них я помню свою мать, знакомую среди других фигуру, одетую во все черное. Это был траур по стране и знак неповиновения свирепому полицейскому режиму. С тех времен осталось во мне и благоговение пред ее загадочной серьезностью, но она вовсе не была не улыбочливой. Потому что я помню, как она улыбалась. Наверное, для меня у нее всегда находилась улыбка. Она была еще совсем молодой, ей не было и тридцати. Через четыре года мама умерла в изгнании.

Ниже я описываю ее визит в дом брата примерно за год до кончины. Я также немного расскажу о своем отце, каким помню его в годы после утраты, ставшей для него смертельным ударом. Отвечая доброжелательному критику, я вновь разбудил их Тени, и теперь им пора вернуться на покой, туда, где все еще хранятся их туманные, но зримые образы, где они ждут момента, когда цепляющаяся за них реальность, их последний след на этой земле, исчезнет вместе со мной.

Дж. К.
1919

Личное дело

I

Книги пишутся в разных местах. Вдохновение может посетить и моряка, когда он сидит в своей каюте на пришвартованном посреди города и скованном замерзшей рекой корабле. И коль скоро святым полагается милостиво взирать на своих смиренных почитателей, я тешу себя приятной иллюзией, что тень старика Флобера — который мнил себя (среди прочего) еще и потомком викингов — могла из любопытства зависнуть и над палубой двухтысячетонного парохода «Адуа», застигнутого суровой зимой у набережных Руана, на борту которого были написаны первые строки десятой главы «Причуды Олмейера». Я говорю «из любопытства» — ведь разве не был этот добрый великан с огромными усами и громоподобным голосом последним романтиком Нормандии? Не был ли он, со своей отрешенной, почти аскетичной преданностью искусству, своего рода отшельником, святым от литературы?

«„Зашло, наконец“, — сказала Нина матери, указывая на холмы, за которые только что закатилось солнце...» Помню, как я выводил эти слова мечтательной дочери Олмейера по серой бумаге тетради, лежавшей на заправленной одеялом койке. Речь шла о закате на одном из островов Малайского архипелага, и слова эти возникали в моей голове миражами лесов, рек и морей, оставшихся вдали от торгового, но не лишённого романтики города в северном полушарии. Но в этот момент атмосферу видений и слов в один миг развеял третий помощник — веселый и непосредственный юноша, который, войдя и хлопнув дверью, воскликнул: «Эк у вас тут тепло — чудесно!» Было и вправду тепло. Я включил паровой обогреватель,

предварительно поставив жестянку под текущий кран — ведь вода, в отличие от пара, течь всегда найдет.

Не знаю, чем мой юный друг занимался на палубе все утро, но лишь от того, как энергично он растирал покрасневшие руки, уже становилось зябко. Это был единственный известный мне игрок на банджо, а тот факт, что он был младшим сыном полковника в отставке, неисповедимыми путями ассоциаций наводил меня на мысль, что в своем стихотворении Киплинг[•] описал именно его. Когда он не играл на банджо, он любовался им. Вот и сейчас он приступил к тщательному осмотру и, после продолжительного созерцания струн под моим безмолвным наблюдением, беззаботно спросил: «А что это вы тут все время строчите, если не секрет?»

Вопрос был закономерный, но я не ответил, а просто перевернул блокнот в бессознательном порыве скрытности: я не мог признаться, что он спугнул тонко проработанный психологический образ Нины Олмейер, прервал ее речь в самом начале десятой главы и ответ ее мудрой матери, который должен был прозвучать в зловещих сумерках надвигающейся тропической ночи. Я не мог сказать ему, что Нина просто сказала: «Зашло, наконец». Он бы очень удивился и, может быть, даже выронил свое драгоценное банджо. Как не мог сказать и о том, что, пока я пишу эти строки, выражающие нетерпение юности, заиклившей на собственных желаниях, солнце моих морских странствий тоже стремится к закату. Я и сам того не знал, а ему, конечно же, было все равно. Впрочем, этот замечательный юноша относился ко мне с куда большим участием, нежели предполагало наше взаимоположение в служебной иерархии.

Он опустил нежный взгляд на банджо, а я стал смотреть в иллюминатор. Круглое оконце обрамляло медной каймой часть пристани, с шеренгой бочонков, выстроенных на мерзлой земле, и задней тягой огромной повозки. Красноносый возчик в сорочке и шерстяном ночном колпаке прислонился к колесу. Таможенный сторож празднично прогуливался в подпоясанной шинели, как будто подавленный вынужденным пребыванием

• Имеется в виду стихотворение Р. Киплинга «Песня банджо».

на улице и однообразием служебного существования. Еще на картине, обрамленной моим иллюминатором, поместился ряд закопченных домишек за широкой мощеной пристанью, коричневой от подмерзшей грязи. В этой мрачной цветовой гамме самой примечательной деталью было небольшое кафе с зашторенными окнами и деревянным фасадом, окрашенным уже облупившейся белой краской, что вполне соответствовало запущенности этих бедных кварталов вдоль реки. Нас отправили сюда с другой стоянки, рядом с Оперой, где такой же иллюминатор открывал мне вид на кафе совсем другого рода — полагаю, лучшее в городе кафе, то самое, где достойный Бовари и его супруга, романтически настроенная дочь старика Рено, подкрепились после памятного оперного представления, трагической истории Лючии ди Ламмермур в сопровождении легкой музыки.

Пейзажи Восточного архипелага выветрились из головы, но я, разумеется, надеялся увидеть их вновь. Итак, на сегодня «Причуда Олмейера» спрятана под подушку. Не уверен, что у меня были другие дела, кроме книги; если честно, созерцание было основным занятием на борту этого судна. Я не стану говорить о своем привилегированном положении, но здесь я служил, что называется, из одолжения — так известный актер может сыграть маленькую роль в бенефисе своего друга. Положа руку на сердце, я вовсе не стремился оказаться на этом пароходе в это время и в этих обстоятельствах. Вероятно, я и сам был не слишком нужен, в том смысле, в каком всякому кораблю «нужен» второй помощник. То был первый и последний случай в моей флотской жизни, когда я служил судовладельцам, чьи намерения и само существование которых оставались для меня загадкой. Я не имею в виду известную Лондонскую фрахтовую фирму, которая сдала это судно не то что недолговечной, а прямо-таки эфемерной «Франко-канадской транспортной компании». Даже после смерти что-нибудь остается, но от ФКТК не осталось ничего осязаемого. Она жила не дольше, чем роза, но в отличие от последней расцвела посреди зимы, испустила легкий аромат приключений и исчезла еще до прихода весны. Но это, без сомнения,

была самая настоящая компания, у нее даже был свой флаг — белое полотнище с изящно закрученными в замысловатую монограмму буквами ФКТК. Мы поднимали его на грот-мачту, и только теперь я понимаю, что другого такого флага, вероятно, не было на всем белом свете. И все-таки мы, находясь на борту уже много дней, ощущали себя частью большого флота, каждые две недели осуществляющего рейсы в Монреаль и Квебек, как то было описано в рекламных брошюрах и проспектах, толстая пачка которых появилась на борту, когда судно стояло в лондонских доках Виктория, непосредственно перед отплытием в Руан. В смутном существовании ФКТК — моего последнего работодателя в этой профессии — и кроется секрет, который в некотором смысле прервал плавное развитие истории Нины Олмейер.

Неутомимый секретарь Лондонского капитанского общества, что помещалось в скромных комнатах на Фенчерч-Стрит, был безмерно предан своему делу. Мое последнее пребывание на корабле — как раз его инициатива. Я говорю «пребывание», поскольку морским походом это можно назвать с натяжкой. Дорогой капитан Фруд — по прошествии стольких лет так хочется отплатить ему теплотой и дружеской симпатией — обладал весьма здравыми представлениями о порядке, в котором офицеры торгового флота должны совершенствовать свои знания и продвигаться по службе. Он организовал для нас курсы лекций по специальности, занятия по первой медицинской помощи, тщательно вел переписку с государственными органами и членами Парламента по вопросам, затрагивающим интересы службы. Когда сверху поступал запрос или создавалась комиссия по делам судоходства и работы моряков, он воспринимал это как подарок небес, поскольку радеть за наши общие интересы было для него необходимостью. Наряду с высоким чувством долга он обладал добрым сердцем и поэтому делал все, что было в его силах, дабы помочь отдельным товарищам по службе, превосходным исполнителем которой он в свое время сам являлся. А что может быть нужнее моряку, чем помощь с трудоустройством? Капитан Фруд не видел ничего дурного, если Капитанское общество, помимо защиты

наших интересов, будет негласно функционировать как кадровое агентство высочайшего класса.

Однажды он сказал мне: «Я пытаюсь убедить все наши крупные судовладельческие фирмы, что обращаться за персоналом нужно к нам. В нашем обществе нет ни капли профсоюзного духа, и я совершенно не понимаю, почему они до сих пор не выстроились в очередь. Я и капитанам постоянно говорю, что при прочих равных им следовало бы отдавать предпочтение членам нашего общества. В моем положении мне не составит никакого труда найти для них подходящего человека среди членов или кандидатов в члены нашего общества».

В моих бесцельных блужданиях по Лондону вдоль и поперек (заняться мне было решительно нечем) две маленькие комнатки на Фенчерч-Стрит стали для меня местом отдохновения, где тоскующая по морю душа, могла ощутить близость к кораблям, к людям, к избранной ею судьбе — здесь это чувствовалось сильнее, чем где-либо на суше. Около пяти часов пополудни это место отдохновения всегда было полно народа и табачного дыма, но у капитана Фруда была своя комнатка, где он проводил частные беседы, основной целью которых было устроить визави на службу. И вот одним мрачным ноябрьским днем он и меня привлек быстрым движением пальца и тем особенным взглядом поверх очков, который, возможно, остался моим самым ярким воспоминанием о нем.

«Утром ко мне заходил один судовладелец, — произнес он, возвращаясь к столу и жестом предлагая мне сесть, — ему срочно нужен помощник капитана. На пароход. Вы знаете, ничто не приносит мне большего удовольствия, чем подобного рода просьбы, но сейчас я, к сожалению, не понимаю, чем ему помочь...» Соседняя комната была полна кандидатов, но, когда я остановил взгляд на закрытой двери, он отрицательно покачал головой. «О да, я бы с радостью отдал это место одному из них. Но дело в том, что капитану нужен офицер, свободно владеющий французским, — а такого не так-то просто найти. Лично я не знаю никого, кроме вас. Впрочем, место второго помощника вас, разумеется, не заинтересует... ведь так? Я знаю, это не то, что вы ищете».

Он был прав. Я полностью отдался праздности, став человеком, которого преследуют видения и чье основное занятие — поиск слов, чтобы эти видения запечатлеть. Но внешне я все еще походил на человека, который вполне мог занять должность второго помощника на пароходе, зафрахтованном французской компанией. Судьба Нины и шелест тропических лесов преследовали меня днем и ночью, но на моей внешности это никак не отразилось; и даже близкое общение с Олмейером, человеком слабохарактерным, не оставило на мне заметного следа. В течение многих лет он, его история и его мир были моими воображаемыми спутниками, что, хотелось бы верить, не повлияло на мою способность справляться с требованиями флотской жизни. Этот человек и его окружение сопровождали меня с тех пор, как я вернулся из восточных морей — примерно за четыре года до описываемого дня.

В просторной гостиной меблированных комнат одного из кварталов Пимлико они снова ожили, и наши отношения наполнились не присущими им прежде живостью и остротой. Я позволил себе остаться на берегу дольше обычного, и Олмейер — мой старый знакомый — избавил меня от необходимости искать себе занятие по утрам.

Очень скоро за моим круглым столом вместе с ним уже сидели его жена и дочь, а после присоединились и прочие колоритные островитяне и наполнили мою гостиную словами и жестами. Без ведома моей почтенной хозяйки, сразу же после завтрака я имел обыкновение принимать у себя оживленных малайцев, арабов и метисов. Они не кричали и не искали моего участия. Они взывали молчаливо, но властно, и обращались они, в этом я уверен, не к моему самолюбию или тщеславию. Теперь мне кажется, что у всего этого была и моральная подоплека; иначе на каких основаниях воспоминания об обитателях той смутной, залитой солнцем реальности требовали бы воплощения на бумаге, если не на почве той удивительной общности, что схожими надеждами и страхами объединяет всех живущих на этой земле?

Своих посетителей я принимал без бурных восторгов, что достаются тем, кто сулит доход или славу. Когда я сидел

за письменным столом в одном из обветшавших кварталов Белгрейвии, моему воображению не рисовалась уже напечатанная книга. По прошествии многих лет, каждый из которых оставил после себя медленно заполненные страницы, я честно могу признаться: именно чувство, близкое к сожалению, побудило меня добросовестно запечатлеть в словах воспоминания о самых разных вещах и некогда живших людях.

Но, возвращаясь к капитану Фруду с его непреложным правилом никогда не разочаровывать судовладельцев и капитанов, я просто не мог не подействовать в его стремлении буквально в течение нескольких часов удовлетворить необычный запрос на франкоговорящего офицера. Он объяснил мне, что корабль зафрахтован французской компанией, которая планировала ежемесячно доставлять французских эмигрантов из Руана в Канаду. Меня, откровенно говоря, такая служба не слишком интересовала. Я с полной серьезностью произнес, что если от этого предложения действительно зависит репутация Капитанского общества, я его рассмотрю; но это было не более чем формальностью. На следующий день я беседовал с капитаном, он произвел на меня благоприятное впечатление, и я, по всей видимости, тоже. Он растолковал, что его старший помощник во всех отношениях прекрасный мальчик, что он и думать не станет его увольнять, чтобы отдать мне должность, но если я соглашусь на второго помощника, то получу некоторые преимущества — ну и тому подобное.

Я ответил, что раз уж я пришел, то должность не имеет значения.

«Я уверен, — настаивал он, — вы первоклассно поладите с мистером Парамором».

И я чистосердечно пообещал провести по меньшей мере два рейса. Вот в таких обстоятельствах я и заступил на вахту, которой суждено было стать последней. Однако выйти в море на этом судне мне так и не довелось. Возможно, то была запечатленная на моем челе судьба, и, судя по всему, именно она препятствовала мне во всех моих морских скитаниях хоть раз пересечь Западный океан — если использовать эти слова в том особом смысле, который вкладывают в них моряки, рассуждая

о торговых делах Западного океана, почтовых линиях Западного океана, крутом нраве Западного океана. Новая жизнь стремительно приближалась, и девять глав «Причуд Олмейера» направлялись со мной в док Виктория, откуда через пару дней мы отплывали в Руан. Не стану утверждать, что, наняв человека, которому не суждено было пересечь Северную Атлантику, «Франко-канадская транспортная компания» обрекла себя на провал, так и не совершив ни одного успешного перехода. Впрочем, может, и так; но очевидным и главным препятствием стала нехватка средств. Четыреста шестьдесят коек для эмигрантов, трудами умелых плотников втиснутых между палубами за время пребывания в доке Виктория, и ни одного желающего эмигрировать из Руана, чему я, как человек, не лишенный сострадания, был, признаюсь, рад. На судно, правда, явились некие джентльмены из Парижа — кажется, их было трое, и одного из них представили как председателя правления; они обошли весь корабль из конца в конец, то и дело ударяясь шелковыми цилиндрами о палубные балки. Я лично сопровождал комиссию и могу поручиться, что их интерес к делу был достаточно глубок, хотя такое судно им, очевидно, встречалось впервые. Когда они сошли на берег, на их лицах читалась бодрая озабоченность. И хотя корабль должен был отплыть сразу после инспекции, в тот момент, когда джентльмены спускались по трапу, внутренний голос подсказал мне, что ни одного из упомянутых в контракте рейсов мы не совершим.

Нужно сказать, что не прошло и трех недель, как мы все-таки сдвинулись с места. Когда мы прибыли в Руан, нас с большими почестями встретили почти в самом центре города. На каждом углу красовался плакат цветов французского флага, возвещавший основание нашей компании, а местный буржуа с женой и всем семейством повадился ходить к нам на воскресные экскурсии. Нарядившись в свой лучший китель, я встречал гостей на палубе, готовый к расспросам, как какой-нибудь гид из туристического агентства Кука, а наши старшины собирали урожай мелочи за индивидуальные туры. То было время совершенного, ничем не прерываемого безделья. Все, вплоть до мельчайших деталей, было готово для выхода

судна в море, мороз не отступал, и дни были коротки, поэтому мы маялись бездельем. Делать было решительно нечего, и всякий раз вспоминая о жаловании, которое нам начисляли все это время, мы краснели от стыда. Юный Коул был удручен не меньше других: «Если весь день баклуши бить, так и вечером никакого веселья не будет», — говорил он. Даже банджо потеряло свое очарование, так как ничто, кроме завтрака, обеда и ужина, не прерывало его брэнчания. Добряк Парамор — а он действительно оказался превосходным товарищем — пребывал в унынии, насколько позволяла его жизнелюбивая натура, пока в один из безотрадных дней я шутки ради не предложил ему использовать энергию бездействующей команды следующим образом: втащить обе якорные цепи на палубу и поменять концы местами.

«Великолепная идея! — Мистер Парамор на мгновение просиял, но лицо его тотчас омрачилось. — Пожалуй... Но вряд ли мы сможем растянуть эту работу дольше чем на три дня», — пробормотал он с досадой. Не знаю, как долго он рассчитывал проторчать пришвартованным на задворках Руана, но, следуя моему мефистофельскому совету, якоря подняли, цепи поменяли концами, бросили снова и полностью забыли об их существовании до того дня, когда французский лоцман поднялся на борт, чтобы сопроводить наше по-прежнему порожнее судно на рейд у Гавра. Казалось бы, вынужденное безделье должно было помочь мне продвинуться в описании судьбы Олмейера и его дочери, но, увы, этого не произошло. Сосед-банджоист своим вмешательством, о котором я уже рассказывал, словно наложил на героев моего романа злое заклятие, на долгие недели прочно приковав их к тому судьбоносному закату. С этой книгой вечно что-то было так: этот самый короткий из романов, которые мне суждено было написать, я начал в 1889-м и окончил лишь в 1894-м. Между первой фразой, произнесенной резким голосом жены, призывающей Олмейера к обеду, и мысленным обращением его врага Абдуллы к Аллаху — «Всемилоствому, Всемилосердному», которым книга заканчивается, мне предстояло сделать еще несколько долгих морских переходов, совершить вояж (говоря высоким стилем, как того

требует повод) по (некоторым) местам моего детства и воплотить ту беспечную романтическую фантазию, которой я забавлялся еще мальчишкой.

В 1868 году, когда мне было лет девять, я разглядывал карту Африки того времени и, указав пальцем на белое пятно, которыми в ту пору обозначали неизведанные части континента, сказал себе с абсолютной уверенностью и восхитительным безрассудством, столь не свойственными мне сейчас: «Когда я вырасту, я там обязательно побываю».

Разумеется, больше я об этом не вспоминал, пока примерно через четверть века мне не представилась такая возможность — как будто со зрелостью пришла и расплата за слишком смелые детские мечты. Да. Я и вправду там побывал: а именно в районе водопадов Стэнли. В 1868-м это было самое белое из всех белых пятен на запечатленной поверхности Земли. И рукопись «Причуды Олмейера», которую я всюду возил за собой, будто талисман или сокровище, тоже там побывала.

То, что она оттуда вернулась, представляется мне особой милостью providения, потому что значительная часть моего багажа, куда более ценная и полезная, так там и осталась из-за досадных происшествий в пути. Так, вспоминается сложный изгиб реки Конго между Киншасой и Леопольдвиллем — тем более опасный, если приходится проходить его ночью, на большом каноэ, где гребцов вдвое меньше, чем положено. Впрочем, стать вторым белым человеком в списке утонувших в этом замечательном месте от того, что каноэ перевернулось, мне так и не довелось. За несколько месяцев до моего прибытия здесь пошел ко дну молодой бельгийский офицер. Насколько мне известно, он тоже добирался домой, и хотя состояние здоровья у нас было разное — направление было одно. Когда опасный поворот остался позади, я был все еще жив, но чувствовал себя до того скверно, что мне было почти все равно, на каком я свете. С неизбывной «Причудой Олмейера» в скудеющем багаже я прибыл в прелестную столицу Бельгийского Конго, Бому. Там мне предстояло дожидаться парохода, который должен был отвезти меня домой. А я пока снова и снова желал себе смерти, причем вполне искренне. К тому времени я закончил лишь

семь глав книги, но следующая глава моей собственной истории была посвящена длительной болезни и тягостному выздоровлению. Женева, а точнее водолечебница района Шампель, покрыла себя вечной славой, став местом написания восьмой главы летописи падения и гибели Олмейера. События девятой главы тесно переплелись с подробностями службы: я тогда заведовал складом в порту, принадлежавшим компании, название которой не имеет значения. Я взялся за эту работу, желая вернуться к активной деятельности, свойственной здоровому существованию, но вскоре она исчерпала себя. На суше не было ничего, что могло бы удержать меня надолго. А затем этот приснопамятный роман, как бочка доброй мадеры, три года болтался со мной по морям. Я не возьмусь утверждать, что подобный режим улучшил его вкус. Что касается наружности — определенно нет: рукопись приобрела бледный вид и желтоватый оттенок ветхости. К тому времени стало очевидным, что причин надеяться на какие-либо изменения в судьбе Олмейера и Нины не осталось. Однако пробудить их от анабиоза суждено было одному случаю, вероятность которого в открытом море ничтожна.

Как там у Новалиса: «Несомненно, в тот миг, когда другая душа поверит в мое убеждение, оно укрепляется многократно». А что есть роман, если не убежденность в существовании ближнего, да такого накала, что некая воображаемая жизнь становится яснее реальности, а совокупная достоверность отдельных эпизодов способна затмить свет академической истории. То же провидение, что спасло мой манускрипт в стремнинах Конго, посреди открытого моря послало мне отзывчивую душу. Было бы величайшей неблагодарностью с моей стороны позабыть землистого цвета исхудавшее лицо и глубоко посаженные темные глаза молодого человека из Кембриджа (на борту славного судна «Торренс», направлявшегося в Австралию, он оказался, «чтобы поправить здоровье»), который стал первым читателем «Причуды Олмейера» — моим первым читателем.

«Не утомит ли вас чтение моей рукописи?» — спросил я его однажды вечером, повинувшись внезапному порыву в конце продолжительной беседы на тему гиббоновской истории.

Жак (так его звали) сидел в моей каюте накануне ожидавшей меня беспокойной полувахты. Он принес мне книгу из своей дорожной библиотеки.

«Отнюдь», — как всегда любезно ответил он и слегка улыбнулся. Когда я выдвинул ящик стола, в его глазах вспыхнуло любопытство. Интересно, что он ожидал там увидеть. Может быть, стихи. Остается только гадать.

Он не был безучастным; скорее тихий человек, к тому же ослабленный болезнью — немногословный, сдержанный и скромный в общении. Но было в нем нечто незаурядное, что выделяло его из неразличимой массы наших шестидесяти пассажиров. Взгляд его был задумчив и обращен внутрь себя. «Что это?» — дружелюбно спросил он тихим голосом, в своей невозмутимой манере, которая так к нему располагала. «Что-то вроде повести, — с некоторым усилием вымолвил я. — Она еще не закончена. Но я все же хотел узнать ваше мнение». Я отчетливо помню, как он положил рукопись в нагрудный карман пиджака, согнув ее пополам тонкими смуглыми пальцами. «Я прочту ее завтра», — обронил он, ухватившись за дверную ручку; улучил в бортовой качке удобный момент, открыл дверь и вышел. В каюту тут же ворвалось протяжное завывание ветра, шипение воды на палубе «Торренса» и далекий приглушенный рокот разбушевавшегося моря. Все усиливающееся волнение неугомонного океана вернуло меня к действительности, я вспомнил о службе и подумал, что в восемь часов, а самое позднее к половине девятого, надо будет опустить брамсели.

На следующий день, на этот раз во время первой полувахты, Жак снова зашел ко мне в каюту. В толстом шерстяном шарфе, с рукописью в руках, он не сводил с меня глаз и не говорил ни слова. Он протянул мне рукопись. Не нарушая тишины, я принял ее. Продолжая хранить молчание, он присел на кушетку. Я открыл и закрыл ящик стола. На столе в широкой деревянной раме лежала грифельная доска с вахтенными записями, и я как раз собирался в точности перенести их в книгу, к ведению которой относился с большим усердием, — в судовой журнал. Я выразительно повернулся к столу спиной. И даже тогда Жак не проронил ни слова.

«Что скажете? — наконец спросил я. — Стоит ли это дописывать?»

Этот вопрос в точности отражал все мои сомнения.

«Определенно», — ответил он спокойным приглушенным голосом и слегка откашлялся.

«Вам понравилось?» — попытался я уже почти шепотом.

«Да, очень!»

Помолчав, я инстинктивно подался навстречу крену, сопротивляясь сильной качке, а Жак уперся ногами в кушетку. Занавески у моей койки взлетали и опускались, как опахало, фонарь на переборке вращался в своих шарнирах, а дверь каюты время от времени дребезжала под порывами ветра. Если я правильно помню, тихое таинство воскрешения Олмейера и Нины вершилось, когда мы находились на сороковом градусе южной широты, недалеко от Гринвичского меридиана. Молчание длилось, и мне пришло на ум, что история моя в большой степени основана на воспоминаниях. Но будет ли она понятна читателю, задумался я, при том, что рассказчик ее как будто уже родился моряком? Тут я услышал свисток вахтенного офицера и насторожился, ожидая команды, которая должна была последовать. С палубы донесся резкий, приглушенный расстоянием окрик: «Обрасопить реи!» «Ага, — подумал я про себя, — надвигается шквальный ветер с запада». Я повернулся к своему наипервейшему читателю, который — увы — не дожил до завершения этой книги и так и не узнал, чем она закончится.

«Позвольте мне задать вам еще один вопрос: история, здесь описанная, — все ли вам в ней было понятно?»

Он с удивлением поднял на меня спокойные темные глаза: «Да! Абсолютно».

И это все, что мне довелось услышать из его уст о достоинствах «Причуды Олмейера». Больше мы о книге не разговаривали. Плохая погода установилась надолго, и я не думал ни о чем, кроме службы, а бедный Жак смертельно простудился и не выходил из каюты. Как только мы прибыли в Аделаиду, мой первый читатель отправился в отдаленное поместье и в итоге довольно неожиданно скончался — то ли в Австралии, то ли возвращаясь домой через Суэцкий канал. Я и сейчас не

уверен, точных сведений у меня и не было, хотя на обратном пути я спрашивал о нем у пассажиров. Пока наш корабль стоял в порту, они сошли на берег и, пустившись «посмотреть страну», встречали его то здесь, то там. Наконец мы отправились в обратный рейс, но ни одной новой строчки не появилось в небрежной рукописи, которую несчастный Жак имел терпение прочесть, когда в глубине его добрых, сосредоточенных глаз уже сгущались тени Вечности.

Намерение, привитое мне его простым и окончательным «определенно», было живо, пусть и дремало в ожидании благоприятной возможности. Смею сказать, я принужден — на подсознательном уровне — писать том за томом, как раньше что-то принуждало меня рейс за рейсом отправляться в море. Страницы должны следовать одна за другой, как прежде лига следовала за лигой — все дальше и дальше к назначенному концу, который, как сама Истина, един для всех людей и всех земных занятий.

Я не знаю, с каким из моих призваний связано больше загадок и чудес. Однако в писательстве, как и мореплавании, мне пришлось ждать своего часа. Позвольте мне признаться, что я никогда не принадлежал к числу тех замечательных ребят, что, забавы ради, готовы пуститься в плавание хоть в тазу. К литературным авантюрам я склонностей тоже не питаю — уж такой я последовательный человек. Некоторые, я слышал, пишут даже в вагоне поезда, а есть и такие, что работают, сидя нога на ногу на бельевой веревке. Не стану скрывать, что моя сибаритская природа позволяет мне писать лишь сидя на чем-то хоть отдаленно напоминающем стул. «Причуда Олмейера» прирастала скорее строка за строкой, чем страница за страницей.

Однажды, по дороге из Берлина в Польшу, а если быть точным, на Украину, я едва не потерял рукопись, которая к тому моменту дошла до начала девятой главы. Ранним сонным утром, в спешке пересеживаясь с поезда на поезд, я оставил свой саквояж в буфете. Достойный и сообразительный носильщик спас положение. Впрочем, тревожился я вовсе не о рукописи, но об остальных уложенных в саквояж вещах.

В Варшаве, где я провел два дня, эти неприкаянные страстицы так и не увидели дневного света, и лишь однажды на них, в раскрытый на стуле саквояж, упала тень от свечи. Я спешно одевался на ужин в спортивном клубе. Сидя на гостиничной кушетке, меня ждал друг детства, с которым мы не виделись больше двадцати лет, — ранее он состоял на дипломатической службе, а теперь выращивал на фамильных землях пшеницу.

«Может, расскажешь немного о своей жизни, пока одеваешься?» — скромно попросил он. Вряд ли я принялся ему рассказывать историю своей жизни в гостиничном номере. За ужином, на который он меня привел, беседа в избранной компании была очень занимательной и коснулась почти всего на свете: от сафари в Африке до последнего стихотворения, опубликованного в самом новомодном издании, созданном очень молодыми людьми под покровительством самого высшего света. Но разговор этот так и не затронул «Причуду Олмейера», и на следующее утро так и оставшийся безвестным мой неразлучный спутник отбыл со мной в юго-восточном направлении — в город Киев.

В то время дорога от станции до усадьбы, в которую я направлялся, занимала часов восемь, если не больше.

«Dear boy, — эти два слова всегда были написаны по-английски, и с них начиналось полученное мной еще в Лондоне письмо из той усадьбы, — поезжай на единственный в наших краях постоянный двор, поезжай как следует, а ближе к вечеру пред твои очи явится мой личный слуга, дворецкий и наперсник мистер В.С. (должен предупредить тебя, он из благородных), и доложит, что сани поданы. На них-то ты и доберешься сюда на следующий день. Вместе с ним я передам самую теплую из своих шуб. Если ты наденешь ее поверх пальто, которые ты, надеюсь, прихватил, она не даст окоченеть тебе в пути».

И в самом деле, как раз когда в огромной, похожей на амбар комнате со свежeverкрашенным полом официант в кипе подавал мне ужин, в дверях появился господин В.С. (благородного происхождения), одетый по-дорожному: в высоких сапогах, папахе и коротком тулупе, подпоясанным кожаным ремнем. Ему было около тридцати пяти, и его открытое усатое лицо имело

слегка растерянное выражение. Я поднялся из-за стола и поздоровался с ним по-польски — надеюсь, мне удалось сделать это с тем почтением, какого требовали его благородная кровь и положение в доме. Он вдруг сразу просветлел. Оказалось, что, несмотря на искренние заверения моего дяди, славный мальчик сомневался, пойдем ли мы друг друга. Ему думалось, что я стану говорить с ним на каком-то чужеземном языке.

После мне рассказали, что, садясь в сани, чтобы выехать мне навстречу, он обеспокоенно воскликнул: «Хорошо, хорошо! Еду, но бог его знает, как я пойму племянника нашего хозяина».

Мы с самого начала прекрасно поняли друг друга. Он опекал меня, как ребенка. Наутро он укутал меня в огромную дорожную шубу из медвежьих шкур, уселся рядом, словно на страже, и меня посетило упоительное детское ощущение — будто я еду домой на каникулы. Сани были крошечные и рядом с четырьмя крупными гнедыми, впряженными попарно, выглядели как нечто пустяковое, как детская игрушка. Мы трое, считая кучера, заняли их полностью. За кучера был молодой парень с ясными голубыми глазами; его оживленную физиономию обрамлял высокий воротник извозчичьей шубы, торчавший вровень с макушкой.

«Ну, Юзеф, — обратился к нему мой спутник, — как думаешь, доберемся ли домой к шести?» Тот уверенно ответил, что с божьей помощью непременно поспеем, если на длинных перегонах между деревнями, чьи названия прозвучали для меня очень знакомо, не будет глубоких снежных заносов. Кучер он оказался превосходный, легко угадывал дорогу посреди покрытых снегом полей и прекрасно понимал возможности своих лошадей.

«Он сын того Юзефа, которого капитан, наверное, помнит; тот, что был кучером покойной бабушки капитана, благословит господь ее душу», — пояснял В.С., стараясь получше укутать мои ноги в меховой полог.

Я прекрасно помнил верного Юзефа, что возил мою бабушку. Еще бы! Именно он впервые доверил мне вожжи и давал поиграть длиннющим хлыстом для четверки, когда я прибегал на каретный двор.

«Что с ним стало? — спросил я. — Уже, наверное, не служит?»

«До последнего был при господине, — последовал ответ, — а десять лет назад умер от холеры — у нас тогда была страшная эпидемия. Жена его тоже умерла, вообще вся семья, только этот мальчик и остался в живых».

Рукопись «Причуды Олмейера» лежала в сумке у наших ног. Я снова видел, как солнце катится за степь, точно как в детстве, когда мы путешествовали по этим краям. Яркое, красное, оно утопало в снегу, как будто в море. Прошло двадцать три года с тех пор, как я в последний раз наблюдал заход солнца над этой землей. Мы продолжали путь в темноте, быстро спускавшейся на сиреневые снега, пока из белой пустыни, смыкающейся с усыпанным звездами небом, не выросли черные фигуры — купы деревьев, отделявших деревню от украинской степи. Мы проехали пару домов, низкий, нескончаемый плетень, пока, подмигивая через строй елей, не замерцали огни хозяйского дома.

Тем же вечером я достал странствующую рукопись «Причуды Олмейера» из багажа и положил, так чтобы она не особо бросалась в глаза, на письменный стол в гостевой комнате. Эта комната, как сообщили мне с напускной небрежностью, дожидалась меня лет пятнадцать. Рукописи не досталось и капли того внимания, которым был всецело окружен сын любимой сестры.

«Пока ты гостишь у меня, ты редко будешь предоставлен себе, братец», — сказал дядя. Такая форма обращения, позаимствованная у наших крестьян, служила выражением наилучшего настроения в моменты душевного подъема.

«Я частенько буду заходить к тебе поболтать».

Собственно, для разговоров в нашем распоряжении был целый дом, и мы постоянно ходили друг за другом кругами. Я нарушал тишину его кабинета, где главным предметом интерьера был громадный чернильный прибор чистого серебра, подаренный дяде на пятидесятилетие вскладчину всеми его в то время здравствующими подопечными. Дядя опекал многих сирот из дворянских семей трех южных

провинций — с приснопамятного 1860 года. Некоторые из них учились со мной в школе или были товарищами по играм, но, насколько мне известно, никто из них не написал романа. Несколько дядиных подопечных были значительно старше меня. Я помню, как один из них гостил в усадьбе, когда я был еще совсем маленьким. Он впервые посадил меня на лошадь и — с его искусством верховой езды, умением управлять четверкой и мастерством в прочих мужских занятиях — стал одним из первых объектов моего детского восхищения. Я даже, кажется, помню: мама стоит в портике у окон столовой и смотрит, как меня усаживают на пони, которую держит под уздцы, вполне вероятно, тот самый Юзеф, что умер от холеры, — в то время он служил личным кучером бабушки.

Во всяком случае это точно был молодой парень в ливрее кучера — темно-синей куртке и широких казацких шароварах. Дело было году в 1864-м, или, если исчислять время событиями, то был год, когда мать получила разрешение оставить место ссылки, в которую последовала за моим отцом, и отправилась на юг навестить семью. К слову, чтобы уехать в ссылку, ей тоже пришлось испрашивать позволения, и я знаю, что одолжение это было сделано на условии, что с ней самой будут обращаться как со ссыльной. Однако пару лет спустя, в память о ее старшем брате, который служил в Гвардии и рано умер, оставив по себе множество друзей и добрую память в высшем свете Санкт-Петербурга, некоторые влиятельные особы выхлопотали для нее разрешение — официально оно называлось «Высочайшей Милостью» — отлучиться на четыре месяца.

А еще именно в тот год у меня сложился более отчетливый образ матери: она была уже не просто любящее существо, которое всегда рядом и всегда защитит и в чьих глазах под густыми бровями отражалась какая-то властная нежность. И еще я помню большой съезд родни, близкой и далекой, седые головы друзей семьи — все они собрались, чтоб отдать моей матери дань любви и уважения в доме ее дорогого брата, которому всего несколько лет спустя придется заменить мне обоих родителей.

Я не понимал трагического значения всего, что тогда происходило, хотя среди прочих в доме бывали и доктора, я это

отчетливо помню. Внешне болезнь еще не проявила себя, но они, полагаю, уже вынесли ей приговор, — разве что переезд в южный климат мог восстановить покидавшие ее силы. Это время представляется самым счастливым периодом моего существования. Рядом была моя кузина, прелестная, задорная девчушка, всего на пару месяцев младше меня; ее жизнь, которую оберегали, как если бы она была наследной принцессой, оборвалась, когда ей было всего пятнадцать. Были и другие дети, многих уже нет в живых, были и те, чьих имен я уже и не вспомню. Над всем этим нависала гнетущая тень великой Российской империи — тень сгущавшегося национализма и ненависти к полякам, которую разжигали московские журналисты новой школы после злополучного восстания 1863 года.

В своих воспоминаниях об этих сформировавших меня событиях я далеко отступил от рукописи «Причуды Олмейера» вовсе не по прихоти неуместного самолюбования. Их значение весьма велико для человека, пусть и остались они далеко позади. Очевидно, что романист должен оставить своим детям нечто большее, чем краски и образы, созданные им с таким трудом. Ведь то, что в их взрослые годы будет казаться другим самыми загадочными чертами их личности, то, что им самим не суждено понять до конца, может оказаться подсознательным откликом на тихий голос неумолимого прошлого, в которое уходят глубокие корни его творчества и их судеб.

Только в воображении любая истина обретает осязаемую, неоспоримую полноту. Воображение, а не измышление — вот что правит и в искусстве, и в жизни.

Художественное и точное представление воспоминаний о пережитом достойно служит тому духу сострадания всему человеческому, который освящает и замыслы сочинителя историй, и чувства человека, который пересматривает собственный опыт.

II

Как уже было сказано, я занимался тем, что разбираю свой багаж после прибытия на Украину из Лондона. Рукопись «Причуды Олмейера» — моей спутницы на протяжении трех, а то и более лет, в ту пору уже девяти глав от роду — скромно расположена на письменном столе меж двумя окнами. Я и не думал убирать ее в один из выдвижных ящичков стола, но медные ручки этих ящичков привлекли меня красотой формы. Два канделябра, по четыре свечи каждый, празднично освещали комнату, так много лет ждавшую возвращения странствующего племянника. Окна были зашторены.

В пятистах ярдах от кресла, на котором я сидел, стоял первый дом деревни, которая была частью наследства моего деда по материнской линии и всем, что осталось в собственности семьи. А за деревней в безграничной темноте зимней ночи тянулись гигантские неогороженные поля: не плоские и скудные равнины, но урожайная земля — забеленные снегом холмы с черными заплатами угнездившихся в ложбинах пролесков. Дорога, которой я приехал, шла через деревню и поворачивала перед воротами, замыкавшими короткий подъезд к дому. Кто-то ехал по заснеженной дороге, и перезвон колокольчиков прокрался в тишину комнаты, подобно мелодичному шепоту.

Присланный мне на помощь слуга наблюдал, как я распаковывал вещи, бесполезно стоя в дверях в полной готовности. Помощь мне вовсе не требовалась, но и прогонять его тоже не хотелось. Это был молодой человек, по крайней мере лет на десять младше меня. Последний раз я был... не то что в этом

доме, а в пределах шестидесяти миль отсюда в 67-м году, однако простодушные и открытые черты его крестьянского лица казались мне на удивление знакомыми. Вполне возможно, он был потомком, сыном или даже внуком тех слуг, чьи приветливые лица окружали меня в раннем детстве. Позднее я рассудил, что в непосредственном родстве с ними он вряд ли состоял. Он родился в одной из близлежащих деревень и перешел сюда на повышение, обучившись прислуживать в других домах. Об этом мне стало известно на следующий день от почтенного V. Впрочем, я мог бы обойтись и без расспросов. Вскоре я выяснил, что все лица в доме, как и в деревне, — суровые лица длинноусых отцов семейств, нежные лица юношей, лица белокурых детей, красивые, загорелые широкобровые лица матерей, стоящих в дверях хат, были знакомы мне, словно я знал их всех с детства, которое закончилось как будто позавчера.

Нараставший было звон колокольчиков вскоре растаял, и лай собак в деревне наконец-то стих. Мой дядя, удобно устроившись в углу кушетки, молча курил турецкую трубку с длинным чубуком.

«Какой прекрасный письменный стол ты поставил в мою комнату», — заметил я.

«Стол на самом деле принадлежит тебе, — сказал он, остановив на мне задумчивый и заинтересованный взгляд; так он смотрел на меня с тех пор, как я переступил порог дома. — Сорок лет назад за этим столом работала твоя мать. В нашем доме в Оратове он стоял в маленькой гостиной, по негласной договоренности отданной девочкам — твоей матери и ее сестре, которая умерла совсем юной. Стол достался им в подарок от твоего дяди Николаса Б., когда твоей матушке было семнадцать, а тете на два года меньше. Мы все любили и восхищались ею, твоею тетушкой. Верно, ты ничего о ней и не знаешь, кроме имени. В ней не было той женской красоты и утонченного ума, которыми блистала твоя мать. Но все души в ней не чаяли за восхитительную мягкость характера, благоразумие, невероятную легкость в общении.

Ее уход обернулся ужасным горем и огромной душевной потерей для всех нас. Останься она в живых, это стало бы

настоящим благословением для всякого дома, куда бы она вошла женой, матерью и полноправной хозяйкой. Вокруг нее все дышало бы миром и гармонией, пробудить которые способны лишь те, кто любит самоотверженно и беззаветно. Твоя матушка превосходила ее красотой, была незаурядной личностью, отличалась прекрасными манерами и острым умом, но с ней не было так легко. Обладая исключительными талантами, она и от жизни ждала большего. В те тяжелые дни все мы особенно беспокоились о ее состоянии. Занедужив после смерти отца (удар для нее был тем сильнее, что его внезапную смерть она встретила в доме одна), она разрывалась от внутренней борьбы между любовью к человеку, за которого она в итоге вышла замуж, и пониманием, что ее покойный отец был против этого брака. Не в состоянии заставить себя пренебречь светлой памятью отца и его мнением, которое она всегда уважала и которому доверяла, и в то же время не в силах противостоять такому глубокому и подлинному чувству, ей было очень сложно сохранить психическое и нравственное равновесие. В разладе с собой она не могла дать другим ощущение спокойствия, которым сама не обладала. Лишь позднее, когда она, наконец, сочеталась со своим избранником, в ней проявились ее высокий ум и сердечность, благодаря которым она завоевала уважение и восхищение даже наших недоброжелателей. Со спокойствием духа встречая жестокие испытания, в которых отразились все несчастья нашего народа и социальные противоречия общества, она воплощала высшее представление о долге жены, матери и патриотки, разделив с мужем тяготы ссылки и став олицетворением благородного идеала польской женщины.

Наш дядя Николас был не слишком щедр на изъявления чувств. Помимо Наполеона Бонапарта, перед которым он преклонялся, на всем белом свете он по-настоящему любил только трех человек — свою мать, твою прабабку, которую ты видел, но вряд ли помнишь; брата, нашего отца, в чьем доме он прожил много лет; а из всех нас, его племянников и племянниц, выросших подле него, он выделял только твою мать. Скромные и очаровательные достоинства ее младшей сестры он, по всей видимости, был неспособен оценить.

Этот удар, неожиданно обрушившийся на семью, главой которой я стал чуть менее года тому, нанес мне самую глубокую рану. Такого действительно никто не ожидал. Возвращаясь домой по зимней дороге, чтобы скрасить мое одиночество в пустом доме, где для управления помещьем и решения сложных задач требовалось мое неотлучное присутствие (сестры попеременно приезжали ко мне на неделю), — так вот, возвращаясь из дома графини Феклы Потоцкой, где наша больная мать гостила, чтобы быть поближе к доктору, они сбились с пути и угодили в снежный завал. С ней были только кучер да старый Валерий, камердинер нашего покойного батюшки. Пока они пытались откопать повозку, раздосадованная задержкой, она спрыгнула с саней и отправилась искать дорогу сама. Все это случилось в 1851-м, меньше чем в десяти милях от места, где мы с тобой сидим.

Дорогу вскоре отыскали, но тут снова повалил снег, да такой густой, что домой они попали только через четыре часа. Валерий впоследствии рассказывал, что, невзирая на ее протесты, прямые приказания и даже попытки их поколотить, они сняли с себя подбитые овчиной тулупы и собрали все меховые полости, чтобы укутать ее и спасти от холода. „Да как же я покажусь своему хозяину, — увещевал он ее, — когда встречу с его благословенной душой на том свете, если не уберегу вас от опасности, пока во мне теплится хоть единая искра жизни?“ Когда они наконец-то вернулись домой, бедный старик совсем окоченел от холода и не мог вымолвить и слова. Кучер был не в лучшем состоянии, хотя у него и достало сил самому добраться до конюшни. На мои упреки, что в такую погоду не стоило и носа из дома казать, она отвечала, в свойственной ей манере, что ей невыносима была сама мысль оставить меня в безотрадном одиночестве. Непостижимо, как ей это вообще позволили! Но, полагаю, это было предрешено. На следующий день она стала покашливать, но не придавала этому особого значения. Вскоре она слегла с воспалением легких, и через три недели ее не стало! Из младшего поколения, вверенного моему попечению, она ушла из жизни первой. Помни о тщетности всех надежд и опасений! В младенчестве я был самым

хилым из детей. Долгие годы я был настолько слаб, что родители почти оставили надежду увидеть меня возмужавшим. Однако ж я пережил пятерых братьев, обеих сестер, да и многих сверстников. Я похоронил жену и дочь. Из всех, кто хоть что-то помнит о тех давних временах, остался ты один. Такова моя участь — предавать могиле преждевременно угасшие верные сердца, обещания блестящего будущего, полные жизни чаяния».

Он быстро встал, вздохнул и, произнеся: «Обед подадут через полчаса», покинул меня.

Оставаясь неподвижен, я слушал его быстрые шаги по натертому полу соседней комнаты. Он пересек приемную, заставленную книжными полками, где остановился положить чубук на подставку, а затем перешел в гостиную (это была анфилада комнат), где толстый ковер заглушил его шаги. Однако я услышал, как захлопнулась дверь его совмещенной с кабинетом спальни. Ему было шестьдесят два года, и на протяжении четверти века он был самым мудрым, самым надежным, самым снисходительным опекуном; он дал мне отеческую заботу, любовь и моральную поддержку, которые я всегда ощущал где-то рядом, в каких бы удаленных частях света ни находился.

Что касается пана Николаса Б., — который был младшим лейтенантом французской армии в 1808 году, лейтенантом в 1813-м, недолгое время служил адъютантом при маршале Мармоне, а впоследствии — капитаном Второго полка Кавалерийских стрелков польской армии, которая существовала до 1830 года в окороченном Царстве Польском, каким оно стало по решению Венского конгресса, — то должен сказать, что из всех преданий нашей семьи, известных мне по рассказам и отчасти как очевидцу и вызванных словами только что покинувшего комнату человека, его образ полностью так и не сложился. Я наверняка видел его в 1864-м, едва ли он упустил возможность повидаться с моей матерью, зная, что встреча может оказаться последней. С раннего отрочества и до сего дня, когда я пытаюсь вызвать в памяти его образ, перед моими глазами встает туман, в котором смутно различимы только аккуратные причесанные седые волосы (для семьи Б., где все мужчины

благообразно лысеют еще до тридцати, случай исключительный) и тонкий, с горбинкой, благородный нос — черта, полностью соответствующая физиогномическим правилам семьи Б. Но не отрывочными воспоминаниями о частях брэнного тела жив он в моем сознании. С самого раннего возраста я знал, что мой двоюродный дед Николас Б. был рыцарем Почетного легиона и кавалером польского ордена Военской доблести. Эти два факта его славной биографии вызывали во мне благоговение; но все-таки не в этом чувстве — каким бы глубоким оно ни было — выражается для меня сила и значительность его личности. Верх взяло другое впечатление, в котором смешались трепет, сострадание и ужас. Пан Николас Б. остается в моих глазах тем несчастным, пусть и отважным, горемыкой, который когда-то давным-давно съел собаку.

Прошло добрых сорок лет с тех пор, как я услышал эту историю, но впечатления от нее так и не поблекли. Пожалуй, это была первая история из реальной жизни, которую я услышал. И все же я до сих пор не могу понять, почему это произвело на меня такое чудовищное впечатление. Уж мне ли не знать, на что похожи наши деревенские псы — и все-таки... Как можно?! Сегодня, воскрешая в памяти ужас и жалость, испытанные в детстве, я задаю себе вопрос: правильно ли раскрывать перед холодным и взыскательным миром столь жуткое событие семейной истории? Я спрашиваю себя: вправе ли я? Тем более что семейство Б. всегда славилось в округе изысканным вкусом во всем, что касалось еды и напитков. Но по большому счету, учитывая, что гастрономическая деградация, постигшая доблестного молодого офицера, напрямую связана с Наполеоном Бонапартом, думается, что сокрытие этого эпизода означало бы капитуляцию перед излишне бдительной внутренней цензурой. Пусть правда останется здесь.

Вся ответственность лежит на муже с острова Святой Елены и связана с его досадным легкомыслием в проведении русской кампании. Дело было во время достопамятного бегства из Москвы, когда Николас Б. и два офицера из его полка (о чьих нравственных качествах и утонченности вкуса мне ничего не известно) прикончили на краю деревни собаку, после чего ее

сожрали. Насколько я помню, в качестве орудия убийства использовалась кавалерийская сабля, и вопрос жизни и смерти в этой охотничьей истории стоял куда острее, нежели в рассказах о схватках с тиграми.

В деревне, затерявшейся в глуши литовских лесов, оставился на ночлег казацкий сторожевой отряд. Трое охотников наблюдали из укрытия, как в ранних, сгущавшихся уже к четырем пополудни зимних сумерках, казаки располагались по хатам, чувствуя себя совершенно как дома. Наблюдали с отвращением и, вероятно, отчаянием. Когда наступила ночь, крепость благоразумия пала под натиском мучительного голода. Они поползли по снегу и добрались до изгороди из прутьев, какими обычно окружают деревни в этой части Литвы. Чего они хотели добыть и каким образом и стоило ли это такого риска, одному Богу ведомо.

Казацкие отряды часто перемещались без офицера, и караулы у них были нерадивые, если вообще выставлялись. Кроме того, в деревне, столь удаленной от линии отступления французов, они никак не могли ожидать отбившихся от Великой армии солдат. Трое офицеров отстали от своей колонны в лютую метель и блуждали по лесу уже не один день, чем и объяснялось ужасное состояние, до которого они дошли. Собираясь привлечь внимание крестьян из ближайшей хаты, они уже готовились прыгнуть, так сказать, прямо в пасть ко льву, но вдруг существо, учитывая обстоятельства, не менее грозное, чем лев, залаяло из-за изгороди — и странно, что только одно.

На этом месте истории, которую по моей просьбе нередко рассказывала моя прабабушка, невестка капитана Николаса Б., я начинал дрожать от возбуждения. Собака залаяла. И если бы только залаяла, три офицера Великой армии Наполеона приняли бы благородную смерть от острых казацких пик или достойно умерли бы от голода, если бы им вдруг посчастливилось уйти от погони. Но прежде чем они успели даже подумать о бегстве, этот роковой и омерзительный пес в припадке рвения выскочил сквозь щель в изгороди. Выскочил и погиб. Голову, как я понимаю, отсеки одним ударом. Известно также, что затем,

в мрачном безлюдье заснеженных лесов, когда в укромной низине охотники разожгли костер, выяснилось, что качество добычи крайне неудовлетворительное. Пес был не тощим, а наоборот, нездорово тучным, с подозрительными проплешинами на шкуре. Но убили-то его не ради шкуры. Туша большая... Ее съели... Дальнейшее — молчанье...

Молчание прерывает маленький мальчик, который с уверенностью говорит:

«Я б точно не стал есть собаку».

А его бабушка с улыбкой отвечает:

«Вероятно, ты не знаешь, что это такое — голод».

С тех пор я кое-чему научился. До поедания собак я, конечно, не дошел. Я был вскормлен легендарным зверем, которого на языке ветреных галлов именуют *la vache enragée*[•]; я питался древней солониной, я познал вкус акулы, трепанга, змеи и неподдающихся описанию блюд из безымянных ингредиентов — но не из деревенского пса из Литвы! Я хочу, чтобы по этому вопросу не было разночтений: это не я, а мой двоюродный дедушка Николас, польский дворянин, кавалер ордена Почетного легиона и т. д. в дни своей молодости съел литовскую собаку.

Лучше б, конечно, он этого не делал. Необъяснимым образом в поседевшем уже человеке все еще живо мальчишеское отвращение к этому поступку. Я не в силах этому противостоять. И все же, коли выбора у него не было, давайте будем снисходительны и вспомним, что собаку он съел в боевых условиях, достойно перенося тяжести величайшего военного бедствия новейшей истории. В каком-то смысле он сделал это во имя своей родины. Он съел собаку, чтобы утолить голод, в этом нет сомнений. Но он съел ее также и повинувшись патриотическому устремлению, в пылу глубокой веры, что все еще жива, в погоне за великой иллюзией, которую подобно ложному сигнальному огню возжег великий человек, тем самым заведя в тупик целый народ.

Pro patria!

- Бешеная корова (*франц.*).

В таком свете собака может показаться вкуснейшим и достойнейшим блюдом.

А мой рацион из *la vache engagée* — сколь экстравагантным, столь и бессмысленным чревоугодием. Чего ради мне, сыну земли, которую такие мужи возделывали плугами и орошали кровью, пускаться за солониной и сухарями — немислимой здесь снедью морских равнин? Как ни крути, вопрос этот остается без ответа. Увы! Убежден, что найдутся поборники безукоризненной нравственности, готовые процедить презрительно: «Дезертир». И тогда привкус невинного приключения вполне может показаться горьким. В мире, где ни одно объяснение не является окончательным, оценивая поведение человека, следует понимать, что в нем всегда есть место необъяснимому. Не стоит всуе обвинять в предательстве. Внешность нашей брэнной жизни обманчива, как и все, о чем мы судим, опираясь на наши несовершенные чувства. И только внутренний голос в скрытой от всех беседе может говорить вполне искренне. Верность определенной традиции можно проследить и в несвязанных с этой традицией обстоятельствах, к которым в свою очередь привел необъяснимый порыв.

Объяснять глубокую диффузию противоречий человеческой природы, которая порой заставляет саму любовь рядиться предательством, было бы слишком долго. А пожалуй что и невозможно. Снисходительность, как было сказано, — самая разумная из всех добродетелей. Рискну предположить, что эта же добродетель встречается реже других, если не реже всех. Я не хочу сказать, что люди глупы. Вовсе нет. Цирюльник и священник, при поддержке всей деревни, справедливо осудили поведение хитроумного идальго, который, покинув родные места, разбил копьём голову погонщика мулов, разметал стадо безобидных овец, а также имел весьма прискорбный опыт на скотном дворе. Да не допустит Господь, чтобы недостойный простолюдин избежал заслуженного порицания путем привязывания к стремени благородного кабальеро, чьи фантазии были в высшей степени благородными и бескорыстными, способными лишь возбуждать в простых смертных зависть. Но в обаянии этого возвышенного и опасного персонажа есть и другие моменты. Он не лишен

слабостей. Прочитав множество романов, он наивно решил убежать из непереносимой реальности. Он желал встретиться лицом к лицу с исполином Брандабарбараном, повелителем Аравии, чье оружие было сделано из кожи дракона, а щит на руке служил когда-то воротами храма. О, милая и естественная слабость! О, благословенная наивность мягких и бесхитростных сердец! Кто бы не поддался столь утешительному искушению? И все-таки, потакая своим слабостям, хитроумный идалго из Ла-Манчи не был хорошим гражданином. Священник и цирюльник осуждали его не так уж безосновательно. Я не стану повторять за королем Луи-Филиппом, который, оказавшись в изгнании, изрек: «Народ никогда не виноват», — однако можно признать, что в общем мнении всей деревни есть доля правды. Безумец! Безумец! Тот, что в благочестивом размышлении бдел над оружием у колодца на постоялом дворе, что на рассвете стоял коленапреклоненный перед хозяином гостиницы — толстым жуликом, который посвящал его в рыцари, он — приблизился вплотную к совершенству. Он несется дальше, его голова окружена нимбом — святой покровитель всех погубленных или спасенных неотразимой силой воображения. Но хорошим гражданином он не был.

Вероятно, именно это и не что иное подразумевал мой наставник в своем памятном восклицании.

То было веселым летом 1873 года, в тот год у меня были последние веселые каникулы. Затем случались годы праздности и по-своему веселые, и в известной мере поучительные, но то был год моих последних школьных каникул. Год этот памятен и другими событиями, но подходящее их изложение заняло бы слишком много места и времени. Кроме того, к каникулам они не имеют никакого отношения. А вот что имеет: за день до восклицания мы осмотрели Вену, верхний Дунай, Мюнхен, Рейнский водопад, Боденское озеро — право, это было незабываемое путешествие. Затем мы отправились в неспешный поход по долине Ройсса. О, дивное время! Это была скорее прогулка, нежели поход. По Люцернскому озеру пароход доставил нас во Флюэлен, и под конец второго дня, когда сумерки уже обгоняли наши неторопливые шаги, мы едва вышли за

пределы коммуны Хоспенталь. Упомянутое замечание я услышал в другой день, тогда же в полумраке глубокой долины, вдали от поселений, мы размышляли вовсе не об этике поведения, но о куда более простых житейских потребностях — пристанище и пище. Ни того ни другого поблизости видно не было, и мы уже подумывали повернуть обратно, как вдруг на изгибе дороги набрали на призрачное в сумерках здание.

В то время строился Готардский тоннель, и это мощнейшее горнопроходческое предприятие имело самое непосредственное отношение к неожиданному зданию, одиноко стоящему у самого подножия гор. То был длинный, но совсем небольшой, низкий, сбитый из досок барак с белыми оконными рамами на желтом, лишенном каких-либо декоративных элементов фасаде. И все же это была гостиница; у нее даже было название, но я позабыл его. Разумеется, перед его скромной дверью не стоял привратник с золотыми галунами. На наши расспросы ответила простого вида энергичная горничная, затем подошли мужчина и женщина — владельцы заведения. Ясно было, что никто не ожидал, а может, даже и не желал новых постояльцев в этой странной гостинице, чей суровый стиль напоминал домик, венчающий на вид совершенно непригодный к плаванию игрушечный Ноев ковчег — неперемный атрибут европейского детства. И все-таки крыша у нее не была откидной, и внутри ее не заполняли до краев раскрашенные фигурки выпиленных из фанеры животных. Впрочем, присутствия живых туристов тоже не наблюдалось. Мы что-то поели в длинной, узкой комнате, сидя на конце такого длинного и узкого стола, что моему усталому восприятию и моим сонным глазам казалось, будто сейчас его дальний край пойдет вверх, как перекладина у качелей, поскольку на том конце нет никого, чтобы уравновесить две наши пыльные и перепачканные за время путешествий фигуры. Затем мы поспешили вверх по лестнице в пахнущую сосновыми досками комнату, и, прежде чем моя голова коснулась подушки, я провалился в глубокий сон.

Утром мой наставник (студент Краковского университета) разбудил меня спозаранку и, пока мы одевались, сказал: «В гостинице, похоже, много постояльцев. Я до одиннадцати

слышал гул голосов». Я удивился; я ничего не слышал, поскольку спал как убитый.

Мы спустились в длинную и узкую столовую. На длинном и узком столе в два ряда стояли тарелки. Возле одного из многочисленных занавешенных окон стоял высокий поджарый мужчина. Широкую плешь обрамляли пучки черных волос над ушами, длинная черная борода касалась груди. Он оторвался от газеты и взглянул на нас. Похоже, он неподдельно изумился нашему вторжению. Мало-помалу народ подтягивался. Ни один из вошедших не был похож на туриста. Ни одной женщины. Создавалось впечатление, что все эти люди довольно близко знакомы друг с другом, однако разговорчивой их компанию я бы не назвал. Лысоватый важно уселся во главе стола. Все это походило на семейное торжество. Вскоре бойкая служанка в национальном костюме рассказала нам, что место это на самом деле служило пансионом для английских инженеров, выписанных на строительство Готардского тоннеля. У меня появилась возможность послушаться английской речи в той мере, какую позволяют себе за завтраком мужчины, не склонные растрачивать слова в ситуациях бытовых и повседневных.

Для меня это был первый контакт с населением британских островов, если не считать туристов в отелях Люцерна и Цюриха, каковой типаж не имеет хождения в повседневной жизни. Теперь я уже знаю, что лысый мужчина говорил с сильным шотландским акцентом. Я много раз слышал этот акцент и на суше, и на море. Я почти уверен, второй механик на пароходе «Мавис» приходился этому человеку братом-близнецом. И он меня не разубедил, хоть и утверждал, что у него нет и никогда не было близнеца. Как бы то ни было, неторопливый лысоватый шотландец с угольно-черной бородой предстал перед моим детским взором романтическим и таинственным персонажем.

Мы выскользнули незамеченными. Наш запланированный маршрут пролегал через перевал Фурка по направлению к Ронскому леднику, с дальнейшим спуском по склону долины Хасли. Солнце уже садилось, когда мы оказались на вершине перевала и прозвучала, наконец, упомянутая выше фраза.

Мы уселись на обочине дороги и продолжали спор, начатый с полмили назад. Я уверен, что это был спор, потому что отчетливо помню, как мой наставник спорил, а я, не имея возможности ответить, слушал, не отрывая взгляда от земли. Движение на дороге заставило меня поднять глаза — и тут я увидел своего незабвенного англичанина. Его я запомнил отчетливей, чем некоторых знакомых последующих лет — приятелей и товарищей по службе. Он стремительно шагал на восток (рядом с престижным видом трусил проводник-швейцарец) с бесстрашием истинного путешественника. На нем был спортивный костюм, при этом из-под высоких зашнурованных ботинок едва виднелись короткие носки, по причинам, которые, конечно, могли быть связаны с гигиеной или аккуратностью, но очевидно в первую очередь были определены художественным вкусом их хозяина, икры которого, выставленные на всеобщее обозрение, были открыты бодрящему высокогорному воздуху и ослепляли зрителя мраморной крепостью и богатым оттенком свежей слоновий кости. Он шел впереди небольшого каравана. Мир человеческий и горный пейзаж вызывали в нем безоговорочное удовлетворение, и это почти восторженное чувство освещало его четко очерченное сильно покрасневшее лицо, короткие серебристо-белые бакенбарды, его невинно-страстные, торжествующие глаза. Проходя мимо, он бросил взгляд, полный добродушного любопытства, и улыбнулся, показав ряд крупных, крепких, блестящих зубов мужчине и мальчику, сидевшим, словно бродяги, на пыльной обочине со скромным рюкзаком у ног. Его белые икры светились уверенностью, неуклюжий швейцарский проводник с мрачным видом шествовал у его локтя, будто медведь на привязи, а за полным энтузиазма путешественником гуськом шел небольшой караван из трех мулов. Одна за другой проехали две леди, но высокая посадка позволила мне разглядеть лишь их спины да края длинных синих вуалей, которые низко свешивались с полей одинаковых шляп. Несомненно, то были его дочери. Замыкал шествие груженный багажом усердный мул с обвислыми ушами, которого вел сутулый, болезненного вида погонщик. Взглянув на процессию, мой наставник слабо улыбнулся, после чего снова принялся мне что-то с жаром доказывать.

Говорю же вам, это был незабываемый год. Где еще встретишь такого англичанина! Был ли он по мистическому стечению вполне обычных обстоятельств провозвестником моего будущего, посланным в решающий момент склонить чашу весов на вершине альпийского ущелья, чтобы пики Бернского Оберланда стали тому немymi, но величественными свидетелями? Его взгляд, его улыбка, безудержная, почти комическая пылкость его рвущейся вперед натуры помогли мне взять себя в руки. Нужно сказать, что в тот день, находясь в головокружительной атмосфере гор, я чувствовал себя абсолютно разбитым. В тот год я впервые вслух сказал о своем желании стать моряком. Сперва это заявление осталось неуслышанным, как те звуки, что выходят за пределы улавливаемого человеческим ухом диапазона. Как будто бы его и вовсе не было. Я принялся перепевать то же самое на разные лады, и мне таки удалось пару раз вызвать удивление и даже привлечь на секунду чье-то внимание — как если бы кто-то спросил: «Что это за странный звук?» Следующей реакцией было: «Вы слышали, что говорит этот мальчик? Какой неожиданный порыв!» Вскоре волна возмущенного изумления (она не была бы больше, объяви я о намерении уйти в картезианский монастырь), вырвавшись за пределы академического, университетского Кракова, накрыла несколько губерний. Растеклась далеко, но не глубоко. И всколыхнула повсеместные протесты, негодование, жалостливое удивление, горькую иронию и откровенные насмешки. Я с трудом дышал под их гнетом и совсем не мог найти слов в ответ. Люди судачили, что станет делать с беспокойным племянником пан Т. Б. и, осмелюсь сказать, от всей души надеялись, что он быстро положит конец моим выдумкам. Дядя же прибыл из самой Украины, чтобы объяснить со мной и рассудить самому — непредвзято и честно с позиции человека мудрого и любящего. Насколько это было возможным для мальчика, чьи способности к самовыражению еще не вполне сложились, я поведал ему свои сокровенные мысли, а он в ответ приоткрыл мне свое сердце и разум; тогда я впервые увидел неисчерпаемый и благородный источник чистой мысли и теплых чувств, из

которого на протяжении всей жизни черпал преданную любовь и веру в успех. На деле после череды утомительных бед он заключил, что не хотел бы услышать от меня упреков в поломанной его безусловным отказом жизни. Но я должен не торопиться и серьезно подумать. И думать надо не только о себе, но и о других, положив чувства любви и долга на одну чашу весов, а искренность собственной цели — на другую. «Хорошенько подумай, что это будет значить для твоей жизни в целом, мой мальчик, — наконец предостерег он с особым дружелюбием. — Меж тем постарайся как можно лучше сдать годовые экзамены».

Учебный год подошел к концу. Я довольно хорошо сдал экзамены, которые для меня (в силу определенных причин) были испытанием более трудным, чем для других юношей. В этом отношении я мог с чистой совестью наслаждаться каникулами, которые обернулись долгим путешествием по старой Европе, которую в течение последующих двадцати четырех лет мне довелось видеть так мало. Это было мое прощальное турне. Однако задумывалось оно с совершенно другими целями. Подозреваю, поездка была запланирована, чтобы отвлечь меня и направить мои мысли в иное русло. За долгие месяцы о моем желании стать моряком не было сказано ни слова. Все хорошо знали, насколько я привязан к своему молодому наставнику и какое влияние он на меня имеет. Не исключено, что на него была возложена секретная миссия отговорить меня от этой романтической причуды. Поручение это подходило ему как нельзя лучше, поскольку ни он, ни я за всю жизнь моря и в глаза не видели. Море должно было явиться нам обоим далее по ходу нашего турне — в Венеции, на открытом берегу Лидо. Однако он так усердно взялся за исполнение своей миссии, что, не успели мы добраться до Цюриха, а я уже начал скисать. Он убеждал меня в прелести железнодорожных поездов, пароходов, что бороздят озера, он увещевал меня даже во время обязательной церемонии рассвета над Риги, ей-богу! В его глубокой преданности своему нерадивому ученику сомневаться не приходится. Преданность эту он доказал двумя годами неусыпной и ревностной заботы. Я не мог не любить его. Но он подавлял меня,

день ото дня, медленно, и когда он начал свои увещевания на вершине перевала Фурка, он, быть может, был ближе к успеху, нежели мы оба себе представляли. Я слушал его и, храня безнадежное молчание, чувствовал, как призрачное, несбывшееся и желанное море, море, которым я грезил, ускользает из ослабленной хватки моей воли.

Энергичный англичанин прошел — и спор продолжился. Каких плодов я жду от такой жизни на склоне лет? Смогу ли я многого добиться, заслужить уважение, сохранить чистую совесть? Вопрос, на который невозможно ответить. Но я больше не чувствовал себя подавленным. Наши взгляды встретились, и искреннее чувство было видно и в его глазах, и в моих. Конец увещеваниям настал внезапно. Он вдруг подобрал рюкзак и поднялся.

«Ты неисправимый, безнадежный Дон Кихот. Вот кто ты такой».

Я был потрясен. Мне было всего пятнадцать, и я не вполне понимал, что он имеет в виду. Но упоминание бессмертного рыцаря в связи с моей мечтой, которую некоторые в лицо называли придурью, мне даже польстило. Увы! Не думаю, что мне было чем гордиться. Я не мечтал стать защитником одиноких девиц, как подобает тем, кто задумал исправить пороки этого мира, и мой наставник знал об этом лучше других. Следовательно, бросив столь благородное имя как упрек, он в своем негодовании превзошел цирюльника со священником.

Целых пять минут я шел за ним следом. Потом он, не оглядываясь, остановился. Тени отдаленных горных вершин, удлинняясь, ложились на перевал Фурка. Когда я поравнялся с ним, он повернулся ко мне, встав на фоне пейзажа, в котором доминировала вершина Финстерааргорна, и целая орава его гигантских братьев уперлась исполинскими головами в сверкающее небо. Он положил мне руку на плечо.

«Что ж, довольно! Больше об этом ни слова».

Действительно, ни единого вопроса о моем таинственном призвании между нами больше не возникало. Вопросов больше не возникало никогда и ни у кого. Беззаботно беседа, мы стали спускаться к перевалу Фурка.

Одиннадцать лет спустя, месяц в месяц, я стоял на Тауэр-Хилл на ступенях доков Святой Екатерины, капитан Британского торгового флота. Но того, кто положил мне руку на плечо на вершине перевала Фурка, уже не было в живых.

В год нашего памятного путешествия он защитил диплом философского факультета — и тогда только проявилось его истинное призвание. Следуя за ним, он тут же поступил на четырехгодичный курс медицинского института. Пришел день, когда на палубе пришвартованного в Калькутте корабля я прочел письмо, сообщающее о конце его завидного существования. Он практиковал в отдаленном городке Австрийской Галиции. В письме сообщалось, как все обездоленные округа — и христиане, и евреи — с рыданиями провожали гроб доброго доктора до самых ворот кладбища.

Как короток век и как велика его проницательность! Рассчитывал ли он чего-то добиться, заслужить уважение или сохранить чистую совесть, когда, стоя на перевале Фурка, он призывал меня взглянуть в финал моей только начинавшейся жизни?

III

Образ двоюродного дедушки, пожирающего несчастную литовскую собаку в компании двух солдат, доведенных до состояния изголодавшихся, пугал, символизировал в моем детском воображении весь ужас бегства из Москвы и безнравственность завоевательских амбиций. Крайнее отвращение к этому малоаппетитному эпизоду окрасило мое отношение к личности и деяниям императора Наполеона. Стоит ли говорить, что приязни к нему я не питаю. Заставить простодушного польского пана съесть собаку, взрастив в его душе ложную надежду на независимость родины, было со стороны великого кормчего просто безнравственно. Такова судьба этого доверчивого народа — прозябать еще сотню лет на скудном пайке из ложных надежд и — собачатины. Это, если подумать, исключительно нездоровый рацион. Можно простить себе некоторую гордость за национальный характер, который до сих пор выдерживает эту губительную диету.

Но довольно общих слов. Возвращаясь к нашей частной истории, мистер Николас Б. с присущей ему сдержанностью мизантропа признался невестке (моей бабке), что злополучный ужин был для него «немногим лучше смерти». В этом нет ничего удивительного. Удивляет меня, что об этой истории вообще стало известно, поскольку мой двоюродный дедушка, в отличие от большинства офицеров наполеоновского (а возможно, и любого) времени, не любил распространяться о кампаниях, в которых участвовал, — а начинал он под Фридландом и закончил где-то в округе Бар-ле-Дюк. Его восхищение великим императором было безграничным. Но молчаливым.

Как истинно верующий, он не желал выставлять напоказ свое глубокое чувство перед изуверившимся миром. За исключением этой истории, он был настолько скуп на полевые анекдоты, словно и солдата в жизни не видел. Все свои награды он получил до двадцати пяти лет и гордился ими. Однако отказывался украшать петлицу орденскими лентами, как это принято в Европе и по сей день, и неохотно надевал свои регалии даже по праздникам, словно желая скрыть их из опасения прослыть хвастуном.

«Довольно того, что они у меня есть», — бормотал он себе под нос. За тридцать лет медали на его груди видели лишь дважды: на важной для семейства свадьбе и на похоронах старого друга. Уже взрослым я узнал, что невестой, удостоившейся подобной чести, была не моя мать, но обижаться на мистера Николаса Б. было уже некстати, тем более что он исправил положение, отметив мое рождение длинным поздравительным письмом с пророчеством: «Он узрит лучшие времена». Надежда жила даже в его отравленном горечью сердце. Но истинным пророком он не был.

Он был человеком странных противоречий. Прожив много лет в доме брата, полном детей, жизни, движения и постоянного шума от приходивших и уходивших гостей, он сохранил привычку к уединению и покою. Его считали крайне скрытным во всех отношениях, но на самом деле он был лишь жертвой болезненной нерешительности во всем, что касалось гражданской жизни. За его молчаливостью и флегматичностью скрывалась способность к внезапным приступам гнева. Даром рассказчика он, подозреваю, не обладал, но все же испытывал мрачное удовлетворение, когда называл себя последним человеком, который переправился по мосту через Эльстер после Битвы народов. Чтобы никто не вздумал приписать это его доблести, он даже снисходил до объяснений, как все произошло. Вскоре после начала отступления его отправили обратно в городок, где войска союзных держав были заняты истреблением нескольких подразделений французской армии (и среди них польских войск князя Джозефа Понятовского), безнадежно зажатых в лабиринте улиц. На вопрос, что там творилось, пан

Николас Б. бормотал лишь слово «бойня». Доставив послание князю, он тут же поспешил назад, чтобы отчитаться о выполненном задании. К тому времени передовые части противника уже окружили город, и всадника обстреливали из домов. Кроме того, беспорядочная толпа австрийских драгун и прусских гусар преследовала его до самого берега реки, мост через которую заминировали еще ранним утром. Пан Николас был убежден, что именно вид нагонявших его кавалеристов насторожил командира саперов и заставил его преждевременно подорвать заряды. Не проскакав и двухсот ярдов по другому берегу, он услышал роковые взрывы. Свое скупое повествование пан Николас завершал безоговорочным «идиот». Этим приговором он выражал негодование по поводу тысяч погибших. И только когда он говорил о своем единственном ранении, бесстрастное лицо озарялось чем-то отдаленно напоминавшим гордость. Вы поймете причину этой гордости, когда узнаете, что он был ранен в пятку. «Как сам Его Величество Император Наполеон», — напоминал он своим слушателям с напускным равнодушием. Нет никаких сомнений, что равнодушие его было напускным, ведь ранение это было поистине необычным. Полагаю, что за всю историю известно лишь о трех воинах, раненых в пятку: Ахилл, Наполеон — воистину полубоги, — и к ним недостойный потомок с почтением к семейной истории добавляет имя простого смертного Николаса.

Сто дней застали пана Николаса в доме нашего дальнего родственника, хозяина небольшого имения в Галиции. Как он добрался туда через еще не сложившуюся оружием Европу и что ему пришлось преодолеть по дороге, боюсь, мы не узнаем никогда. Все бумаги пана Николаса были уничтожены незадолго до его смерти. Но даже если среди них и было, как он утверждал, краткое описание его жизни, я совершенно уверен, что занимало оно не более чем пол-листа. Наш дальний родственник служил в австрийской армии и после битвы при Аустерлице вышел в отставку. В отличие от пана Николаса, скрывавшего свои награды, он любил демонстрировать почетную увольнительную грамоту, в которой был назван *unschreckbar* (бесстрашным) перед лицом врага. Ничего хорошего такой союз,

казалось бы, не сулил, однако семейная легенда гласит, что эти двое отлично ладили в своем сельском уединении.

Когда пана Николаса спрашивали, не испытывал ли он во время Ста дней искушения вернуться во Францию и поступить на службу к своему обожаемому Императору, он обычно бормотал: «Ни денег, ни лошади, пешком далековато».

Поражение Наполеона и крах надежд на независимость дурно сказались на характере пана Николаса. По возвращении к себе в провинцию он сник. Впрочем, на то имелась и другая причина. Отец пана Николаса и моего деда по материнской линии умер рано. Они были еще совсем детьми. Их мать, в ту пору молодая, с очень приличным состоянием, снова вышла замуж за мужчину большого обаяния и добросердечного нрава, но без гроша в кармане. Он оказался любящим и заботливым отчимом, однако, как ни прискорбно, направляя образование мальчиков и формируя их характер мудрыми наставлениями, он сделал все, чтобы прибрать к рукам состояние семьи. Он покупал и продавал земли на свое имя и вкладывал капитал таким образом, чтобы скрыть имена истинных владельцев. В подобных затеях можно преуспеть, нужна только бездна обаяния, чтобы непрерывно пускать пыль в глаза собственной жене, и немного смелости, чтобы не принимать в расчет тщету общественного мнения. Решающий момент настал, когда в 1811 году по достижении совершеннолетия старший из братьев попросил ввести его в курс дел и выделить хотя бы часть наследства, чтобы начать самостоятельную жизнь. Тогда-то отчим и объявил в очень спокойной, но категоричной манере, что нет ни дел, ни наследства. Все состояние теперь принадлежало ему. Он, безусловно, сочувствовал молодому человеку, у которого сложилось ложное впечатление об истинном положении дел, но считал необходимым твердо стоять на своем. Последовали визиты старых друзей, появились добровольные посредники, готовые трястись по самым разбитым дорогами из самых отдаленных уголков трех провинций, и предводитель дворянства (неофициальный опекун сирот знатного происхождения) созвал собрание землевладельцев, «дабы доброжелательно прояснить возникшее между Х. и его пасынками недопонимание и предпринять необходимые

меры для устранения оногo». Делегация посетила X., который угощал их превосходными винами, но пропускал мимо ушей их увещания. Над предложением о разборе дела третейским судом он лишь посмеялся. При том что вся округа помнила, что четырнадцать лет тому назад, когда он женился на вдове, все его зримое достояние (помимо навыков общения) состояло из щегольской четверки лошадей и двух слуг, с которыми он объезжал окрестных помещиков; что касается средств, об их наличии можно было судить лишь по скромным карточным долгам, к выплате которых он относился с подчеркнутой щепетильностью. Но благодаря волшебной силе его упрямства и неизменной уверенности в себе, попадались и те, кто поговаривал меж собой, что, мол, «не все так просто». Тем не менее на его следующие именины (которые он обычно праздновал трехдневной охотой) из всех приглашенных явились лишь двое дальних соседей без всякого веса в обществе. Один был известен своей глупостью, другой же — человек очень набожный и честный — столь страстно любил пострелять, что, по собственному признанию, не смог бы отказаться от предложения поохотиться, будь оно хоть от самого дьявола. X. принял это проявление общественного мнения с безмятежностью человека, совесть которого чиста. Его было не сломить. И все же это был человек глубоко чувствующий, и когда его жена открыто встала на сторону своих детей, он утратил свое прекрасное спокойствие, объявил свое сердце разбитым и, безутешный, выгнал ее из дома раньше, чем она успела собрать чемоданы.

Так началась тяжба — блистательно гнусная афера, которую посредством всяческого крючкотворства удалось растянуть на долгие годы. Другим это позволило проявить недюжинную доброту и сострадание. Двери соседских домов распахнулись для обездоленных. Ни юридической помощи, ни материальной поддержки в ведении дела просить не приходилось. В то же время X. публично обливался слезами над неблагодарностью пасынков и слепую материнской любовью жены. Вместе с этим он проявил себя таким виртуозом в сокрытии финансовых документов (поговаривали даже, что он сжег изрядную часть исторически важных бумаг из семейного архива), что истцы

вынуждены были пойти на компромисс и покончить с этим скандальным делом, пока не случилось чего похуже. В итоге от притязаний на все имущество пришлось отказаться, а в качестве отступного сошлись на двух деревеньках, названиями которых я не намерен обременять читателей. После столь нелепого и бесславного финала ни жене, ни пасынкам нечего было сказать человеку, явившему миру столь яркий пример своекорыстия, фундаментом которому послужили твердый характер, целеустремленность и усердие. Моя же прабабка, совершенно подорвав здоровье, скончалась пару лет спустя в Карлсбаде. Чувствуя себя под защитой судебного решения, узаконившего сей грабеж, Х. вновь обрел желанный покой и остался жить поживать у себя в усадьбе со всем комфортом и, судя по всему, в мире с собой. Любители охоты снова стали принимать его приглашения более или менее благосклонно. Без устали уверяя гостей, что не держит зла за дела минувшие, он во всеуслышание заявлял, что по-прежнему предан жене и пасынкам. Да, они хотели ободрать его как липку на склоне лет; но поскольку он решил защитить себя от разорения, как сделал бы любой на его месте, они обрели его на тяготы одинокой старости. Однако его любовь выдержала даже такое коварство.

И, возможно, какая-то доля правды в его словах присутствовала. Вскоре он принялся делать пассы в сторону старшего пасынка, моего деда по матери, и, хотя его дружелюбные поползновения немедленно пресекались, он предпринимал все новые и новые попытки с характерным для него упорством. Долгие годы он стремился к примирению, сулил моему деду переписать завещание в его пользу, лишь бы тот согласился восстановить отношения, чтоб они могли хотя бы время от времени навещать друг друга (для тех мест расстояние в сорок миль считалось близким соседством) или даже принять участие в большой охоте по случаю именин. Дед был страстным любителем всякой охоты. Характер его был настолько далек от жестокосердия и злонамеренности, насколько это вообще возможно. Будучи воспитан либерально настроенными бенедиктинцами, которые держали единственную на юге приличную общеобразовательную школу, он с усердием перечитывал

авторов XVIII века. Христианское великодушие сочеталось в нем с философской снисходительностью к недостаткам ближнего. Но память о тревогах и унижениях юности, о молодости, обескрыленной цинизмом несправедливой тяжды, помешали ему простить отчима. Он так и не соблазнился перспективой грандиозной охоты, и Х., до последнего надеявшийся на примирение, так и умер в своей усадьбе, оставив у изголовья неподписанный черновик завещания.

Состояние, приобретенное и приумноженное благодаря мудрому и внимательному ведению дел, отошло дальним родственникам, которые никогда с ним не встречались и даже носили другую фамилию.

Меж тем благословение всеобщего мира снизошло на Европу. Распровавшись с гостеприимным родственником, «бесстрашным» австрийским офицером, пан Николас покинул Галицию. Даже не приближаясь к родным краям, где еще продолжался одиозный судебный процесс, он проследовал прямо в Варшаву, где присоединился к армии Царства Польского, недавно образованного под скипетром Александра I, самодержца Всероссийского.

Это Царство было учреждено Венским конгрессом как дань памяти былой независимости и включало только центральные земли прежней Польши. Брат Александра I, великий князь Константин Павлович, наместник императора и главнокомандующий, вступил в мorganатический брак с польской графиней, к которой испытывал свирепую привязанность. Со свойственными ему своенравием и необузданностью он распространял это чувство и на тех, кого величал «мои поляки». Землистый цвет татарского лица, свирепые маленькие глазки, Константин Павлович вышагивал, наклонившись вперед, сжав кулаки и бросая подозрительные взгляды из-под гигантской треуголки. Человек он был ограниченный, даже здравость его рассудка вызывала сомнения. Наследственные пороки сказались в нем не загадочными причудами, как у братьев (Александр был мистически либерален, Николай — мистически деспотичен), но приступами неукротимой ярости, которая, как правило, проявлялась в отвратительной жестокости на плацу.

Это был отъявленный солдафон и большой любитель муштры. Он обращался с польской армией, как избалованный ребенок с любимой игрушкой, разве только не брал ее в кровать перед сном. Размер не позволял. Но играл с ней дни напролет, приходя в восторг от разнообразия красивых мундиров и наслаждаясь бесконечной муштрой. Эта мальчишеская страсть не к войне, а к военщине, принесла желаемый результат. К концу 1830 года польская армия по снаряжению, вооружению и боеспособности считалась первоклассной, по тогдашним меркам, тактической силой. Польские крестьяне (не крепостные) поступали на службу рядовыми, офицеры принадлежали в основном к мелкопоместному дворянству. Как бывший наполеоновский офицер, пан Николас без труда получил лейтенанта, но продвижение по службе в польской армии шло медленно, поскольку, будучи отдельным формированием, она не принимала участия в войнах Российской Империи — ни против Персии, ни против Турции. Ее первая кампания — против самой России — стала и последней. В 1831 году, на пороге Революции, пан Николас был уже старшим офицером. Незадолго до этого его назначили начальником ремонтной комиссии, расквартированной в южных провинциях за пределами Царства Польского, откуда пригоняли почти всех лошадей польской кавалерии. Впервые, с тех пор как он покинул дом в возрасте восемнадцати лет, чтобы получить боевое крещение в битве под Фридландом, пан Николас вдохнул воздух «заграницы» — родной для него воздух. Но жестокая судьба подстерегала его среди знакомых с юности мест. С первыми новостями о восстании в Варшаве вся ремонтная комиссия, офицерский состав, коновалы и сами кавалеристы были незамедлительно взяты под арест и переправлены всем скопом за Днепр, в ближайший российский город. Оттуда они были рассеяны по отдаленным уголкам империи. На этот раз бедный пан Николас проник в Россию много глубже, чем ему довелось во время наполеоновского вторжения, хотя и с гораздо меньшей охотой. Его выслали в Астрахань, где он пробыл три года. Он жил в городе, но ежедневно в полдень должен был докладывать о себе военному коменданту, который нередко задерживал его, чтобы выкурить по трубке

и поболтать. Достоверно воссоздать такую беседу с паном Николасом было бы затруднительно. За его молчаливостью, вероятнее всего, скрывался с трудом сдерживаемый гнев, ведь комендант сообщал ему новости с фронта, а новости были известны какими — для поляков прескверными. Пан Николас принимал эти сообщения с внешним хладнокровием, что не мешало русскому проявлять горячее сочувствие к пленному. «Я сам солдат и понимаю ваши чувства. Вы, безусловно, желали бы находиться на поле боя. Ей-богу! Вы мне очень симпатичны. Если бы не присяга, я бы отпустил вас на свой страх и риск. Какая нам разница: одним больше, одним меньше».

Иногда он простодушно допытывался: «Скажите, Николай Степанович... — Моего прадеда звали Стефан, и комендант использовал русскую форму вежливого обращения. — Скажите, и отчего это вы, поляки, все время на рожон-то лезете? А чего вы ждали? Против России идти?!»

Не чужды ему были и философские размышления: «И где теперь ваш Наполеон? Великий человек, спору нет. Великий, покуда лупил немцев с австрияками и иже с ними. Нет же! Пошел на Россию, полез на рожон! И чем дело кончилось? Взгляните на меня! Эта вот сабля бряцала по парижским мостовым».

По возвращении в Польшу, когда пану Николасу приходилось рассказывать о жизни в ссылке, он отзывался о коменданте так: «Человек достойный, но дурак». Отклонив предложение перейти на русскую службу, он вышел в отставку и получил лишь половину положенной ему по званию пенсии. Его племянник (мой дядя и опекун), которому тогда было четыре года, рассказывал, что его первым внятным воспоминанием стало радостное оживление, царившее в родительском доме в день возвращения пана Николаса из русской ссылки.

У каждого поколения свои воспоминания. Возможно, первые воспоминания пана Николаса были связаны с последним разделом Польши, и прожил он достаточно, чтобы с горечью наблюдать за последним вооруженным восстанием 1863 года, которое повлияло на судьбу всего моего поколения и окрасило мои первые жизненные впечатления. Когда его брат, в доме

которого этот робкий мизантроп укрывался, пасуя перед элементарными житейскими трудностями, умер, едва разменяв шестой десяток, пану Николасу ничего не оставалось, как собрать всю волю в кулак и принять решение относительно своей будущности. После мучительных сомнений и долгих уговоров он, наконец, арендовал полторы тысячи акров у своего приятеля в соседнем имении.

Условия аренды были очень выгодными, но я полагаю, что решающим обстоятельством стала удаленность деревни и благоустроенный дом без изысков. Он тихо прожил там около десяти лет, гостей принимал редко и почти не участвовал в общественной жизни, усматривая в ней проявления тирании и бюрократического произвола. Он сам и его преданность родине были вне подозрений, но организаторы восстания в своих разъездах по округе старались даже не приближаться к его дому. Все понимали, что не стоит нарушать покой последних лет старого солдата. Даже такие закадычные друзья, как мой дед по отцу, с которым они прошли за Наполеоном до Москвы, а позже служили в польской армии, по мере приближения дня восстания навещали его все реже. Два сына и единственная дочь моего деда по отцу были глубоко вовлечены в подготовку восстания, сам же он был из тех шляхтичей, которые видели высшее проявление патриотизма в том, чтобы «вскочить в седло и вышвырнуть их прочь». Но даже он соглашался, что «дорогого Николаса беспокоить не следует». Однако все эти предосторожности со стороны заговорщиков и прочих друзей не спасли пана Николаса от бед того несчастливого года.

Не прошло и двух суток с начала восстания в тех местах, как разведывательный казачий отряд прошел через деревню и вторгся в усадьбу. Всадники встали между домом и конюшней, несколько же спешились и обыскали хозяйственные постройки. Командир с двумя казаками подошли к входной двери. Все шторы с этой стороны дома были опущены. Офицер сказал встретившему его слуге, что хочет поговорить с хозяином. Тот ответил, что хозяина нет дома, что полностью соответствовало действительности.

Далее я буду придерживаться истории, которую рассказывал этот слуга друзьям и родственникам моего двоюродного деда, какой я и узнал ее от них.

Услышав ответ слуги, казачий офицер зашел с крыльца в дом.

«Куда, говоришь, хозяин уехал?»

«Хозяин отбыл в Н. [губернский город в пятидесяти милях], еще позавчера».

«В конюшне только две лошади. Где же остальные?»

«Хозяин всегда выезжает на своих лошадях. — Имелось в виду, что не на почтовых. — Его не будет неделю, а то и дольше. Он соблаговолил сообщить, что ему нужно уладить одно дело в гражданском суде».

Пока слуга говорил, казак разглядывал переднюю.

Перед ним было три двери: напротив, справа и слева. Офицер открыл дверь слева, вошел в комнату и приказал поднять шторы. Это был кабинет пана Николаса: высокие книжные шкафы, картины на стенах и прочее.

В центре комнаты стоял большой стол, заваленный книгами и бумагами, а между дверью и окном — на свету — еще один, поменьше, с несколькими выдвижными ящиками. Именно за этим столом дядюшка обыкновенно читал и писал.

Слуга поднял шторы и был ошарашен увиденным — все мужское население деревни собралось перед домом, утаптывая хозяйские клумбы. В толпе виднелось несколько женщин. Впрочем, он обрадовался, увидев, как по аллее к дому идет священник православного прихода. Добрый человек так спешил, что подобрал подол и из-под рясы виднелись голенища сапог.

Офицер изучил корешки книг на полках. Затем присел на край большого стола и как бы невзначай заметил:

«Выходит, в город хозяин тебя не взял?»

«Я здесь управляющий, он оставляет меня на хозяйстве. А с собой берет крепкого молодого парнишку. Случись что, не приведи Господь, от него в дороге толку куда больше, чем от меня».

Через окно он видел, как священник что-то горячо доказывает обступившей его толпе, которая начинала было

униматься. И все же несколько мужиков остались с казаками обсуждать что-то у входной двери.

«А ты не думаешь, что твой хозяин уехал, чтобы прикнуть к бунтарям?» — спросил офицер.

«Помилуйте! Он слишком стар для этого. Ему далеко за семьдесят, да и сдавать он начал. Вот уж пару лет, как на лошадь не садится и ходит-то с трудом».

Офицер продолжал спокойно сидеть с безразличным видом, покачивая ногой. Тут крестьян, что разговаривали на крыльце с казаками, впустили в дом. Еще двое отделились от толпы и последовали за ними. Их было уже семеро, и среди них кузнец — отставной солдат. Слуга почтительно обратился к офицеру.

«Не благоволит ли Ваше благородие приказать людям разойтись? Чего ради они ввалились в дом? Негоже им так распускаться, пока хозяина нет, а я тут за все в ответе».

Офицер только хмыкнул и немного погодя спросил: «Оружие в доме имеется?»

«Да. Есть кое-что. Старинное».

«Несите все сюда, на стол».

Слуга еще раз попробовал заручиться поддержкой:

«Не велит ли Ваше благородие мужикам?..»

Но офицер так глянул на него, что слуга, вмиг передумав, поспешил кликнуть с кухни мальчишку помочь ему с оружием. Тем временем офицер стал медленно прохаживаться по комнатам, внимательно все осматривая, но ни к чему не прикасаясь. При его приближении крестьяне в передней отпрянули и сняли шапки. Им он не сказал ни слова. Когда он вернулся в кабинет, все найденное в доме оружие уже лежало на столе. Здесь была пара больших пистолетов с кремневым замком, еще наполеоновских времен, две кавалерийские сабли — одна французского, другая польского образца — и одно-два охотничьих ружья.

Офицер раскрыл окно и стал бросать туда пистолеты, сабли и ружья, а подбежавшие солдаты их подобрали. Увидев такое, крестьяне осмелели и пробрались за ним в кабинет. Офицер и бровью не повел, как будто их и не было вовсе, а поскольку дел у него здесь больше не осталось, то он молча покинул

дом. Как только он вышел, крестьяне нахлобучили шапки и заулыбались.

Казаки двинулись дальше и, минуя службы и дворы усадьбы, скрылись в полях. Священник, продолжая урезонивать крестьян, медленно пошел по дороге, и его убедительные речи увлекли безмолвную толпу прочь от дома. Надо отдать должное православным священникам — великороссам, которые, будучи направлены на служение в чужие края, как правило использовали свое влияние на прихожан во благо мира и человечности. Верные духу своего призвания, они всеми силами старались умиротворить волнующееся крестьянство и противостоять грабегам и насилию. В этом они шли против ясно выраженной воли властей. Некоторые за это даже пострадали, без всякого предупреждения их высылали далеко на север или в сибирские приходы.

Слуге не терпелось выпроводить пробравшихся в дом крестьян. Разве, спрашивал он, можно так вести себя по отношению к человеку, который, даже не будучи владельцем, на протяжении стольких лет проявлял лишь доброту и отзывчивость, а на днях даже уступил два луга под выпас деревенского стада? Не преминул он напомнить и о том, как во время вспышки холеры пан Николас заботился о больных крестьянах. Все это было чистой правдой и прозвучало столь убедительно, что мужики уже начали почесывать в нерешительности затылки. Слуга продолжал, указывая на окно: «Гляньте-ка, ваши все уже отправились по домам, поспешили бы и вы, дурачье, за ними, да молитесь Бога, чтобы простил вам грешные помыслы».

Они последовали его призыву, но не к добру.

Ринувшись гурьбой поглядеть, не врет ли слуга, крестьяне опрокинули письменный столик. Внутри звякнула монета. «Да у них тут деньги спрятаны!» — завопил кузнец. Крышку изящного столика немедленно разнесли в щепки, и на всеобщее обозрение предстал ящичек с восьмьюдесятью полуимпериалами. Даже в те времена золотые монеты были в России в диковинку, их блеск раззадорил крестьян. «В доме должны быть еще деньги, заберем себе все! — воскликнул отставной войка. — Время-то военное!» Остальные уже кричали в окошко,

призывая уходящих воротиться и помочь. В один миг вокруг священника не осталось ни души. Он всплеснул руками и поспешил прочь со двора, не желая видеть дальнейшего.

Радея за монетку, мужички разгромили весь дом. Они так рьяно орудовали ножами и топорами, что, по словам слуги, в доме и целого стула не осталось: разбили несколько дорогих зеркал, все окна, всю посуду и фарфор; выбросили книги и бумаги на лужайку и, просто забавы ради, подожгли. Единственной уцелевшей вещью оказалось маленькое распятие слоновой кости, которое осталось висеть на стене разгромленной спальни пана Николаса над беспорядочной грудой ковров и разнесенной в щепки кровати красного дерева.

Заметив, что слуга пытается ускользнуть с лакированной шкатулкой, они ее отняли, а упиравшегося слугу выбросили из окна столовой. Дом был одноэтажный, но с высоким цоколем, и удар оказалось столь сильным, что слуга остался лежать обездвиженный до самых сумерек, когда повар и конюх осмелились выйти из своих укрытий и забрать его. К тому времени мужички уже ушли и унесли шкатулку, полную бумажных денег. Так они решили. Выйдя в чисто поле и вскрыв ее, они обнаружили документы на гербовой бумаге, орден Почетного легиона и Крест Храбрых. Увидав кресты, в которых кузнец признал награды, что только царь один дарует, они страшно испугались содеянного и, покидав все в канаву, бросились врассыпную.

Именно эта утрата окончательно сломила пана Николаса. Разграбление дома, казалось, не произвело на него такого впечатления. Оба креста нашлись и были возвращены, пока дядюшка лежал, оправляясь от потрясения. Это способствовало его затянувшемуся было выздоровлению, но шкатулку и бумаги, сколько ни искали их по канавам, вернуть так и не удалось. Он не мог смириться с потерей наградного листа на орден Почетного легиона, в котором излагались его заслуги. Этот текст он помнил до последней запятой и после постигшего его удара, бывало, даже декламировал его со слезами на глазах. В последние два года жизни эти строчки преследовали его неотступно, и даже в одиночестве он повторял их снова и снова.

В подтверждение этому старый слуга не раз говорил ближайшим друзьям: «Больно слышать, как ночами хозяин вышагивает по спальне и молится на французском языке».

Примерно за год до этих событий я в последний раз видел пана Николаса, вернее он видел меня. Как я уже говорил, моя мать приехала тогда на три месяца из ссылки и проводила отпуск в доме брата, а друзья и родственники приезжали отовсюду, чтобы выказать ей уважение. Невозможно представить, чтобы пан Николас манкировал подобным визитом. Девчушка всего нескольких месяцев от роду, которую он держал на руках в день своего возвращения домой после стольких лет войны и изгнания, теперь сама расплачивалась за веру в спасение родины тяготами ссылки. Присутствовал ли он в день нашего отъезда, мне не ведомо.

Я уже признавался, что для меня он был прежде всего человеком, который в юности съел зажаренную собаку в глуши заснеженного соснового леса. Мне трудно отыскать его в своих воспоминаниях. Нос крючком, редкие седые волосы, несвязный ускользающий образ — худой, сухопарый, прямой, застегнутый по-военному на все пуговицы — это все, что теперь осталось на земле от пана Николаса; лишь эта смутная исчезающая тень в памяти его внучатого племянника, который, надо полагать, только и остался в живых из всех, кого немногословный пан Николас повстречал на своем пути.

Но я хорошо помню день нашего отъезда обратно в ссылку. Причудливый ветхий тарантас, запряженный четверкой почтовых лошадей, стоит перед широким фасадом дома с восемью колоннами, по четыре с каждой стороны просторной лестницы. На ступеньках слуги, несколько родственников, пара ближайших соседей — в полной тишине; на лицах выражение холодной сосредоточенности; моя бабушка, вся в черном, с застывшим непоколебимым взглядом; мой дядя, под руку ведущий мать до кареты, куда меня уже усадили; наверху лестницы моя кузина в короткой юбочке из красной шотландки, как маленькая принцесса в сопровождении фрейлин; старшая воспитательница, наша милая тучная Франческа, тридцать лет служившая семейству Б.; бывшая кормилица, которая теперь присматривала

за детьми на прогулке — красивое, полное сочувствия крестьянское лицо; и добрая дурнушка мадемуазель Дюран, гувернантка, на чьем лице цвета оберточной бумаги черные брови сходились над коротким, толстым носом. Среди всех глаз, устремленных на карету, только ее добрые глаза роняли слезы, и только ее всхлипывающий голос, обращенный ко мне, нарушил молчание: «N'oublie pas ton français, mon chéri»[•]. За три месяца, просто играя с нами, она научила меня не только говорить по-французски, но и читать. С ней было по-настоящему интересно играть. Вдали, на полпути от главных ворот, стояла легкая открытая повозка, запряженная по-русски тройкой лошадей. В ней, надвинув на глаза фуражку с красным околышем, сидел уездный исправник.

Ему карета-то понадобилось явиться лично и бдительно проследить за нашим отъездом. При всем нежелании показаться легкомысленным в отношении справедливых опасений империалистов всего мира, позволю себе заметить, что женщина с фактически смертельным диагнозом и мальчик неполных шести лет вряд ли представляли серьезную угрозу — даже для крупнейшей из мыслимых империй, взвалившей на себя бремя самых священных обязанностей. Подозреваю, что и этот добрый малый так не считал.

Позднее я узнал, почему он присутствовал при нашем отъезде. Я не заметил особых перемен, но месяцем ранее мама почувствовала себя настолько нехорошо, что встал вопрос, сможет ли она отправиться вовремя. В ситуации подобной неопределенности киевскому генерал-губернатору было подано прошение о двухнедельном продлении срока ее пребывания в доме брата. Сия мольба не получила совершенно никакого отклика, но как-то под вечер к дому подъехал уездный исправник и заявил выбежавшему навстречу дворецкому, что ему нужно лично переговорить с хозяином. Сию же минуту. Слуга сильно разволновался, решив, что это арест, и «ни жив ни мертв» от испуга, как сам он сказывал впоследствии, тайком, на цыпочках — дабы не привлечь внимания дам — провел капитана

• Не забывай французский, мой милый (франц.).

через темную гостиную (в которой свечи зажигали не каждый вечер) и дальше через оранжерею в покои дяди.

Без всяких предисловий полицейский сунул дяде документ.

«Вот. Умоляю, прочтите. Я не имею права показывать вам эти бумаги. Я не должен этого делать. Но я не могу ни есть, ни спать, пока это надо мной висит».

Уездный исправник, сам великоросс, много лет прослужил в наших краях.

Мой дядя развернул и прочел документ. Это был приказ, выданный генералом-губернатором в ответ на ходатайство. Он предписывал исправнику никаких увещеваний и объяснений по поводу болезни, будь то со стороны врачей или кого бы то ни было, не принимать, «а если она не покинет дом брата» — говорилось далее, — «утром дня, указанного в ее разрешении, вам следует препроводить ее под конвоем непосредственно [подчеркнуто] в киевскую тюремную больницу, где и будут приняты надлежащие меры».

«Ради Бога, господин Б., проследите, чтобы ваша сестра уехала ровно в этот день. Не вынуждайте меня поступать так с женщиной, да еще и с членом вашей семьи. Думать об этом невыносимо».

Он буквально заламывал руки. Мой дядя молча смотрел на него.

«Спасибо, что предупредили. Даю вам слово, моя сестра уедет, даже если будет при смерти и ее придется нести до кареты».

«И то верно — разница-то существенная — в Киев ехать или обратно к мужу. Ехать все равно придется — живой или мертвой. И учтите, пан Б., в назначенный день я тоже явлюсь: не потому, что сомневаюсь в вашем слове, а потому, что обязан. Придется. Служба. Как бы там ни было, работенка у меня — врагу не пожелаешь, ведь бунтари среди вас, поляков, всегда найдутся, а страдать придется вам всем».

Потому-то он и сидел там — в открытой двуколке, запряженной тройкой лошадей, между домом и главными воротами. Я сожалею, что не могу сообщить имени этого непозволительно

чувствительного стража великой Империи, дабы устыдить тех, кто верит, что победитель всегда прав. А вот имя генерал-губернатора, собственноручно приписавшего на полях приказа «немедленно привести в исполнение», я готов назвать. Фамилия этого господина Безак. Лицо высокопоставленное, деятельный чиновник, кумир русской патриотической прессы того времени.

У каждого поколения свои воспоминания.

IV

Не стоит думать, что, описывая воспоминания, которым я предавался полчаса, пока не встретился с дядей за ужином, я совсем позабыл о «Причуде Олмейера». Упомянув, что за первый роман я принялся на берегу, дождавшись отпуска, я, вероятно, создал впечатление, что книга писалась урывками. Однако я не забывал о ней ни на минуту, даже когда надежда завершить ее была совсем призрачной. Многие становилось поперек дороги: повседневные хлопоты, свежие впечатления, давние воспоминания. Мною двигала не пресловутая жажда самовыражения, что побуждает художника к работе. То была другая, скрытая и непонятная необходимость, совершенно неясной и неуловимой природы. Быть может, какой-нибудь легкомысленный маг (должны же быть в Лондоне маги) от нечего делать околдовал меня, увидев из окна, как я блуждаю по лабиринту улиц без компаса и карты. Прежде я писал только письма, и то редко. Я в жизни не вел заметок, не записывал ни историй, ни впечатлений. Когда я сел за роман, у меня не было четкого замысла, да и всякое представление о том, как пишутся книги, было за пределами моего разумения. В грезах, что посещают всякого в минуты мечтательного оцепенения, среди сладостных картин, которые мы с таким упоением рисуем в своем воображении, я никогда не видел себя писателем. Однако, и сейчас это ясно как божий день, в ту минуту, как я дописал первую страницу рукописи «Причуды Олмейера» (на ней поместилось порядка двухсот слов, и такое соотношение сохраняется до сих пор — все пятнадцать лет, что я пишу), в ту минуту, как я по простоте

душевной и поразительному невежеству написал первую страницу, жребий был брошен. Никогда еще Рубикон не переходили столь безрассудно — не взывая к богам и не страшась людей.

В то утро я позавтракал, встал из-за стола и принялся неистово звонить в колокольчик или, вернее будет сказать, — решительно, а может, даже — нетерпеливо — не знаю. Ясно одно — то был особый звон, из будничного он вдруг стал волнующим, словно последний звонок в театре перед тем, как занавес поднимется над новой мизансценой. Так трезвонить мне было не свойственно. Как правило, я неторопливо завтракал и редко удосуживался позвонить в колокольчик, чтобы убрать со стола, но в то утро, по причине, скрытой под сенью общей таинственности происходящего, я не медлил. Но и не торопился. Я как ни в чем не бывало потянул за шнурок и, пока где-то внизу еще позвякивало, привычным движением набил трубку и принялся искать спичечный коробок, окидывая комнату взглядом блуждающим, но, готов поклясться, не таящим следов священного безумия. Я был достаточно вменяем, чтобы после продолжительных поисков все-таки обнаружить спичечный коробок на каминной полке прямо у себя перед носом. Все вокруг было прекрасно и шло своим чередом. Не успел я потушить спичку, как в дверях показалось невозмутимое бледное лицо хозяйской дочери. Она вопросительно посмотрела на меня. Последнее время на мои звонки приходила именно хозяйская дочь. Я упоминаю об этом обстоятельстве с гордостью, поскольку оно подтверждает, что за тридцать или сорок дней моего пребывания в пансионе я произвел благоприятное впечатление. Последние две недели мне не приходилось лицеизреть малопривлекательную домашнюю прислугу. Девушки в этом доме в Бессборо Гарденс менялись часто, но все они — высокие или маленькие, блондинки или брюнетки — всегда были неопрятны и чрезвычайно задрипанны, как персонажи самой мрачной сказки, где помойную кошку превращают в служанку. Теперь мне прислуживала хозяйская дочь, и то, что я удостоился такой чести, мне чрезвычайно льстило. Она была опрятной, хоть и худосочной.

«Не могли бы вы поскорее убрать со стола?» — выпалил я, одновременно пытаюсь раскурить трубку. Должен признать, это была необычная просьба. После завтрака я, как правило, садился с книгой у окна, а убирали они, когда заблагорассудится. Однако если вы думаете, что в то утро я испытывал хоть малейшее нетерпение, вы ошибаетесь. Помню как сейчас — я был совершенно спокоен. На самом деле я совсем не был уверен в своем желании что-то написать, я ничего такого не намечал и даже не знал толком, есть ли мне о чем писать-то. Нет, ни малейшего нетерпения я не испытывал. Я сидел, развалившись между камином и окном, и мысль о том, когда же стол, наконец, освободится, меня совершенно не беспокоила. Вероятность того, что прежде, чем хозяйская дочь закончит прибираться, я возьму книгу и в приятной лени просижу с ней все утро, была десять к одному. Заявляю это с уверенностью, впрочем, что за книги лежали у меня в комнате, я уже и не припомню. В любом случае это не были произведения великих мастеров, в которых ясность мысли сочетается с точностью выражения. С пяти лет я читал запоем, что, наверное, неудивительно для ребенка, который даже не помнил, когда научился читать. К десяти годам я прочел почти всего Виктора Гюго и прочих романтиков. Я читал по-польски и по-французски — книги по истории, путешествия, романы. С «Жилем Бласом» и «Дон Кихотом» я ознакомился в сокращенном издании; в раннем отрочестве я одолел польских и некоторых французских поэтов, но что я читал вечером накануне начала своей писательской жизни, я сказать не могу. Полагаю, это был роман, и вполне вероятно, один из романов Энтони Троллопа. Да, весьма вероятно. Я познакомился с ним совсем недавно. Он стал одним из первых английских писателей, кого я прочел сразу в оригинале. Более известных в Европе авторов — Диккенса, Вальтера Скотта и Теккерея — я до этого читал в переводе. Мое знакомство с английской художественной литературой началось с «Николаса Никльби». Удивительно, как хорошо миссис Никльби стрекотала по-польски, а злобный Ральф гневался. Что касается семьи Краммлсов и ученых Сквирсов, казалось, что на польском они говорили с рождения. Перевод, несомненно, был превосходным. Это было

году в 1870-м. Впрочем, я, скорее всего, ошибаюсь. Не с этой книги началось мое знакомство с английской литературой. Моей первой английской книгой были «Два веронца», еще в рукописном переводе моего отца. То было в пору нашей российской ссылки; не прошло, наверное, и года после смерти моей матери, потому что я помню себя в траурной черной блузе с белой каймой. Мы жили с отцом в уединении, в маленьком домике на окраине города Т. В тот день вместо того, чтобы идти играть во двор, который мы делили с владельцем дома, я задержался в комнате, служившей отцу кабинетом. Не знаю, что сподвигло меня забраться в его кресло, но пару часов спустя отец застал меня склонившимся над кипой страниц: подперев голову руками и встав коленями на кресло, я читал. Я был крайне смущен и ждал взбучки. Но отец, стоя в дверях, лишь с некоторым удивлением посмотрел на меня и после небольшой паузы произнес: «Читай вслух».

К счастью, лежавшая передо мной страница не была исчеркана правками, а без них почерк у отца был предельно разборчив. Когда я дочитал, он кивнул, и я бросился во двор, радуясь, что удалось избежать выговора за столь дерзновенный порыв. С тех пор я все пытаюсь отыскать причину такой снисходительности и полагаю, что в представлении отца я, сам того не зная, заслужил некоторую свободу в отношении его письменного стола. Не прошло и месяца, а может, и недели, как я прочел отцу всю корректуру его перевода «Тружеников моря» Виктора Гюго. Отец остался доволен. Это, вероятно, был мой первый шаг на пути к признанию, а также первое знакомство с темой моря в литературе.

Если я и не помню, когда и при каких обстоятельствах научился читать, то забыть, как меня учили искусству декламации, я смогу едва ли. Сам великолепный чтец, папа был чрезвычайно требовательным наставником. Не без гордости могу заключить, что ту страницу из «Двух веронцев» я, видимо, прочел довольно сносно, хотя мне и было всего восемь лет. В следующий раз я встретил тех «Веронцев» в пятипенсовом однотомике драматических произведений Уильяма Шекспира. Я читал его отрывками в Фалмуте под шумный аккомпанемент

колотушек, которыми конопатчики в сухом доке загоняли пеньку в палубные швы. Судно дало течь и еле дошло до порта, а команда после месяца изнурительной борьбы со штормами в Северной Атлантике отказывалась выходить на вахту. Книги неразрывно связаны с нашей жизнью, и Шекспир у меня ассоциируется с первым годом семейного траура, последним годом, который я провел вместе с отцом в изгнании — он отправил меня к дяде в Польшу, как только смог собраться с духом и отпустить меня, — а еще с годом тяжелых штормов, годом, когда я едва не погиб в море: сперва от воды, потом от огня.

Это все я помню, а вот что я читал накануне первого дня моей писательской жизни, забыл. Я лишь смутно догадываюсь, что это мог быть один из политических романов Троллопа. И еще я помню, каким был тот день. То был осенний день с перламутровым полупрозрачным воздухом, просвечивающий через вуаль тумана пятнами солнечного света и красными отблесками с окон и крыш. Деревья же на площади, совершенно нагие, были будто нарисованы тушью на листе папиросной бумаги. Это был один из тех лондонских дней, что полны таинственного очарования и пленительной мягкости. Из-за близости реки Бессборо Гарденс часто можно было наблюдать этот эффект перламутровой дымки.

Но почему я запомнил его именно в тот день? Потому разве только, что я долго стоял, глядя в окно, когда хозяйская дочь уже унесла поднос грязных чашек и блюдец. Я слышал, как она поставила его в коридоре и закрыла, наконец, дверь; а я все курил и не оборачивался. Совершенно очевидно, что я ничуть не торопился решительно шагнуть навстречу писательству, если вообще эту первую попытку можно назвать решительным шагом. Все мое существо было глубоко погружено в праздность моряка на берегу, вдали от нескончаемых трудов и непрекращающейся вахты. В умении полностью отдаться праздности никто не сможет соперничать с моряком на суше, когда на него находит состояние абсолютной, испитой до дна безответственности. Тогда я вообще ни о чем не думал, впрочем, спустя столько лет это воспоминание вполне может оказаться ложным. Одно я помню наверняка: у меня и в мыслях

не было писать книгу, но возможно и даже весьма вероятно, что я размышлял о ее герое.

Впервые я увидел Олмейера года за четыре до этого, с мостика парохода, пришвартованного к шаткому причалу примерно в сорока милях вверх по течению одной из рек на Борнео. Рассвет едва забрезжил, и в воздухе стояла легкая пелена — перламутровая дымка, такая же как в Бессборо Гарденс, — только без огненных всполохов на крышах и печных трубах от красного лондонского солнца, — которая обещала перерасти в густой туман. В пределах видимости вся река замерла, двигалась только маленькая долбленая лодка. Я вышел, позевывая, из каюты. Серанг[•] и его матросы перебирали грузовые цепи и проверяли лебедки на нижней палубе; их голоса звучали приглушенно, движения казались заторможенными. Тропический рассвет выдался зябким. Старшина малаец, который поднялся на мостик взять что-то из рундука, поживался от холода. Джунгли вверх и вниз по течению, как и на том берегу, почернели от сырости; с оснастки туго натянутого палубного тента сочилась влага. И вот тогда, судорожно зевая, я заметил Олмейера. Он шел по выжженной траве, размытая фигура на фоне размытого пятна дома — невысокой хижины из бамбука, циновок и пальмовых листьев под крутой соломенной крышей.

Он ступил на пристань. Одет он был только в шаровары с набивным узором из крупных желтых цветов на ядовитом синем фоне и тонкую хлопковую рубашку с коротким рукавом. Олмейер скрестил на груди голые по локоть руки. Он очевидно давно не стригся, черная волнистая прядь спадала на лоб. Я слышал о нем в Сингапуре; я слышал о нем на корабле; я слышал о нем ранним утром и поздней ночью; за завтраком и за ужином; я слышал о нем в местечке Пуло-Лаут от одного метиса, который представлялся начальником угольной шахты и производил впечатление человека вполне цивилизованного и даже прогрессивного, пока не начинал рассказывать, что работы в шахте временно прекращены, поскольку там поселились жутко свирепые духи. Я слышал о нем на острове

• Капитан из туземцев Малайского архипелага.

Сулавеси, в малоизвестном порту Донгола (где встать на якорь можно не ближе чем в пятнадцать морских саженях, что, разумеется, очень неудобно), когда местный раджа явился на борт с дружеским визитом в сопровождении всего лишь двух слуг и, осушая на закате одну за другой бутылки содовой, вел светскую беседу с моим хорошим другом и командиром — капитаном К. Я точно слышал, как в оживленном разговоре на малайском его имя было отчетливо произнесено несколько раз. О да, я слышал весьма отчетливо — Олмейер, Олмейер — и видел, как капитан К. улыбается, а толстый, засаленный раджа громко смеется. Поверьте, мало кому выпадает случай увидеть, как хохочет малайский раджа. Еще я краем уха слышал имя Олмейера среди наших пассажиров — в основном странствующих торговцев с хорошей репутацией. Отгородившись узлами и коробками, они заняли все палубы и, сидя на ковриках, подушках, лоскутных одеялах и деревянных чурбаках, беседовали об островных делах. Ей-богу, и в полуночной мгле имя Олмейера доносилось до меня, когда, спустившись с мостика, я шел на корму, чтобы проверить, как лаг отстукивает свои четверть мили в великой тишине моря. Едва ли наши пассажиры говорили об Олмейере во сне, но его точно упоминали по крайней мере те двое, что не могли сомкнуть глаз и пытались заговорить бессонницу, перешептываясь в тот призрачный час. Совсем позабыть об Олмейере на борту этого судна не представлялось никакой возможности; даже крошечный пони, что был привязан к носу, но размахивал хвостом уже на камбузе к великому смущению нашего повара-китайца, и тот предназначался Олмейеру. Зачем ему понадобился пони, одному богу известно, поскольку ездить на нем он точно не мог. И тем не менее этот амбициозный, нацеленный на великие свершения человек выписывает себе пони, хотя во всем поселении, которому он ежедневно грозил, потрясая от бессилия кулаками, была только одна дорожка, по которой мог пройти пони: четверть мили, окруженные сотнями квадратных лиг девственного леса. Но кто знает? Приобретение этого балинезийского пони, возможно, было частью какого-нибудь далеко идущего плана, некоего дипломатического расчета, какой-то

тактической игры. С Олмейером никогда нельзя было знать наверняка. Он руководствовался соображениями столь неочевидными, а прожекты вынашивал столь невероятные, что для любого разумного человека его логика оставалась непостижимой. Все это я узнал позже. В то утро, увидев фигуру в шароварах, движущуюся в тумане, я сказал себе: «Это он!»

Он подошел к кораблю совсем близко и поднял свое изможденное лицо — круглое и плоское. Длинная прядь черных волос падала на глаза, прикрывая тяжелый болезненный взгляд.

«Доброе утро».

«Доброе утро».

Он пристально смотрел на меня: я был новым человеком и только недавно сменил знакомого ему помощника капитана. Мне кажется, что эта перемена, как и всякое новшество, пробуждало в нем глубоко укоренившееся недоверие.

«Я вас ждал дай бог к вечеру», — бросил он с подозрением.

Я не знал, с чего бы ему огорчаться, но он был явно недоволен. Я со всей обстоятельностью рассказал ему, как капитан К., еще до темноты направив корабль на свет установленного в устье маяка, воспользовался приливом и вскоре вошел в реку, где уже ничто не мешало ему за ночь подняться вверх по течению.

«Капитан К. знает реку как свои пять пальцев», — подытожил я, стараясь навести мосты.

«Даже лучше», — ответил Олмейер.

Облокотившись на перила мостика, я смотрел на Олмейера, который угрюмо уставился под ноги. Он потоптался немного, обут он был в плетеные сандалии на толстой подошве. Утренний туман усилился. Отовсюду капало — с подъемных кранов, перил, корабельных канатов, — как будто весь мир вдруг расплакался.

Олмейер снова поднял голову и тоном человека, привыкшего к ударам злой судьбы, едва слышно произнес:

«Полагаю, ничего похожего на пони вы не привезли».

Настроившись на его минорный лад, я ответил почти шепотом, что нечто весьма напоминающее пони мы таки привезли, и как можно более мягко намекнул, что от этого «ничто»

на судне ни пройти ни проехать. Мне непременно хотелось высадить пони на берег до начала разгрузки. Олмейер еще долго смотрел на меня грустным недоверчивым взглядом, будто не решаясь принять мое объяснение. Такое обреченное сомнение в благоприятном исходе любого предприятия глубоко тронуло меня, и я добавил:

«Это был не худший пассажир. Очень милый пони».

Олмейера это не воодушевило, вместо ответа он откашлялся и снова усталился себе под ноги. Тогда я попытался зайти с другой стороны.

«Ей-богу! — воскликнул я. — Вы не боитесь подхватить пневмонию или бронхит или еще что в одной-то рубашке в такой сырой туман?»

Но даже внимание к его здоровью не смогло расположить ко мне Олмейера.

«Не боюсь», — буркнул он, как бы подчеркивая, что даже этот путь избавления от жестокой судьбы ему заказан.

«Я только вышел...» — помолчав, пробормотал он.

«Что ж, раз уж вы здесь, я спущу вам пони, и вы отведете его домой. Не хочу держать его на палубе. Он там мешается».

Олмейер колебался. Я настаивал:

«А что такого? Подхватим его и высадим на причал прямо перед вами. Лучше сделать это до того, как откроют трюмы. А то этот чертенок прыгнет в люк или еще как-нибудь убьется».

«Он в узде?» — подвел черту Олмейер.

«Да, конечно». И без дальнейших разговоров я перегнулся через перила мостика и крикнул: «Серанг, спустить пони для Туана Олмейера!»

Повар поспешно захлопнул дверь в камбуз, и спустя мгновение на палубе завязалась грандиозная схватка. Пони брыкалась с необыкновенной силой, калаши отскакивали в стороны, серанг надсадно выкрикивал указания. Внезапно пони вскочил на носовой люк. Его маленькие копытца страшно грохотали, он то бросался вперед, то вставал на дыбы. Необузданная его грива изумительно вздымалась, ноздри раздувались, брызги пены покрыли широкую грудку, глаза сверкали. В холке он был не выше одиннадцати ладоней. Но это был яростный, грозный, злощипый,

и воинственный пони. Ха! ха! — отчетливо произнес он и продолжил буйствовать и колотить копытами, пока шестнадцать крепких калашей стояли словно растерянные няньки вокруг избалованного непослушного ребенка. Он непрестанно взмахивал хвостом и выгибал прекрасную шею. Он был совершенно восхитителен, он был очаровательно капризен. В этом представлении не было и тени злонамеренности. Ни звериного оскала, ни прижатых ушей. Напротив, он наострил их воинственно и вместе с тем комично. Полнейшая разнузданность и море обаяния. Мне хотелось дать ему хлеба, сахара, моркови. Но жизнь суровая штука, и чувство долга — единственный надежный ориентир. Поэтому скрепя сердце я с высоты своего положения на мостике приказал калашам навалиться на него всем скопом.

Серанг исторгнул странный нечленораздельный вопль и первым ринулся в бой. Этот бывалый моряк дело свое знал отменно, да и опиумом увлекался не слишком. За ним и остальные навалились на пони гуртом и, уцепившись кто за уши, кто за гриву, кто за хвост, придавили его своим весом — все семнадцать человек. А поверх этой кучи-малы с крюком грузовой цепи бросился судовой плотник. Он тоже был весьма достойным моряком, но заикался. Доводилось ли вам видеть, как грустный щуплый китаец с серьезным видом заикается на ломаном английском? Поверьте, зрелище весьма своеобразное. Он стал семнадцатым. Пони под ними было уже не видно, но по тому, как вздымалась и раскачивалась человеческая масса, было ясно, что внутри что-то живое.

Олмейер с пристани запричитал дрожащим голосом:

«Ну, знаете ли!»

Оттуда, где он стоял, происходящего на палубе было не разглядеть — разве что макушки матросов. До него доносились звуки потасовки и глухие удары, как будто корабль разносят в щепки. Я повернулся к нему и спросил: «А в чем дело?»

«Не дайте переломать ему ноги», — обреченно взмолился Олмейер.

«Да бросьте вы! Пони в полном порядке. Не шелохнется».

К этому моменту грузовую цепь уже прицепили к широкой холстине, опоясывающей пони; калаша одновременно

отпрыгнули в разные стороны, повалившись друг на друга; и достопочтенный серанг устремился к лебедке, чтобы запустить машину.

«Готовсь!» — крикнул я, с большим волнением ожидая, как животное взметнется к самой вершине подъемной стрелы.

На пристани Олмейер беспокоило шаркал соломенными сандалиями. Лебедка перестала трещать, и в напряженной выразительной тишине пони стал раскачиваться над палубой. Как же он обмяк! Едва почувствовав себя в воздухе, он невероятным образом расслабил каждый свой мускул. Все четыре копыта сбились в кучу, голова поникла, а хвост бессильно повис плетью. Он живо напомнил мне жалкую овечку, что свисает с цепочки ордена Золотого руна. Я и представить себе не мог, что нечто наподобие лошади могло так обмякнуть — будь оно живым или мертвым. Непослушная грива сбилась в комья и спадала безжизненной массой конского волоса, воинственные уши поникли. Но когда он, медленно раскачиваясь, приблизился к капитанскому мостику, я заметил коварный блеск в его затуманенных полуприкрытых глазах. Благонадежный старшина, широко скалясь и с волнением поглядывая наверх, принялся осторожно травить лебедку. Я командовал, поглощенный процессом:

«Так! Достаточно!»

Стрела крана остановилась. Калаши выстроились вдоль борта. Повод уздечки свисал прямо и неподвижно, словно шнур колокола, перед Олмейером. Все замерло. Я по-приятельски предложил ему осторожно ухватиться за повод. С самоуверенным видом он нарочито небрежно вытянул руку.

«Ну, глядите в оба! Майна!»

Олмейер довольно ловко схватился за повод, но как только копыта пони коснулись пристани, тут же поддался самому безрассудному оптимизму. Без промедления, не подумав и почти не глядя, он вдруг вынул крюк из стропы, и грузовая цепь, ударив по крупу, качнулась назад и с грохотом врезалась в борт корабля. Я, наверно, моргнул. Во всяком случае, я точно что-то пропустил, потому что в следующую секунду Олмейер уже лежал на причале. Один.

От потрясения я лишился дара речи, тем временем Олмейер неторопливо и мучительно поднялся. Вытянувшиеся вдоль борта калаша разинули рты. Легкий бриз принес туман, и вскорее он стал таким плотным, что полностью скрыл берег из виду.

«И как вы только умудрились его упустить?» — с негодованием спросил я.

Олмейер уставился на ободранную правую ладонь, но на мой вопрос не ответил.

«И куда, по-вашему, он поскакал? — прокричал я. — Есть тут у вас какие-нибудь изгороди? Ни черта ж не видно! А что если он удерет в джунгли? Что теперь прикажете делать?»

Олмейер пожал плечами.

«Кто-то из моих людей точно где-нибудь неподалеку. Рано или поздно они его поймают».

«Рано или поздно! Это все, конечно, замечательно, но как быть с моей брезентовой стропой? Он ее утащил. А мне она нужна немедленно — сгрузить двух сулавесских буйволиц».

Вдобавок к пони из Донголы мы везли пару некрупных островных коров. Они были привязаны по левому борту носовой палубы и били хвостами в другую дверь камбуза. Но коровы эти предназначались не Олмейеру, их выписал его враг — Абдулла бен Селим. Олмейер полностью проигнорировал мои вопросы.

«На вашем месте я бы попытался выяснить, куда он убежал, — не унимался я. — Может, людей хотя бы своих соберете, что ли? Он же провалится куда-нибудь и колени поранит. А то и ногу может сломать».

Но пони, судя по всему, Олмейера уже не интересовал, он полностью погрузился в свои мысли. Потрясенный таким внезапным безразличием, я на свой страх и риск отправил всю команду на берег, чтобы поймать пони или по крайней мере найти брезентовую стропу, которая на нем болталась. Весь экипаж, кроме кочегаров и механиков, помчался по пристани мимо задумчивого Олмейера и скрылся из виду. Белый туман поглотил их, и вновь наступила глубокая тишина, которая, казалось, простиралась на мили вдоль по реке. Сохраняя молчание, Олмейер стал подниматься на борт, я спустился с мостика, чтобы встретить его на кормовой палубе.

«Не могли бы вы сообщить капитану, что мне чрезвычайно важно с ним встретиться?» — спросил он меня вполголоса, его взгляд рассеянно блуждал по сторонам.

«Хорошо. Пойду узнаю».

Капитан К. стоял в каюте широкой спиной к распахнутой двери. Он только что вышел из ванны и расчесывал густые с проседью волосы двумя большими щетками.

«Мистер Олмейер сказал, что ему чрезвычайно важно с вами встретиться».

Говоря это, я улыбнулся. Почему — не знаю, наверное, потому что было совершенно невозможно говорить об Олмейере без улыбки. И не обязательно радостной. Повернувшись ко мне, капитан К. тоже невесело улыбнулся.

«Пони удрал от него, да?»

«Да, сэр. Удрал».

«И где он?»

«Бог его знает».

«Нет, я про Олмейера. Пригласите его».

Каюта капитана открывалась прямо на палубу под мостиком, и мне нужно было только окликнуть Олмейера, который, опустив глаза, стоял на корме, на том самом месте, где я его оставил. Он мрачно вошел в каюту, пожал капитану руку и сразу же попросил разрешения закрыть дверь.

«Хочу вам кое-что рассказать», — вот последнее, что я услышал.

В голосе его звучала удивительная горечь.

От двери я, естественно, отошел. На борту никого из команды не было, только китайский плотник с холщовой сумкой на шее и с молотком в руке бродил по пустым палубам, выколачивал клинышки из затворов люков и добросовестно складывал их в сумку. От нечего делать я подошел к двум механикам, стоявшим у дверей машинного отделения. Близилось время завтрака.

«Рановато он сегодня, правда?» — заметил второй механик с безразличной улыбкой. Человек он был непьющий, проблем с пищеварением не имел и сохранял спокойный, здравый взгляд на жизнь, даже когда был голоден.

«Да, — ответил я, — уже заперся со стариком. Дело чрезвычайной важности».

«Сейчас начнет ему заливать», — высказался старший механик и довольно кисло улыбнулся. Он страдал изжогой и по утрам страшно мучился голодом.

Второй механик широко улыбнулся, и от этой улыбки на его гладковыбритых щеках образовались две вертикальные складки. Я тоже улыбнулся, хотя мне было совсем не весело. И хотя упоминание этого имени вызывало улыбку в любой точке Малайского архипелага, в самом Олмейере ничего забавного не было. В то утро он завтракал с нами молча и смотрел в основном в собственную чашку. Я сообщил ему, что мои люди наткнулись на пони, который скакал в тумане по самому краю глубокой ямы, где хранили смолу гуттаперчевого дерева. Яма была ничем не покрыта, никого поблизости не было, и вся моя команда едва не полетела кубарем в эту чертову дыру. Нашего лучшего старшину и рукодельника Джурумуди Итама, который чинил корабельные флаги и пришивал нам пуговицы к бوشлатам, пони вывел из строя ударом в плечо.

Но чувство вины и благодарность были чужды характеру Олмейера.

Он пробормотал: «Вы про того пирата?»

«Какого еще пирата? Да он одиннадцать лет на судне», — вспылил я.

«Не знаю, похож», — пробубнил Олмейер вместо извинения.

Солнце растворило туман. Мы сидели под навесом, откуда был виден пони, привязанный к балясине веранды дома Олмейера. Долгое время мы не произносили ни слова. Внезапно сидевший напротив Олмейер с тревогой в голосе воскликнул:

«Я правда не знаю, что мне теперь делать!» — явно намекая на разговор в каюте капитана.

Тот лишь приподнял брови и встал с кресла. Мы разбрелись по своим делам, но Олмейер, полураздетый, как был — в шароварах с цветами и тонкой хлопковой рубашке, замешкался на борту и, стоя у трапа, как будто не мог решить — отправиться домой или же остаться навсегда с нами.

Матросы-китайцы, шастая мимо туда-сюда, косо поглядывали на него; Синг А — старший стюард, самый из них симпатичный и участливый, поймав мой взгляд, понимающе кивнул в сторону Олмейера. В какой-то момент я подошел к нему.

«Мистер Олмейер, — непринужденно обратился я, — да вы еще даже письма не вскрыли».

С самого завтрака он не выпускал из рук связку писем, которую мы ему доставили. При этих словах он взглянул на конверты, и на мгновение мне показалось, что сейчас он разожмет пальцы и вся пачка полетит за борт. Уверен, его так и подмывало это сделать. Никогда не забуду, как этот человек боялся своей почты.

«Вы давно из Европы?» — спросил он.

«Не очень. Меньше восьми месяцев. Я сошел с корабля в Семаранге из-за большой спины и несколько недель пролежал в сингапурском госпитале».

Он вздохнул.

«Торговля здесь из рук вон».

«И не говорите!»

«И лучше не будет!.. Видите этих гусей?»

Зажатой в руке пачкой писем Олмейер указал в сторону маленького сугроба, который продвигался вразвалку по дальнему краю его участка. Вскоре сугроб скрылся за кустом.

«Видите? Больше гусей на Восточном побережье нет», — сухо констатировал Олмейер без тени надежды или гордости. Затем, опять же без всякого воодушевления, он сообщил о намерении выбрать птицу пожирнее и отправить ее на борт не позднее следующего дня.

Я уже был наслышан о его широких жестах. Он жаловал гуся как королевский подарок, которого удостаиваются только верные друзья дома. Я было приготовился к пышной церемонии. Подарок был действительно необычный, щедрый и по-своему исключительный. Шутка ли, единственная стая на всем Восточном побережье! Однако Олмейер обошелся без всякой помпезности. Этот человек не умел воспользоваться ситуацией. Я тем не менее принял его благодарить.

«Видите ли, — резко прервал он меня изменившимся голосом, — хуже всего в этой стране — что никто не в состоянии

понять... невозможно понять... — Его голос упал до тихого бормотания. — И если у кого-то большие планы... далеко идущие планы... — закончил он еле слышно, — там, выше по реке».

Мы смотрели друг на друга, и тут он вздрогнул и состроил весьма странную гримасу.

«Ну ладно, мне пора, — выпалил он. — До встречи!»

Однако, шагнув на трап, Олмейер спохватился и пробурчал, что приглашает нас с капитаном вечером на ужин. Приглашение я принял. У меня просто не было выбора.

Люблю, когда почтенные мужи толкуют о свободе выбора, призывая не пренебрегать ею «по крайней мере в вопросах практических». Но где эта свобода? В практических вопросах?! Чушь! Как я мог отказаться от ужина с таким человеком? Я не отказался, потому что просто не мог отказаться. Любопытство, здоровое желание разнообразить рацион, банальная вежливость, разговоры и улыбки последних двадцати дней — каждая сторона моего существования здесь и сейчас взывала к тому, чтобы я принял это приглашение. Венцом всего было мое невежество — невежество, говорю я, и отсюда — неистребимая жажда знаний, без которых этот ребус остался бы неразгаданным. Отказаться было протiwоестественно, чистое безумие. Никто в здравом уме не отказался бы. Но если б я тогда не познакомился с Олмейером поближе, ручаюсь, с печатного станка не сошло бы ни единой моей строчки.

Я принял приглашение и до сих пор расплачиваюсь за свое здравомыслие. Владелец единственной стаи гусей на Восточном побережье заострил мое перо на четырнадцать книг, изданных с тех пор. Гусей, выращенных им в неблагоприятных климатических условиях, было гораздо больше четырнадцати, и можно с уверенностью сказать, что количество написанных мной томов никогда не превысит поголовья его гусей. Я, однако, к этому и не стремлюсь, и каких бы мучений ни стоил мне тяжкий писательский труд, всегда вспоминаю Олмейера с благодарностью. Интересно, как бы он отреагировал, узнай он о своей роли? В этой жизни ответа уже не получить.

Но если мы и повстречаемся с ним в райских кущах — не могу представить его там иначе как в сопровождении гусей

(стаяка священных птиц Юпитера следует на почтительном расстоянии) — и он обратится ко мне в тиши того безмятежного края, где нет ни света, ни тьмы, ни звуков, ни безмолвия, а лишь бесконечное марево неосязаемой массы роящихся душ, пожалуй, я знаю, что сказать ему в ответ.

Вежливо выслушав его осторожные протесты, монотонность которых, разумеется, даже мало-мальски не должна потревожить вечность в ее торжественном оцепенении, — я сказал бы ему примерно следующее:

«Все верно, Олмейер, в мире дольном я употребил твое имя в своих целях. Но ведь присвоил я совсем немного. Что в имени тебе, о Тень?! Если бранные страсти все еще одолевают тебя, угнетая дух твой (я как будто слышу нотки твоего земного голоса, Олмейер), тогда, умоляю, Тень, без промедления обратись к нашему прославленному собрату — тому, кто в мирском обличии поэта толковал о запахе розы — пусть он утешит тебя[•]. Ты явился мне лишенный всякого покрова уважения, нагой пред кривыми ухмылками и пренебрежением бродячих торговцев, что судачили о тебе по всему архипелагу. Твое имя было достоянием всех ветров, оно качалось на волнах близ экватора. Я прикрыл его наготу королевской мантией из тропиков и попытался вместить в этот пустой звук саму суть отцовских страданий. И хоть ты и не требовал от меня этих подвигов, помни, что и тяжкий труд, и вся боль пришлись на мою долю. Ты еще был жив, Олмейер, а твой призрак уже преследовал меня. Считай это своеволием. Но вспомни свои жалобы: ты всегда говорил, что потерян для мира, и если бы не моя вера в твое существование, позволявшая тебе являться ко мне в Бессборо Гарденс, ты был бы потерян безнадежно. Ты заявляешь, что будь я способен на более беспристрастный и незамутненный взгляд, я смог бы лучше рассмотреть скрытое величие роковых сил, которые сопровождали-де твой земной путь в той крошечной точке света, что едва различима далеко, далеко под нами, там, где остались наши могилы. Несомненно!

• Имеются в виду строчки Шекспира «Что в имени тебе» («Ромео и Джульетта»).

Но подумай, о жалобная Тень, возможно, это была не столько моя ошибка, сколько венец твоего невезения. Я верил в тебя как мог. Моя вера оказалась недостойна твоих добродетелей? Пусть будет так. Но ты всегда был неудачником, Олмейер. Ничто и никогда не считал ты достойным себя. И только твоя завидная последовательность и убежденность, с которой ты держался за эту претенциозную доктрину, сделала тебя в моих глазах таким живым и осязаемым».

Примерно такими словами, только в подобающих месте неизъяснимых выражениях, я готовлюсь умиротворить Олмейера в Обители Блаженных Теней, раз уж так вышло, что пути наши разошлись много лет назад и в этом мире нам уже не встретиться.

V

Для писателя, который никогда всерьез не помышлял о подобном поприще, чье воображение никогда не тревожили литературные амбиции, появление на свет первой книги с трудом поддается разумному объяснению. Лично я не могу связать это событие с каким-либо интеллектуальным или психологическим мотивом. Величайший мой дар — это виртуозная способность ничего не делать, но даже скука не стала для меня разумным поводом взяться за перо. Как бы то ни было, перо было при мне, и в этом нет ничего удивительного. У каждого из нас найдется дома перо — стальной клинок современности в наш просвещенный век однопенсовых марок и открыток по полпенса за штуку. Собственно, это была эпоха, когда почтовая карточка и перо в руках мистера Гладстона[•] создали репутацию не одному роману. И у меня тоже было перо, оно, правда, куда-то закатилось, поскольку моряк на берегу использует его редко и берет в руки с неохотой; перо, чернила на котором высохли от неосуществленных замыслов, так и не написанных вопреки всем приличиям ответов, писем, начатых с большим трудом и внезапно отложенных до завтрашнего дня, до следующей недели, а то и навсегда. Позабывтое, позаброшенное перо, оставляемое при первой же возможности, за которым под гнетом суровой необходимости начинаешь охотиться — без особого энтузиазма, ворча по привычке: «Куда, черт возьми, подевалась эта чертова штуковина?» — никакого уважения!

• Уильям Гладстон — английский государственный деятель и писатель, чьи рецензии гарантировали успех книги.

И куда, в самом деле! Может, оно уже день или два отдыхает где-нибудь за диваном. Анемичная дочь моей хозяйки (как описал бы ее Оллендорф[•]), соблюдая похвальную опрятность в отношении собственного внешнего вида, имела привычку подходить к своим обязанностям с барской небрежностью. А может, нежно придавленное ножкой стола оно валяется на полу и разевает свой поврежденный клюв. Человека с литературными наклонностями такое перо может и отпугнуть. Но только не меня! «Ну и ладно. Сгодится».

О, где те беспечные дни! Если бы мне сказали, что любящее семейство, чье представление о моих талантах и значимости и без того сильно преувеличено, придет в состояние волнения и трепета от суматохи, вызванной подозрением, что кто-то коснулся моего священного писательского пера, такую нелепицу я бы не удостоил даже презрительной ухмылки. Есть грезы слишком неправдоподобные, чтобы обращать на них внимание, слишком дикие, чтобы им предаваться, слишком абсурдные даже для улыбки. Возможно, будь этот провидец моим другом, я бы расстроился, но виду не подал. «Увы! — подумал бы я, невозмутимо глядя на него, — бедняга тронулся умом».

Вне всякого сомнения, я бы загрустил: в мире, где журналисты читают знаки небес, где даже божественный ветер дует не куда придется, а следуя пророческому руководству синоптиков, однако в тайны человеческих сердец по-прежнему не проникнуть ни мольбой, ни силой, — в этом мире скорее самый здравомыслящий из моих друзей станет вынашивать зародыш безумия, нежели я стану писателем и буду сочинять истории.

Увлекательнейшее занятие для часов досуга — с любопытством изучать перемены в собственном я. Эта область настолько обширная, с таким количеством сюрпризов, а предмет изучения столь полон бесполезных, но любопытных

• Грамматико-переводной метод обучения иностранному языку. Цель обучения сводилась к овладению системой языка и накоплению словарного запаса, используя нелепые фразы и сочетания слов: «Есть ли у вас одноглазая тетка, которая покупает у пекаря канареек и буйволов?», «Любит ли двухлетний сын садовника внучку своей маленькой дочери?», «Руки моей бабушки длиннее ног твоего дедушки». В начале XX века в России был издан учебник «Метод Оллендорфа».

намеков на влияние невидимых сил, что занятие это отнюдь не утомительное. Я не говорю сейчас о людях с манией величия, беспокойно несущих венец безмерного тщеславия, которые никогда не знают покоя в этом мире. И даже покинув его и оказавшись в стесненных условиях последнего пристанища, продолжают рвать и метать от злости там, где всем без исключения положено лежать спокойненько во мраке. И уж тем более я не имею ввиду те амбициозные умы, которые, постоянно преследуя очередную цель на пути к величию, не располагают и минутой, чтобы взглянуть на себя отстраненно и беспристрастно.

И очень напрасно. И те и другие несчастны. А с ними и вся братия совершенно лишенных воображения жалких созданий с опустошенным и невидящим взглядом, под которым, как выразился великий французский писатель, «вся вселенная превращается в пустоту». Все они не понимают главной задачи человека, чье пребывание на земле, в этом пристанище противоречивых суждений, столь коротко. Если смотреть на вселенную с точки зрения морали, мы все сильнее запутываемся в клубке противоречий столь жестоких и абсурдных, что остатки веры, надежды, милосердия и даже здравого смысла, кажется, вот-вот испарятся. Все это наводит меня на подозрение, что цель мироздания не имеет ничего общего с моралью. Я предпочел бы искренне верить, что задача вселенной — впечатлять. Это феерия, пробуждающая любовь, благоговение, обожание и даже, если хотите, ненависть, но только не отчаяние! В этом зрелище, и восхитительном и мучительном, и заключается своего рода мораль. Остальное — вопрос восприятия: смех и слезы, нежность и негодование, невозмутимость холодного сердца и равнодушное любопытство — все это мы! Возможно, если мы станем неустанно, самозабвенно присматриваться к каждой частице мироздания, отраженной в нашем сознании, — мы тем самым выполним свое истинное предназначение на этой земле. Для этого провидению нужен, наверное, только наш разум, наделенный голосом, чтобы мы могли свидетельствовать об увиденных чудесах, непреодолимых страхах, всепоглощающей страсти и безграничном

спокойствию, о высшем законе и о вечном таинстве величественного зрелища.

Chi lo sa? • Может, оно и так. Тогда в этом мире есть место для любой радости и печали, любой светлой мечты, всякой благородной надежды, любой религии, кроме извращенной веры безбожника, под маской которой скрывается лишь кислая мина. Главное, сохранить преданность тем чувствам, которые снизошли на нас с небес, где бесчисленные звезды и жуткие расстояния могут довести нас до смеха и до слез, как в стишке про Моржа и Плотника: «И горько плакали они, взирая на песок» ••. А для холодных сердцем все это может и вовсе не иметь значения.

Эта сама собой пришедшая на ум цитата из весьма достойного стихотворения наводит на мысль о том, что в мире, где вселенная — это сплошная феерия и спектакль и где любое вдохновение оправдано, для всякого художника предусмотрительно свое место. И среди них поэт, наверное, обладает самым широким видением. Даже прозаик, чей труд не столь благороден и более утомителен, заслуживает своего места, если смотрит на мир незамутненным взглядом и сдерживает смех, давая возможность тем, кто хочет, смеяться или плакать. Да! Даже рядовой мастер художественной прозы, которая в конечном счете есть не что иное, как голая правда, вытщенная из колодца и облаченная в красочное одеяние из вымышленных фраз, — даже у него есть место среди королей, народных трибунов, священников, шарлатанов, герцогов, жирафов, министров, фабианцев, каменщиков, апостолов, муравьев, ученых, гяуров, солдат, моряков, слонов, юристов, денди, микробов и созвездий Вселенной, в восхищенном созерцании которой и заключается мораль.

Тут, я полагаю, у читателя может вытянуться лицо (не хочу никого обидеть), как будто он обнаружил кота в мешке.

• Как знать? (итал.).

•• «И горько плакали они, взирая на песок: — Ах, если б кто-нибудь убрать весь этот мусор мог!» *Кэрролл Л.* Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь зеркало, и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / пер. и послесловие Н.М. Демуровой; стихи в переводах С.Я. Маршака и Д.Г. Орловской. София: Издательство литературы на иностранных языках, 1967.

Пользуясь правом писателя, я закончу мысль читателя восклицанием: «Все ясно! Этот малый говорит pro domo»[•].

Клянусь, у меня и в мыслях не было! Когда я взвалил на себя этот мешок, о коте я и не подозревал. Но, в конце концов, почему бы и не постоять за себя? Литературное поприще всегда окружено толпами челяди. И нет слуги преданнее, чем тот, кому дозволено сидеть на пороге. А те, кто проникли внутрь, склонны мнить о себе слишком много. Это утверждение, прошу заметить, не является грубым нарушением закона о клевете. Это все лишь беспристрастное замечание на общественно значимую тему. Но не обращайтесь внимания. Pro domo. Да будет так. Для своего поприща tant que vous voudrez^{••}. И все же, по правде говоря, я вовсе не стремлюсь оправдать свое существование. Попытаться найти оправдание было бы не только бессмысленно и нелепо — во вселенной, которая есть не более чем зрелище, такой тягостной необходимости просто не существует. Достаточно сказать (что я и пытаюсь сделать вот уже на протяжении нескольких страниц): «J'ai vécu»^{•••}. Я существовал, незаметный среди чудес и ужасов своего века, подобно изрекшему эти слова аббату Сийесу^{••••}, который смог пережить преступления и восторги кровавой Французской революции. J'ai vécu — все мы как-то выживаем, я полагаю, то и дело избегая всевозможных смертей, находясь от них на волосок. Так и мне, как видите, удалось сберечь свое тело, а возможно, и душу — и все же остались сколы на острие моего сознания — этого наследия веков, расы, народа, семьи; сознания гибкого и восприимчивого, сотканного из слов, взглядов, поступков и даже умалчиваний и запретов, знакомых каждому ребенку; сознания, окрашенного всей палитрой полутонов и примитивных красок унаследованных традиций, верований

• Pro domo sua — *лат.*, букв. «за свой дом»; по личному вопросу; в защиту себя и своих дел.

•• Ничего не жалко (*франц.*).

••• Я жил (*франц.*).

•••• Эммануэль-Жозеф Сийес — деятель Французской революции. Голосовал за казнь короля. В годы террора избегал активного участия в политике, благодаря чему избежал гильотины. Когда его спросили, что он делал во время террора, ответил: «Я жил».

и предрассудков — безотчетных, деспотичных, навязчивых и зачастую, по сути своей, идеалистических.

Чаще идеалистических!.. В любом случае моя задача в том, чтобы эти воспоминания не превратились в исповедь. Доверие к этому роду литературной деятельности подорвал еще Жан-Жак Руссо — с такой нечеловеческой тщательностью подошел он к работе над произведением, главная цель которого — оправдать его существование, и цель эта настолько очевидна, буквально осязаема, что беспристрастному читателю режет глаз. Но ведь он, видите ли, и не писатель. Он — безыскусный моралист, что ясно видно по тому, с каким чувством празднуют его юбилеи наследники Французской революции, которая была не политической коллизией, а колоссальным прорывом морализма. Он был обделен воображением, что понятно даже после беглого прочтения «Эмиля». Он не был писателем, чья главная добродетель — точное понимание пределов, которыми современная ему реальность ограничивает игру его воображения. Вдохновение исходит от земли с ее историей, с ее прошлым и будущим, бессмертные же небеса остаются безучастны. Сочинитель воображаемых историй даже больше, чем другие художники, раскрывает себя в своих произведениях. Из его представлений о том, что такое правда, из глубинного понимания сути вещей, верного или ошибочного, складывается его расхожий образ. В самом деле, любой, кто берется за перо, чтобы быть прочитанным незнакомыми людьми, только об этом и говорит, в отличие от моралиста, у которого по большому счету нет другой правды, кроме той, что он силится навязать другим. Не случайно Анатоль Франс, самый выразительный и правдивый из французских прозаиков, отметил, что писателям пора наконец-то признать: «Если у нас нет сил молчать, мы говорим только о себе».

Это замечание прозвучало, если я правильно помню, в ходе полемики с покойным Фердинандом Брюнетьером[•] о принципах и правилах литературной критики. Как

• Французский писатель, историк, теоретик литературы, критик. Воспитанник и приверженец французского классицизма, считал более современную литературу художественным упадком.

и подобаает человеку, которому мы обязаны памятным высказыванием: «Хороший критик повествует не столько о прочитанном, сколько о приключениях собственной души», Анатолий Франс утверждал, что в критике нет ни правил, ни законов. Пожалуй, с этим можно согласиться. Правила, принципы, каноны отмирают, исчезают каждый день. Возможно, к настоящему времени от них уже ничего не осталось. Мы переживаем дни отчаянной свободы и низвержения памятников, когда самые оригинальные умы озадачены тем, как будут выглядеть новые ориентиры, которые, будем надеяться, вскоре воздвигнут на развалинах прежних. Писателю же больше всего интересна сама природа этой внутренней уверенности, что литературная критика бессмертна, ибо человек, как бы по-разному его ни определяли, — это прежде всего животное критикующее. И куда выдающиеся умы готовы видеть в ней приключения собственной души, литературная критика будет по-прежнему увлекать нас со всем очарованием и мудростью складно рассказанной глубоко личной истории.

Для англичан, как ни для какого другого народа, любое дело, сопряженное с приключениями, приобретает романтическую окраску. Но критики, как правило, не выказывают особой тяги к приключениям. Они, конечно, рискуют: без этого не проживешь. Хлеб наш насущный — каким бы скудным ни был паек — дается нам со щепоткой соли. Иначе нам бы опстылел тот хлеб, о котором мы молим, что не только противоестественно, но и нечестиво. Упаси нас от всякого рода нечестивости! Образец сдержанной манеры поведения, которого придерживаются некоторые критики из чувства приличия, застенчивости или, быть может, из предусмотрительности, а то и просто от скуки, побуждает их, я подозреваю, скрывать приключенческую сторону своей деятельности. И тогда критика становится не более чем «справкой», как это бывает с описанием поездки по новой стране, где все сводится к расстояниям и геологии — но нет ни блеска глаз неизвестных тварей, ни риска наводнений или случайной стычки, ни спасения в последнюю секунду, ни страданий (ну, конечно, куда же без страданий!). Страдания путешественника тщательно замалчиваются.

Нет и упоминаний о цветущем дереве, в тени которого можно было бы укрыться, так что все, что мы видим, — это ловкость натренированного пера, бегущего по пустыне. Какое жалкое зрелище, какое унылое приключение! «Жизнь» — выражаясь словами бессмертного мыслителя, скорее всего, сельского происхождения, чье брэнное имя не сохранилось в памяти потомков, — «жизнь прожить — не поле перейти». Так вот, роман написать — тоже дело непростое. Поверьте. Je vous donne ma parole d'honneur[•]. Совсем непростое. Я так категоричен, потому что помню, как несколько лет назад дочь одного генерала...

Случалось, внезапные откровения о мирских делах посещали отшельников в пещерах, средневековых монахов в кельях, одиноких мудрецов, ученых, реформаторов; им открывалась вся легковесность общепринятых суждений, которая ранила их души, сосредоточенные на горьком труде во имя святости, или во имя знаний, смирения, или, скажем, искусства, даже если это искусство шутовства или игры на флейте. Так вот, пришла ко мне генеральская дочь — точнее, одна из дочерей. Всего их было трое, все незамужние, в самом расцвете лет. Они владели соседским поместьем и сообща держали его на почти военном положении. Старшая дочь воевала против упадка нравов среди деревенских детей и во имя исполнения этикета ходила в лобовую атаку на их матерей. Это может показаться бессмысленным, но то была настоящая война за идею. Средняя дочь вела разведку боем по всей округе; именно она решила устроить рекогносцировку прямо на моем столе. Еще она носила стоячие воротнички.

Как-то после полудня она пришла навестить мою жену, по-соседски, эдак даже по-дружески, но с присущей ей боевой решимостью. Она вторглась в мою комнату, размахивая тростью... Но нет, не будем преувеличивать. Это не мой конек. Я же не пишу юмористические рассказы. Со всей ответственностью могу заявить только, что трость у нее была.

Ни рва, ни крепостной стены — я был ничем не защищен. Окна были открыты, двери не заперты, чтобы внутрь

• Даю вам честное слово (франц.).

спокойно проникал мой лучший помощник — мягкий солнечный свет с широких полей. Поля мне тоже помогали, но, по правде говоря, я уже несколько недель не знал, светит ли над ними солнце или же звезды движутся по своим назначенным орбитам. Именно тогда я посвятил несколько дней из отпущенного мне времени последним главам романа «Ностромо» — истории вымышленной, но в то же время реалистичной прибрежной страны, истории, которая все еще упоминается то в связке со словом «провал», то в сочетании со словом «восторг», но всегда по-доброму. Я не знаю причин такого расхождения во мнениях. Подобные разногласия невозможно урегулировать. Мне известно только, что на протяжении двадцати месяцев, пренебрегая всеми радостями жизни, доступными даже самым непритязательным, я, как древний пророк, «боролся с Господом» за свое творение, за мысы побережья, за тьму залива Пласидо, за белизну снегов, за облака в небе и за жизнь, которую нужно было вдохнуть в образы мужчин и женщин, католиков и протестантов, иудеев и язычников. Слишком сильно сказано? Возможно. Но трудно иначе описать сокровенность и напряжение творческого процесса, когда разум, воля и сознание полностью поглощены работой — час за часом, день за днем, вдали от мира и всего, что придает жизни истинное очарование и безмятежность. Это можно сравнить только с изнурительным морским переходом, когда зимой ты огибаешь мыс Горн с востока на запад. Там, на судне, в глубокой изоляции от мира, лишенные удобств и радостей жизни люди так же борются с могуществом Создателя, осознавая всю свою ничтожность перед противником в этой одинокой битве не за достойную награду, а лишь за то, чтобы покорить очередную долготу. И все же если долгота преодолена — с этим не поспоришь. Солнце, звезды, шар земной — вот свидетели твоей победы! В то время как стопка страниц, независимо от того, сколько ты вложил в них души, в лучшем случае трофей незначительный и даже спорный. А вот и эпитеты: «Провал» — «Восторг»! Выбирайте любой, можно оба или ни одного — для вас это просто шелест и трепет страниц, затихающий к ночи, неразличимый, как снежинки большого сугроба, которому суждено растаять на солнышке.

«Как поживаете?»

Прозвучало приветствие генеральской дочери. Я не слышал ничего — ни шороха, ни звука шагов. И лишь за мгновение до этого меня посетило нечто вроде дурного предчувствия, будто приближается что-то зловещее — никаких других предзнаменований не было, и тут раздался голос и режущий ухо звук, как от падения с очень большой высоты — падения, скажем так, с самых высоких облаков, которые неспешной вереницей проплывали над полями, гонимые слабым западным ветром среди жаркого июльского дня. Я, конечно же, быстро пришел в себя, точнее сказать, вскочил со стула как ошпаренный. Каждый нерв дрожал от боли, как будто меня с корнем вырвали из одного мира и тут же бросили в другой — исключительно светский.

«Ох! Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста».

Именно так я и сказал. Это жуткое, но, уверяю вас, абсолютно правдивое воспоминание скажет вам больше, чем целый том исповедей в духе Жан-Жака Руссо. Заметьте! Я не завопил на нее, не принялся опрокидывать мебель, не бросился на пол в истерике, не позволил себе даже намека на ужасающие размеры катастрофы. Весь мир Костагуаны — прибрежной страны из моего романа, который вы, быть может, помните, — все мужчины, женщины, улицы, дома, скалистые утесы, горы, равнины — ведь для каждого камня, каждого кирпичика, каждой песчинки на этой земле я сам определил место; весь мир с его историей, географией, политикой и финансами, серебряными рудниками Чарльза Гулда и прославленным предводителем докеров, которого звала в ночи Линда Виола (доктор Монигам все слышал!), чье имя даже после смерти витало над темным заливом, где покоились завоеванные им сокровища и любовь — весь этот воздвигнутый в моей голове мир обрушился в одно мгновение.

«Нет, никогда больше не собрать мне осколков, — думал я и одновременно говорил: — Садитесь, пожалуйста!»

Море — серьезное лекарство. Смотрите, к чему приводит учеба на шканцах даже обычного торгового судна! Этот эпизод заставит вас по-новому взглянуть на английских

и шотландских моряков (хотя только ленивый не упражнялся в остроумии над этой братией), сказавших последнее слово в моем воспитании. Человек ничего не стоит без выдержки! В этом бедствии, полагаю, я воздал должное их простой науке. «Садитесь, пожалуйста!» Неплохо, правда, очень неплохо. Она села. Ее изумленный взгляд заскользил по комнате.

Листы рукописи валялись на столе и под столом, кипа машинописных страниц на стуле, кое-что упорхнуло в самые отдаленные уголки; страницы живые, страницы поврежденные и раненые, мертвые страницы, чья судьба быть сожженными в конце дня — отходы жесточайшего поля битвы, долгой, долгой и отчаянной схватки. Именно что долгой! Иногда я все же ложился спать, и хочется верить, что просыпался.

Да, вероятно, я спал, ел, что подавали, и при необходимости связно отвечал своим домочадцам. Но никогда я, окруженный тишиной и покоем, благодаря безмолвной, бдительной и неустанной заботе, не замечал размеренного течения повседневной жизни. Сейчас мне казалось, что я сижу за столом среди груды обломков отчаянной схватки, продолжавшейся уже много дней и ночей напролет. Такое впечатление сложилось из-за ужасной усталости, которую внезапное вторжение заставило меня ощутить — разум постигло страшное разочарование от осознания тщетности непосильной задачи, тело охватило изнеможение, несравнимое с усталостью от привычной нормы тяжелого физического труда. Моя спина помнит вес мешков с пшеницей, когда под палубными балками приходилось сгибаться чуть не в три погибели, и так с шести утра и до шести вечера (с полуторачасовым перерывом на обед), так что мне ли не знать.

Впрочем, буквы-то я люблю. Я завидую их благородству и забочусь об их достойной службе и благообразии. Я, скорее всего, был единственным писателем, которого эта опрятная леди когда-либо заставляла за работой. И это настолько выбило меня из колеи, что я был не в состоянии вспомнить, когда и во что я последний раз переодевался. Главное, безусловно, было на мне. К счастью, в доме была пара серо-голубых внимательных глаз, которые за этим присматривали. Но все же я чувствовал себя как чумазый костагуанский оборванец после уличной

стычки, взъерошенный и растрепанный с головы до ног. Я еще и моргал на нее, как дурак. Все это легло тенью на честь моих букв и выполняемый ими священный долг. Едва различимая сквозь пыль, поднятую в момент краха моей вселенной, добрая леди мельком оглядела комнату с некоторым любопытством. Она улыбалась. Чему, черт возьми, она улыбалась? Затем небрежно заметила:

«Боюсь, я вас побеспокоила».

«Нет, вовсе нет».

Она приняла мой ответ за чистую монету. Строго говоря, это действительно была правда. Побеспокоила — куда там! Она лишила меня по меньшей мере двадцати жизней, каждая из которых была бесконечно более яркой и подлинной, чем ее существование, поскольку люди эти были движимы страстями, находились во власти убеждений и были участниками великих свершений — плоть от плоти моей рожденные в напряженном обдумывании замысла.

Она некоторое время помолчала и, еще раз окинув взглядом обломки отчаянной схватки, произнесла:

«Так вот как вы здесь сидите и пишете свой — свою...»

«Я... Что? Ах, да. Сижу здесь целыми днями».

«Какая прелесть. Просто очаровательно».

В эту минуту меня, человека уже не слишком молодого, едва не хватил удар. К счастью, она оставила на крыльце своего пса, а собака моего сынишки, которая тем временем где-то вдали патрулировала поле, учуяла его издалека. Она примчалась стремглав, словно пушечное ядро, и от разразившейся в один миг драки поднялся такой гвалт, что апоплексический удар сам испугался меня хватать. Мы поспешили на двор и разняли задир. Затем я сказал юной леди, где она может найти мою жену — за домом, в тени деревьев. Она кивнула и ушла со своим псом, оставив меня глубоко потрясенным смертью и опустошением, которые она учинила с такой беззаботной легкостью, и с эхом этого ее снисходительного «очаровательно», которое все еще звенело у меня в ушах.

Тем не менее, следуя этикету, я проводил ее до ворот. Конечно, я хотел был вежливым (можно ли быть грубым

с дамой из-за каких-то двадцати романских судеб?), но прежде всего я опасался, как бы пес генеральской дочери — и тут я попробую изъясниться, следуя надежному методу Оллендорфа, — снова (encore) не сцепился с преданной собакой моего сынишки (mon petit garçon). Боялся ли я, что генеральский пес одержит верх (vaincre) над собакой моего ребенка? Нет, не боялся... Но хватит с меня Оллендорфа с его методом. Ведь если говорить об этой леди, упомянутый метод вполне уместен и, пожалуй, даже необходим, то к собаке, ее происхождению, истории и характеру он был абсолютно неприменим. Эту собаку малыш получил в подарок от человека, который пользовался словом совсем не так, как Оллендорф. Это был человек почти по-детски импульсивный в порывах самобытной гениальности, наиболее цельный среди литературных импрессионистов, писатель, в котором дар чистого восприятия и точного выражения сочетался с тонкой искренностью и твердыми, пусть и не до конца осознанными, убеждениями. Его творчество, боюсь, не получило того признания, которого заслуживает его неподдельное вдохновение. Я имею в виду покойного Стивена Крейна[•], автора «Красного знака доблести». В последнее десятилетие прошлого века этому плоду воображения досталась своя минута славы. Были и другие книги. Но не много. Ему не хватило времени. Пусть неохотно и свысока, мир все же признал его уникальным и совершенным талантом. Сложно сожалеть о его ранней кончине. Подобно своему герою из «Шлюпки в открытом море»^{••}, Крейн представлялся одним из тех, кому судьба редко дает возможность благополучно вернуться на берег после изнурительной работы на веслах. Признаюсь, я испытываю неизменную привязанность к этому энергичному, легкому, хрупкому, яркому, живому и неукорененному человеку. Я приглянулся ему еще до нашей встречи по одной-двум

• Стивен Крейн — американский поэт, прозаик и журналист, представитель импрессионизма, основоположник верлибра (свободного стиха) в американской поэзии.

•• Рассказ написан после событий, произошедших с писателем во время возвращения на родину с Кубы. 2 января 1897 года корабль, на котором он плыл, потерпел крушение в нескольких милях от берега Флориды. Крейну удалось уцелеть и чудом добраться до берега.

страницам текста. И мне приятно думать, что даже после нашего знакомства ему нравилось со мной общаться. Бывало, он замечал мне со всей серьезностью и даже несколько сурово: «У мальчика должна быть собака». Подозреваю, его ужасало мое пренебрежение родительскими обязанностями.

В конце концов он и подарил собаку. Однажды, после того, как он битый час самозабвенно играл, ползая с ребенком по ковру, он поднял голову и уверенно заявил: «Я научу мальчишку ездить верхом». Этому не суждено было случиться. На это ему не было отпущено времени.

А собака — вот она, старый уже пес. Коренастый, на кривых коротких лапах, с черной головой на белом туловище и уморительным черным же пятном на противоположной от головы стороне, выходя на улицу, он вызывает улыбки скорее добрые, нежели саркастические. Его гротескная и обаятельная внешность соответствует обычно смиренному нраву, однако в присутствии других собак он становился неожиданно драчлив. Лежа у камина с высоко поднятой головой, устремив взгляд на пляшущие по стенам комнаты тени, он принимает удивительно благородную позу, отображающую глубокое спокойствие его непорочной жизни. Он вырастил одного ребенка и, когда тот пошел в школу, стал присматривать за вторым так же преданно и добросовестно, но с несколько нарочитой важностью, говорящей о накопленном опыте и мудрости, а также, боюсь, о ревматизме. С утренней ванны и до вечерней церемонии укладывания ты ухаживаешь за усыновленным тобой маленьким двуногим существом и в исполнении этой службы сам пользуешься всем возможным уважением и бесконечным вниманием всех домочадцев — почти как я, только ты больше этого заслуживаешь.

«Очаровательно», — сказала бы генеральская дочь.

Вот так-то, старина! Она никогда не слышала, как ты визжишь от резкой боли (бедное левое ухо!) и при этом с невероятным самообладанием сохраняешь полную неподвижность, страшась опрокинуть маленькое двуногое существо. Она никогда не видела твоей смиренной улыбки в момент, когда это маленькое двуногое существо в ответ на строгий вопрос: «Что ты

вытворяешь с собакой?» — таращит глаза и с невинным видом произносит: «Ничего, мамочка. Я только ласкаю!»

Генеральская дочь не знает скрытых мотивов добровольно возложенной на себя миссии, не знает она и боли, что может таиться даже в самой награде за твердое самообладание. Но мы-то с тобой прожили вместе столько лет. Вместе и постарели; и хотя наша работа еще не завершена, иногда можно позволить себе, сидя у камелька, уйти в себя: поразмышлять об искусстве воспитания детей и о том, как это «очаровательно» — писать рассказы, где столько жизней появляются и исчезают ценой той одной, что неумолимо уносится прочь.

VI

Оглядываясь назад, я вижу, что за исключением жизненной пропедевтики детства и отрочества в постоянно меняющихся декорациях моей биографии чередовались две отдельные стези, даже две отдельные стихии — земля и вода, что объясняет определенную степень моей наивности. Я полностью отдаю себе в этом отчет и говорю так вовсе не из желания оправдаться. Годы идут, число страниц неуклонно растет, и мною все больше овладевает чувство, что писать можно только для друзей. Зачем тогда ставить их перед необходимостью заверять вас — как подобает другу, — будто никаких оправданий не нужно, а то и внушать им сомнение в благоразумии автора? Тем более нет смысла беспокоиться о тех немногих из великого множества читателей, которых случайно зацепит какое-нибудь слово или строчка, а то и целая удачная страница, вызвавшая сопереживание в нужный момент, или простая истина, или даже тонкий намек. Это все равно что выудить рыбу из морских глубин. Известно, что рыбалка (я имею в виду морскую), как ни крути, любит удачу. Что до врагов, до них мне и дела нету.

Есть, к примеру, один господин, который, образно говоря, не дает мне проходу. Образ не слишком изящный, но он идеально описывает этот случай — целый ряд случаев. Давно ли он увлекается охотой, сезон которой начинается в соответствии с издательским календарем, мне не известно. Некоторое время назад кто-то показал мне его — в печатном, разумеется, виде, — и я тут же испытал что-то вроде невольной симпатии к этому неутомимому человеку. Он препарировал каждую частичку моей сущности: а сущностью писателя являются его

книги; остальное — лишь его бесплотная тень, которую либо слепо ненавидят, либо так же слепо превозносят. Буквально каждую косточку! Однако он отнюдь не безумец, движимый извращенными представлениями о прекрасном. Осмелюсь предположить, что причина в более глубоком и достойном чувстве, нежели прихоть и эмоциональная вседозволенность. На самом деле деятельность его вполне оправдана и основательна настолько, что, вопреки желанию, приходится рассматривать ее по существу. В его работах, к примеру, чувствуется то здравомыслие, что часто является признаком моральной устойчивости. Это первое. Затем: неприятно, конечно, когда тебя клеймят, но тщательность, с которой это делается, подразумевает не только внимательное чтение, но и реальное понимание сути работы, чьи достоинства и недостатки, какими бы они ни были, не лежат на поверхности. Такой подход вызывает уважение и благодарность, учитывая, что книги иногда ругают, даже не прочитав. Вот это поистине нелепая ситуация, в которой может оказаться каждый писатель, поставивший свое душевное спокойствие на карту литературной критики. Разумеется, большого урона вы не понесете, но все равно неприятно. Это как обнаружить наперсточника среди порядочных пассажиров в вагоне третьего класса. Беззащитность такого гуся, его наглость и коварство, ставка на глупость и доверчивость рода человеческого, разнузданная, бесстыдная болтовня, с которой откровенное его мошенничество выдается за честную игру, — все это вызывает чувство невыносимого отвращения. Честный кулак простого человека, играющего открыто и по правилам — даже если он намерен сбить вас с ног, — может и оглушить, при этом все останется в рамках приличий. Какую бы травму он вам ни нанес, обижаться тут не на что. Честность вызывает уважение, даже когда ею пользуются ваше брренное тело. Однако верно и то, что такого неприятеля объяснения не остановят и извинения не угомонят. Сошлись я на молодость в оправдание наивности этих страниц, он, скорее всего, рывкнет: «Чушь!» — и размажет это на полторы колонки свирепого текста. А ведь писатель рождается с первой изданной книгой, и, несмотря на свидетельства распада,

сопровождающего нас в этой скоротечной жизни, сегодня мое чело венчает всего пятнадцать коротких лет.

Отметив, что некоторая наивность восприятия и выражения простительна в таком нежном возрасте, я все же признаю, что мой предыдущий жизненный опыт не мог как следует подготовить меня к литературной жизни. Возможно, не следовало употреблять слово «литературной». Это слово предполагает близкое знакомство с языком, особый склад ума и восприимчивость, на которые я не смею претендовать. Я просто люблю язык, но любовь к языку не делает человека литератором, так же как любовь к морю не делает его моряком. Вполне вероятно, что я люблю язык, как литератор может любить море, на которое смотрит с берега, — как область невероятных приключений и великих достижений, меняющих лицо мира, как открытую дорогу ко всем неисследованным территориям. Нет, наверное, лучше будет сказать, что флотская жизнь — и я имею в виду не возможность попробовать ее на вкус, но настоящую морскую службу, которой был посвящен приличный отрезок времени, — в общем и целом ничемный опыт для писательской жизни. Не дай бог, чтобы это было воспринято как попытка низвергнуть со шканцев своих учителей. На такое отступничество я не способен. Свое благоговение перед их памятью я запечатлел в трех или четырех книгах. И если кто-то из живущих и надеющихся на спасение и должен быть откровенным с собой больше других, то это, конечно же, писатель.

Я просто хотел сказать, что на шканцах вас не научат правильно реагировать на литературную критику. Только это, и ничего больше. Впрочем, это по-своему вполне серьезное упущение. Если бы нам было позволено вывернуть, исказить, приспособить (и испортить) данное Анатодем Францем определение хорошего критика, то хорошим писателем мы бы называли того, кто созерцает, не выражая ни радости, ни чрезмерной печали, приключения своей души в океане литературной критики. Я далек от намерения ввести внимательного читателя в заблуждение, что в море нет никакой критики. Это было бы нечестно и даже невежливо. Чего бы вы ни искали,

в море найдется все: война и мир, романтика и самый отъявленный натурализм, идеалы, скука, отвращение, вдохновение, как и любая из мыслимых возможностей, в том числе и возможность сесть в лужу — все как и на литературном поприсе. Но критика на шканцах все-таки отличается от литературной. Похожи они лишь в том, что отвечать в обоих случаях, как правило, себе дороже.

Да, в море найдется место критике и даже похвале — говорю же вам, на «соленой воде» всему есть место. Однако от литературной она заметно отличается по форме: как правило, это импровизация и всегда устная, что придает ей свежесть и энергию, которых иногда не достает печатному слову. Иначе обстоит дело с похвалой, которая после, когда критик и критикуемый уже готовы разойтись. Оценка скромных талантов человека в море заключена в строгие формулировки, обладает постоянством письменного слова и редко блещет разнообразием. В этой области у литературного критика, пожалуй, есть преимущества, хотя и его положительная оценка, в сущности, умещается во фразе «Настоятельно рекомендую», которую мы зачастую и видим. Только вот критик предпочитает использовать «мы»: есть некая мистическая сила в форме первого лица множественного числа, из-за которой она особенно подходит для критических рецензий и изъявления воли королей. У меня есть небольшая стопка морских благодарностей от разных капитанов, они медленно желтеют в левом ящике письменного стола и всякий раз шелестят от моего трепетного прикосновения, словно горсть сухих листьев, сорванных с древа познания на славную память. Удивительно! Получается, что именно ради этих бумажек с именами нескольких шотландских и английских капитанов я противостоял возмущению, насмешкам и упрекам, которые пятнадцатилетнему мальчику вынести совсем непросто; ради этих листков я сносил обвинения в отсутствии патриотизма, здравого смысла и даже храбрости; пережил муки душевных терзаний и не раз скрывал свои слезы; из-за них я так и не смог насладиться красотами перевала Фурка и был наречен «неисправимым Дон Кихотом» с намеком на порожденное романами сумасшествие

рыцаря. Все ради этих трофеев! И вот они шелестят, эти бумажки, — всего с дюжину листков. В их неясном, призрачном шорохе живет память о двух десятках лет, слышны голоса закаленных моряков, уже покинувших этот мир, мощный гул бесконечных ветров, тихие звуки таинственных заклинаний и рокот огромного моря, которые каким-то образом залетели в мою далекую от морских берегов колыбель и прокрались в мою еще неокрепшую голову, подобно исламскому догмату, который мусульманские отцы нашептывают на ухо младенцам, принимая новорожденных сыновей в круг правоверных буквально с первых глотков воздуха. Не знаю, был ли я хорошим моряком, но что был верным — знаю точно. В конце концов, эта стопка «характеристик» с разных судов доказывает, что все эти годы мне не приснились. Лаконичные и однообразные по тону, они воодушевляют меня не меньше самых вдохновенных страниц литературы. Оттого, видимо, меня и называют романтиком. И тут уж ничего не поделаешь. Хотя постойте. Меня, кажется, называли и реалистом. И поскольку на это звание я тоже имею право, попробуем для разнообразия всячески ему соответствовать. С этой целью я застенчиво поведаю вам, и то лишь потому, что в свете полночной лампы никто не увидит моего румянца, что в содержательной части буквально всех флотских благодарностей прописаны слова «рассудительность и трезвый расчет».

Кажется, я уловил деликатный шепот: «Но ведь это очень лестная оценка, не так ли?» Да, пожалуй, лестная — благодарю вас! Во всяком случае быть дипломированным блогером так же лестно, как дипломированным романтиком, хотя дипломы эти не дают вам право стать секретарем общества трезвости или официальным глашатаем какой-нибудь благонамеренной демократической организации, как, например, Совет Лондонского графства[•]. Упомянутое выше

[•] Совет Лондонского графства (LCC) — основной орган самоуправления так называемого Лондонского графства (внутренней части Лондона), действовавший с 1889 года. Занимался социальными и гуманитарными проектами. В итоге стал выполнять функции таких специализированных учреждений, как Лондонский школьный совет и Столичный совет по приютам.

прозаическое размышление я привожу, чтобы читатель удостоверился в трезвости моих суждений относительно повседневных дел. Я заостряю на этом внимание, потому что несколько лет назад на публикацию французского перевода одного из моих рассказов некий парижский критик — я почти уверен, что это был месье Гюстав Кан[•] из «Жиль Блас»^{••}, — откликнулся краткой рецензией, в которой резюмировал свое первое впечатление о моих писательских способностях словами un puissant gèveur^{•••}. Да будет так! Кто станет придирается к словам доброжелательного читателя? И все же не такой уж я законченный фантазер. Осмелюсь заявить, что ни на море, ни на суше никогда не терял я чувства ответственности. Опьянение может принимать различные формы. Даже пред самыми чарующими грезами я не забывал о той трезвости внутренней жизни и о том аскетизме в проявлении чувств, без которых невозможно было бы, не стыдясь, говорить о голой правде, какой мы ее постигаем и ощущаем. Под напором вина наружу прорывается не более чем сентиментальная и непристойная откровенность. Я старался оставаться трезвым тружеником на протяжении всей своей жизни — двух своих жизней. Несомненно, я предпочитал сохранять трезвость, следуя собственному вкусу, поскольку инстинктивно боялся утратить чувство полного самообладания, но это было связано также и с моими художественными убеждениями. Однако по обочинам пути истинного расставлено столько ловушек, что, пройдя по нему некоторое расстояние, я, словно молодой путешественник после утомительного дневного перехода, слегка потрепанный и усталый, спрашиваю себя, всегда

• Гюстав Кан (1859–1936) — французский поэт и прозаик-символист. Выступал как литературный и художественный критик, поддерживал неомимпрессионизм, был историком и теоретиком символизма, отстаивал верлибр, который развивал и в собственной поэзии.

•• «Жиль Блас» — парижская литературная газета (1879–1938), названная в честь одноименного романа Алена-Рене Лесажа. В «Жиль Блас» печатались современные французские писатели, в том числе Эмиль Золя, Ги де Мопассан. Газета также была известна своими категоричными критическими рецензиями на литературные произведения и театральные постановки.

••• Великий выдумщик, фантазер (франц.).

ли я оставался верен той трезвости, в которой сила, и правда, и умиротворение.

Что касается моей трезвости в море, то она должным образом подтверждена собственноручной подписью нескольких достойных и занимавших в свое время заметное положение капитанов. Мне снова слышится вежливый шепот: «Ну, морская трезвость — дело само собой разумеющееся». Вообще нет. Ничего подобного. Когда речь идет о присуждении степеней, для такой августейшей академической организации, как Морское управление Торговой палаты, нет ничего само собой разумеющегося. По утвержденным еще первым Законом о торговом мореплавании правилам само слово «трезвый» должно быть написано черным по белому, в противном случае целый ворох, куча или даже года самых горячих похвал ничем вам не помогут и двери экзаменационных аудиторий не раскроются перед вами, как бы вы о том ни умоляли. Самый фанатичный приверженец сдержанности не показался бы вам столь безжалостным и непоколебимым в своей правоте, как Морское управление Торговой палаты. Поскольку на протяжении своей жизни я встречался лицом к лицу со всеми экзаменаторами Лондонского портового управления своего поколения, в степени и постоянстве моей воздержанности сомнений быть не может. Трое из них принимали экзамены по судоводждению, и в ходе морской карьеры мне посчастливилось попасть в руки каждому. Первый из них — высокий худощавый мужчина с совершенно седой головой и усами, с благообразной интеллигентностью в облике, держался спокойно и доброжелательно, но, вынужден заключить, что его, должно быть, что-то неприятно поразило в моей наружности. Положив ногу на ногу и сомкнув старческие тонкие кисти рук поверх колен, мягким голосом он задал первый простенький вопрос, а затем еще один и еще... Это продолжалось часами. Часами! Будь я неизвестным микробом, способным нанести Торговому флоту непоправимый ущерб, вряд ли бы меня подвергли столь тщательному, как под микроскопом, изучению. Приободренный его обманчивой благосклонностью, сначала я отвечал весьма бойко. Но в какой-то момент я ощутил,

как закипает мой мозг. Лишенный всяких эмоций процесс все продолжался, а меня не покидало чувство, что прошли уже столетия, а мы даже не перешли к основной части. Тогда я по-настоящему испугался. Я не боялся провалить экзамен; такой исход даже не рассматривался. Опасения мои были куда более серьезными и странными. «Этот древний старик, — объятый ужасом говорил я себе, — уже так близок к могиле, что потерял счет времени. Этот экзамен он оценивает с точки зрения вечности. У него-то все в полном порядке. Он свою дистанцию пробежал. Но когда я выйду из этой комнаты в мир людей, меня никто не узнает, у меня уже не будет друзей, даже хозяйка меня не вспомнит, если после этого бесконечного экзамена я найду дорогу на свою съемную квартиру». Эта фраза может показаться художественным преувеличением, но это ложное впечатление. Пока я обдумывал ответы, в голову приходили самые диковинные мысли, не связанные не то что с судовой доставкой, с реальным миром вообще. С уверенностью могу утверждать, что временами у меня в голове был туман, как при сильном переутомлении. Наконец, наступило молчание. Оно тоже длилось целую вечность, пока, согнувшись над столом, экзаменатор медленно водил по моей карточке бесшумным пером. Не сказав ни слова, он протянул мне бумагу и на мой прощальный поклон тяжело склонил седую голову...

Выйдя за дверь, я почувствовал себя совершенно обесиленным, выжатым как лимон. Я остановился у стеклянной клетки привратника, чтобы взять свою шляпу и дать ему шиллинг на чай, он сказал:

«Я уже решил, что вы никогда оттуда не выйдете».

«Долго я там просидел?» — уточнил я слабым голосом.

Он вытащил часы.

«Он продержал вас почти три часа, сэр. Насколько мне известно, так долго еще никому отвечать не приходилось».

И только выйдя на улицу, я почувствовал облегчение. А поскольку всякое человеческое животное старается избегать перемен и пасует перед неизвестностью, я сказал себе, что если в будущем мне придется отвечать тому же экзаменатору,

я возражать не стану. Однако, когда пришло время следующего испытания, привратник отвел меня в другую комнату, с уже привычными атрибутами моделей кораблей и снастей, сигнальными знаками на стене, длинным столом, усталым официальными бланками, на краю которого была закреплена неоснащенная мачта. Внешность единственного обитателя этой комнаты была мне незнакома, чего не сказать о его репутации, которая была просто отвратительной. Маленький и коренастый, насколько я мог судить, облаченный в старую коричневую визитку, он сидел, опираясь на локоть, прикрыв рукой глаза и повернувшись полубоком к стулу, расположенному с другой стороны стола и предназначенному для меня. Он был неподвижен и восседал таинственно, отчужденно, загадочно, с какой-то, пожалуй, даже скорбью в позе, подобно статуе на надгробии Джулиано (насколько я помню) Медичи работы Микеланджело, разве что красавцем назвать его было сложно. Начал он с того, что попытался заставить меня говорить чепуху. Но я был предупрежден об этой его дьявольской манере и возражал уверенно и твердо. Через некоторое время он отступился. Пока все шло хорошо. Но его неподвижность, упертый в стол полный локоть, резкий, унылый голос, полуприкрытое повернутое в профиль лицо становились все более и более выразительными. Еще секунду он сохранял многозначительное молчание, после чего, поместив меня на судно таких-то габаритов, находящееся в море в таких-то широтах, в такой-то сезон, при таких-то погодных условиях и т. д. — все очень ясно и точно, — приказал мне выполнить некий маневр. Не успел я выполнить его и наполовину, как он нанёс судну некоторые повреждения. Как только я преодолел эту сложность, он учинил еще одну каверзу, а когда я справился и с этой, расположил прямо по курсу еще один корабль, создав тем самым весьма опасную ситуацию. Изобретательность, с которой он обрушивал на меня все новые беды, меня даже несколько раздосадовала.

«Я бы не оказался в таком переплете, — беззлобно предположил я. — Я б уже заметил этот корабль».

Он даже не пошевелился.

«А вот не заметил. Туман густой».

«А-а-а! Я ж не знал», — безучастно отозвался я.

Полагаю, в конце концов мне удалось вполне правдоподобно предотвратить столкновение, и ужасное испытание продолжалось. Стоит упомянуть, что маршрут поставленного передо мной задания пролегал, как я понял, из Южной Америки в Европу — такого перехода я не пожелал бы и злейшему врагу. А мое гипотетическое судно как будто подверглось самому могущественному проклятию. Нет толку вдаваться в подробности бесконечных злоключений; достаточно сказать, что задолго до конца испытаний я понял, что представится мне возможность пересечь на «Летучий голландец», я бы с радостью ей воспользовался. Наконец, он запихнул меня в Северное (по моим расчетам) море и заставил идти к подветренному (вероятно, голландскому) берегу в бухту через обширные песчаные отмели. Расстояние восемь миль. Это свидетельство его непримиримой враждебности на полминуты лишило меня дара речи.

«Ну-с», — сказал он. До этого момента мы шли весьма ловко.

«Мне надо немного подумать, сэр».

«Времени на размышление у вас совсем немного», — язвительно пробормотал он из-под руки.

«Да, сэр, — сказал я с некоторой даже теплотой. — На борту и впрямь думать некогда. Но судно уже побывало в таких передрыгах, что я уже и не припомню, что от него осталось».

Все еще наполовину отвернувшись и пряча взгляд, он вдруг проворчал:

«Вы пока хорошо справлялись».

«На носу у меня два якоря, сэр?» — спросил я.

«Да».

Я приготовился спустить оба якоря наиболее целесообразным способом, чтобы дать кораблю последнюю надежду на спасение, как вдруг его дьявольский механизм проверки на находчивость запустился вновь.

«Но якорная цепь осталась только одна. Вторая ушла на дно».

Это было невыносимо.

«Тогда я подниму якоря обратно, если смогу, и привяжу самый прочный трос на борту к концу цепи, а если судно оторвется, что весьма вероятно, то я уже ничем не смогу помочь. Придется ему плыть дальше».

«Больше ничего не сделать, так?»

«Да, сэр, делать больше нечего».

Он горько усмехнулся.

«Всегда можно помолиться».

Он встал, потянулся и слегка зевнул. Лицо у него было сильное, неприветливое, землистого цвета. С видом сердитым и скучающим он прогнал меня по стандартным вопросам про огни и сигналы, после чего я выскочил из кабинета. Сдал — вот счастье-то! За сорок минут! Я снова шел, не чуя под собой ног, по Тауэр-Хиллу, где столько добрых моряков сложили свои головы, которые оказались, видимо, недостаточно находчивыми, чтобы спасти своих владельцев. И в глубине души я был готов снова встретиться с этим экзаменатором, когда через год придет пора последнего испытания. Я даже надеялся на эту встречу. Он уже показал мне все свои худшие стороны, а сорок минут вполне разумное время. Да, я прямо надеялся...

Но как бы не так. Экзаменатор, перед которым я предстал как соискатель капитанского звания, оказался невысоким словоохотливым толстячком с округлым рыхлым лицом и седым пушком усов над влажным ртом.

Начал он добродушно:

«Что ж, посмотрим. Хм. Расскажите мне, например, все, что знаете о фрахтовых контрактах». Такого стиля он и придерживался. Иногда он отвлекался на истории из собственной жизни, но, остановившись на самом интересном месте, резко менял курс и возвращался к делу. Это было весьма занимательно. «Как вы себе представляете аварийный руль?» — спросил он внезапно, в финале назидательной байки о складировании груза на корабле.

Предупредив его, что сам я никогда не оказывался на судне с испорченным рулевым механизмом, я дал ему два классических примера устройства временного руля из

учебника. Он в свою очередь рассказал мне про руль, изобретенный им много лет назад, в бытность его капитаном трехсоттонного парохода. Должен сказать, что в сложившихся обстоятельствах это было наиболее грамотное решение. «Может, и вам когда-нибудь пригодится, — подытожил он. — Ведь и вам вскоре придется перейти на пар. Все переходят».

Тут он ошибся. Я так и не перешел на пар — не случилось. Если доведется дожить до преклонных лет, я, вероятно, стану странным реликтом варварских времен, эдакой жутковатой древностью, единственным моряком темных веков, который так и не перешел на пар — не случилось.

Ближе к финалу он поведал мне несколько интересных подробностей о транспортной службе во времена Крымской войны.

«Проволочный такелаж тоже вошел в обиход примерно в те годы, — вспоминал он. — Я был тогда еще очень молодым капитаном. А вы еще и не родились».

«Да, сэр. Я 1857 года».

«Год восстания сипаев», — заметил он, как будто про себя, и уже чуть громче добавил, что его судно, выполняя государственный заказ, оказалось тогда в Бенгальском заливе.

Очевидно, в транспортной службе произошло становление этого экзаменатора, и он щедро поделился со мной своим опытом, что было для меня неожиданностью. Тем самым он пробудил во мне чувство преемственности морской жизни, в которую я вошел со стороны. В бездушный механизм служебных отношений он вдохнул теплоту человеческой близости. Я чувствовал, будто меня усыновили. Более того — его опыт я воспринимал так, будто он и был моим предком.

С кропотливым усердием записывая на листе голубой бумаги мою длинную (в двенадцать букв) фамилию, он заметил:

«Вы поляк по происхождению».

«Родился там, сэр».

Он отложил ручку, откинулся назад и посмотрел на меня так, будто увидел впервые.

«Полагаю, у нас на службе немного людей вашей национальности. Я, пожалуй, и не встречал ни одного ни в море, ни

после того, как сошел на берег. Да и не слышал, мне кажется. Вы же вроде бы народ сухопутный, не так ли?»

«Да, — сказал я, — именно так». Мы были отдалены от моря не только расположением, у нас не было даже косвенных связей с морем, поскольку занимаются у нас в основном земледелием, а не торговлей. Тогда он высказал странное предположение, что я «проделал длинный путь, чтобы вырваться и начать морскую жизнь»; как будто всем, кто начинает морскую жизнь, не приходится уходить далеко от дома.

Улыбнувшись, я ответил, что, конечно, мог бы найти корабль и поближе к родным местам, но подумал, что если мне и суждено стать моряком, то моряком именно Британского флота. Это было вполне осознанное решение.

На это он еле заметно кивнул, и, поскольку взгляд его оставался вопросительным, я позволил себе немного распространиться и поведать, что некоторое время я провел в Средиземном море и Вест-Индии. Не хотелось представлять перед Британским торговым флотом совершенным салагой. Рассказывать ему о том, что мое таинственное призвание было столь сильным, что даже грехи молодости мне пришлось совершить в море, было бы излишним. То было сущей правдой, но, боюсь, едва ли он разобрал бы несколько непривычную психологическую карту моего пути к морю.

«Вам, вероятно, не доводилось встречать в море соотечественников?»

Да, признался я, не доводилось. Экзаменатор окончательно перешел на уровень досужего разговора. Я же отнюдь не торопиться покинуть эту комнату. Ни секундошки. Эпоха экзаменов подошла к концу. Никогда больше не увижу я этого доброжелательного человека, профессионального прародителя, моего деда по ремеслу. Кроме того, я должен был дожидаться, пока он меня отпустит, а он делать этого пока и не собирался. Поскольку он сидел, молча глядя на меня, я добавил:

«Но несколько лет назад я слышал о таком человеке. Если я не ошибаюсь, он вроде бы служил юнгой на одном приписанном к Ливерпульскому порту судне».

«Как его звали?»

Я назвал его имя.

«Как это вы такое произносите?» — спросил он, вытаращив от непривычного звука глаза.

Я повторил по слогам.

«А как это пишется?»

Я сказал по буквам. Он покачал головой — какое непрактичное имя — и заметил:

«Такое же длинное, как у вас».

Торопиться было некуда. Я сдал на капитана, и впереди была еще целая жизнь, чтобы справиться со свойственным такому положению трудностями. Казалось, что времени еще хоть отбавляй. Я неспешно произвел в уме некоторые вычисления и сказал:

«Не совсем. Короче на две буквы, сэр».

«Неужели?» — экзаменатор подвинул ко мне через стол подписанный голубой бланк и поднялся. Так, пожалуй, даже слишком внезапно завершились наши отношения. Я с некоторым сожалением расставался с этим добрым человеком и превосходным моряком, который был капитаном корабля еще до того, как шепот моря долетел до моей колыбели. Он протянул мне руку и пожелал всего наилучшего. Он даже сделал со мной несколько шагов к двери и закончил добродушными советом:

«Я не знаю ваших планов, но вам следует перейти на паровое судно. С дипломом капитана в кармане сейчас самое подходящее время. Будь я на вашем месте, непременно перешел бы на пароход».

Я поблагодарил его и вышел, плотно закрыв за собой дверь, — с экзаменами было покончено навсегда. На сей раз я не парил в облаках, как бывало раньше после успешной сдачи; я твердо ступал по вершине холма, взбираясь на который, многие свернули шею. Теперь я капитан Британского торгового флота, твердил я себе, и это свершившийся факт. Не то чтобы я придавал слишком большое значение этому скромному достижению, на которое тем не менее не могли повлиять ни удача, ни благоприятный случай, ни прочие внешние обстоятельства. Сам факт приносил удовлетворение, открывал путь в неизвестность и имел для меня некоторое даже идеологическое

значение. Это был ответ на открытый скепсис и даже некоторое злопыхательство. Я отстоял себя перед теми, кто называл мои устремления глупым упрямством или неисполнимым капризом. Не то чтобы от моего желания стать моряком содрогнулась вся Польша. Однако для юноши пятнадцати-шестнадцати лет, положив руку на сердце, довольно чувствительного, реакция его маленького мира действительно имела существенное значение. Настолько существенное, что эхо его доносится до меня по сей день — как бы странно это ни прозвучало. В часы уединенных воспоминаний я оспариваю доводы и претензии, высказанные тридцать пять лет назад теперь уже утихшими навсегда голосами; нахожу ответы, которых осажденный мальчик не мог найти, просто потому что его порывы были еще непостижимы и для него самого. Я понимал не больше тех, кто просил меня объясниться. Такого прецедента еще не было. Я и правда не знаю второго такого случая, когда юноша моей национальности и происхождения выпрыгнул, скажем так, из своей среды, оттолкнувшись от родной почвы. Надо понимать, что в своих устремлениях я и не помышлял о какой-либо «карьере». О России или Германии не могло быть и речи. Для человека моего происхождения и национальности это было немислимо. Предубеждение против службы в Австрии было не таким сильным, и осмелюсь утверждать, что я без особого труда поступил бы в Морскую школу города Пула. Наверное, пришлось бы потратить еще полгода на зубрежку немецкого, но по возрасту я проходил, да и прочим требованиям соответствовал. Чтобы потрафить моему капризу, обдумывался и такой маневр — но без меня. Должен признать, что тут мой отказ приняли без возражений. Даже самые недоброжелательные критики понимали, какие чувства я испытывал. Меня даже не заставили давать объяснения; однако правда в том, что мечтал я не о морской службе, а о море. И самый короткий путь к нему лежал через Францию. Во всяком случае, я владел французским, и из всех европейских стран именно с Францией Польшу связывают самые тесные узы. А еще там было кому немного присмотреть за мной на первых порах. И вот полетели письма, стали приходить ответы, и мы начали готовиться к моему отъезду в Марсель, где

месье Солари — прекрасный человек, на которого мы вышли, подняв все возможные связи во Франции, — благодушно обещал пристроить le jeune homme[•] в его первый рейс на приличный корабль, если уж ему не терпится попробовать ce métier de chien^{••} на вкус.

Я с благодарностью наблюдал за приготовлениями и помалкивал. Но то, что я сказал последнему экзаменатору, было чистой правдой. В моей голове уже сложилось убеждение, что «если моряк, то английский», хотя сформулировано оно было еще на польском. Я не знал и шести слов по-английски, но был достаточно смысленным и понимал, что лучше о своей цели не говорить никому. На меня уже смотрели как на полусумасшедшего, по крайней мере те, кто не знал меня близко. Самое главное — вырваться. Я положился на весьма галантное письмо добродушного месье Солари, адресованное моему дяде, хотя и был слегка шокирован словосочетанием métier de chien.

Живую этот мистер Солари (Баптистин) оказался еще молодым и весьма привлекательным человеком с ухоженной, короткой черной бородой, свежим лицом и яркими, темными глазами. Бодрый и добродушный старший товарищ — чего еще мог желать парень моего возраста? Я еще спал в номере скромной гостиницы у набережной старого порта, весьма утомившись после долгого путешествия через Вену, Цюрих и Лион, когда он влетел в номер, распахнул ставни и, впустив солнце Прованса, принялся отчитывать меня, что я еще в кровати. Как же сладко было слушать его громогласные понукания, чтоб я немедленно встал и тотчас же отправлялся в «трехлетнее плавание по Южному океану»^{•••}. Ах эта чарующая фраза! «Une campagne de trois ans dans les mers du Sud» — так на французском скажут о трехлетнем плавании в глубоких водах. Баптистин устроил мне восхитительное пробуждение, а его благожелательность не имела границ, только вот, боюсь, к поиску подходящего для меня корабля он отнесся не слишком серьезно. Он и сам служил на флоте, но сошел на берег в двадцать

- Молодого человека (франц.).
- Собачью работу (франц.).
- Южная часть Тихого океана.

пять, сочтя, что на суше сможет заработать на жизнь в более комфортных условиях. Мой новый знакомый происходил из преуспевающей семьи определенного класса, каких в Марселе было множество. Один его дядя был фрахтовым брокером с отличной репутацией и большими связями в среде английских судовладельцев; другие родственники снабжали суда запасами, владели парусными мастерскими, продавали цепи и якоря, работали стивидорами, конопатчиками, корабельными плотниками. Кажется, дед его занимал почетную должность старейшины лоцманов. Я завел знакомства в этой среде, но в основном среди лоцманов. Свой первый день в море я, воспользовавшись их приглашением, провел на полупалубном лоцманском боте, который курсировал под зарифленными парусами[•]. Погода была ветреная, а видимость неважная, и мы вглядывались сквозь туман, высматривая паруса кораблей и дым пароходов за высоким и тонким маяком Планье, белой вертикалью разрезавшим открытый всем ветрам горизонт. Гостеприимный народ, эти крепкие провансальские моряки! Под общепринятым обозначением *le petit ami de Baptistin*^{••} я стал гостем корпорации лоцманов и получил свободный доступ к их лодкам днем и ночью. Я и проводил дни и ночи напролет, курсируя по акватории с этими простыми, добродушными людьми, под чьим покровительством начались мои близкие отношения с морем. И не раз их натруженные руки набрасывали на «юного друга Баптистина» моряцкий плащ с капюшоном, когда, высматривая огни кораблей, мы укрывались от ветра у стен замка Иф. Дубленые морем лица, усатые и гладко выбритые, округлые и сухощавые, внимательные прищуренные глаза потомственных лоцманов, у многих — тонкое золотое колечко в мочке волосатого уха: такие люди пестовали мое морское детство. Пересадка с лоцманского бота на судно прямо в море в любую погоду и любое время суток — вот первый прием морского ремесла, который мне выпало наблюдать. Уж этого я насмотрелся. И не раз, пользуясь их гостеприимством,

- Паруса, площадь которых уменьшена.
- Юный друг Баптистина (*франц.*).

сживал я в высоких темных домах старого города, где их звонкоголосые, широкобровые жены щедро плескали мне буйабеса в грубую миску, а их черноглазые, ослепительно белозубые дочери — крепко сбитые девушки с ясными лицами и роскошными темными волосами, уложенными в замысловатые прически, — развлекали меня беседой.

Были у меня знакомства и в других кругах. Например, величественная, похожая на изваяние красавица мадам Делестанг иногда вывозила меня на переднем сиденье своей кареты в Прадо на модные тогда прогулки. Она принадлежала к одному из старых аристократических семейств юга Франции. Ее надменная пресыщенность напоминала мне о леди Дедлок из диккенсовского «Холодного дома», романа, к которому я с самого детства испытываю такое восхищение, а точнее столь сильную и необъяснимую любовь, что даже его слабые места мне дороже творческих удач других мастеров. Я перечитывал его бесконечное количество раз — и по-польски, и по-английски. Я читал его буквально третьего дня, и романная леди Дедлок, в свою очередь, показалась мне очень похожей на прекрасную мадам Делестанг — что, впрочем, совсем не удивительно.

Ее муж (который тоже сидел в карете напротив меня) с его тонким костистым носом и совершенно бескровным лицом, будто сжатым казенными бакенбардами, не обладал ни «важным видом», ни придворной светскостью сэра Лестера Дедлока. Он принадлежал к высшей буржуазии и, будучи банкиром, открыл мне скромный кредит. Он был настолько горячим, нет, настолько закостенелым, буквально мумифицированным роялистом, что в беседе использовал обороты речи времен, я б сказал, славного Генриха IV, а когда речь заходила о деньгах, исчислял их не во франках, как обычные послереволюционные безбожники французы, а в давно изъятых из обращения и забытых эку — из всех денежных единиц мира! — как если бы Людовик XIV все еще прогуливался по садам Версаля, а месть Кольбер[•] по-прежнему был занят

• Жан-Батист Кольбер (1619-1683) — французский государственный деятель, фактический глава правительства при Людовике XIV.

устройством торгового флота. Согласитесь, весьма странные манеры для банкира девятнадцатого века. К счастью, в конторе (которая занимала первый этаж городской резиденции Делестангов, расположенной на тихой, тенистой улице) счета велись в современной валюте и мне никогда не составляло труда донести свои желания до степенных, тихоголосых клерков — легитимистов, я полагаю, — сидящих в постоянном полумраке от частых и толстых решеток на окнах, за потемневшими от времени конторками, под высокими потолками с тяжелыми лепными карнизами. Выходя на улицу, я всегда чувствовал себя так, словно побывал в храме очень величественной и в то же время совершенно светской религии. Обычно именно в этих обстоятельствах, когда я проходил под сводами больших каретных ворот, леди Дедлок — я, конечно, говорю о мадам Делестанг, — завидя приподнятую мною шляпу, подзывала меня с благожелательной властью к карете и говорила с веселой небрежностью: «Садитесь-ка, проедьтесь с нами!», к чему ее супруг обычно присоединялся с некоторым даже воодушевлением: «Давайте же! Садитесь-садитесь, молодой человек!» Иногда он спрашивал меня о моем времяпрепровождении — подробно, но и с большим тактом, и никогда не забывал выразить надежду, что я регулярно пишу своему «достопочтенному дядюшке». Я не делал секрета из своих занятий, и тешу себя надеждой, что мои безыскусные рассказы о лоцманах и обо всем прочем развлекали мадам Делестанг, насколько вообще эту невероятную женщину могла развлечь болтовня мальчишки, переполненного новыми впечатлениями от необычных людей и небывалых ощущений. Она не высказывала своего мнения, она вообще говорила со мной очень редко. Однако благодаря одному краткому и мимолетному эпизоду ее портрет хранится в галерее моих самых сокровенных воспоминаний. Однажды, высадив меня на углу улицы, она протянула руку и удержала мою, слегка сжав ее на мгновение. Муж неподвижно сидел в коляске и смотрел прямо перед собой, а она наклонилась ко мне и сказала спокойно, но с легкой тенью тревоги в голосе: «Il faut, cependant, faire attention a ne

pas gâter sa vie»[•]. Никогда прежде не видел я так близко ее лица. Мое сердце забилося быстрее, и потом весь вечер я был задумчив. Безусловно, всякому следует стараться не загубить свою жизнь. Но она не знала — и никто не мог знать, — какой призрачной эта опасность казалась мне тогда.

• Будьте осторожны, не испортите себе жизнь (франц.).

VII

Возможно ли укротить порыв первой любви? Просчитать, составить сухой прогноз на будущее, пользуясь тяжеловесным вокабуляром из работ по политической экономии? Мыслимо ли это, я вас спрашиваю? Возможно ли это? Правильно ли? Разве может добродушный совет «не испортить себе жизнь» погасить юношескую страсть, когда ты наконец добрался до самого синего моря, готовый воплотить свою детскую мечту?

Это было самое неожиданное, но и последнее из многих подобных предостережений. Это прозвучало как-то особенно странно — и я услышал в нем голос ограниченности, голос невежества, как если бы его произнесли в присутствии моей прелестницы. Но мне хватило ума и восприимчивости, чтобы распознать в нем также и голос доброты. А кроме того, неопределенность этого предостережения — ведь фраза «испортить жизнь» могла означать что угодно — способна приковать внимание любого, благодаря флору глубинной мудрости. Как бы там ни было, но слова красавицы мадам Делестанг на целый вечер погрузили меня в раздумья. Я пытался понять и не преуспел, поскольку никогда не представлял себе жизнь как коммерческое предприятие, неверное управление которым может все испортить. Незадолго до полуночи, когда меня уже не преследовали ни призраки из прошлого, ни мечты о будущем, я в задумчивости вышел из дома и спустился к набережной Вье-Порт к лоцманскому катеру моих друзей. Я знал, что в ожидании экипажа он стоит в крошечном притоке канала за фортом, у самого входа в гавань. Залитые лунным светом пустынные набережные казались белоснежными, как будто подернутые инеем

в колючем воздухе декабрьской ночи. Мимо беззвучно просочился бродяга, за ним другой; таможенный караульный, сабля на боку, по-солдатски чеканил шаг почти у самых бушпритов долгой вереницы кораблей, носами пришвартованных напротив длинной, слегка изогнутой и непрерывной стены из высоких домов, которые казались одним огромным покинутым зданием с бесчисленными плотно затворенными ставнями. В нескольких местах стена отбрасывала желтые отблески света на синеватый глянec мощеной дороги — это свет припортовых кабаков. Проходя мимо, можно было услышать доносящийся изнутри приглушенный гул голосов и больше ничего. Как же тихо было на причалах в ту последнюю ночь, когда я отправился на катере гостем марсельских лоцманов! Ни звука, кроме моих шагов, ни вдоха, ни отдаленного эха привычной оживленности узких загаженных улочек Старого города — и вдруг с жутким скрежетом металла и дребезжанием стекла появился омнибус. Совершая свой последний рейс от площади Жольет, он резко обогнул угол глухой стены, смотрящей через мостовую прямо на угловатую громаду форта Святого Иоанна. Мимо, цокая копытами по гранитной брусчатке, пронеслась рысью тройка лошадей, а за ними, с грохотом подпрыгивая, протряслась совершенно пустая, светящаяся желтым, фантастическая махина; над всем этим рокотом восседал кучер, покачиваясь на своем облучке как будто во сне. У меня перехватило дыхание, я вжался в стену. Сногшибательно! Пройдя на обмякших ногах несколько шагов в тени форта, которая была темнее сгустившейся над каналом облачной ночи, я увидел крохотный луч света от фанаря на причале и заметил еле различимые фигуры, которые двигались к нему с разных сторон. Лоцманы третьей команды спешили на вахту. Слишком сонные для разговоров, они молча поднимались на борт. Редкое кряхтение, звучный зевок. Кто-то даже изрыгнул: «Эх! Черт побери!» — и устало вздохнул над своей тяжелой судьбой.

Начальник третьей команды (в то время в порту, насколько я помню, их было пять) — шурин моего друга Солари, широкоплечий, широкогрудый мужчина лет сорока с открытым

заинтересованным взором, всегда устремленным прямо в глаза собеседнику.

Он приветствует меня глухим сердечным «*Ne, l'ami. Comment va?*» • Аккуратные усы на широком энергичном и в то же время благодушном лице — замечательный образец спокойного южанина. Есть такой тип, в них переменчивая южная страстность преобразуется в силу и основательность. У него светлые волосы, но его никогда не спутаешь с северянином даже при тусклом свете стоящего на пирсе фонаря. Он стоит дюжины обычных нормандцев или бретонцев, однако на всем протяжении средиземноморского побережья не сыскать и полдюжины людей его калибра.

Стоя у румпеля, он вытаскивает из-под теплой куртки часы и склоняет голову к падающему на лодку свету. Время вышло. Приятным, чуть приглушенным голосом он командует: «*Laguez!*» •• Одним резким движением рука срывает с пирса лампу; и лоцманский бот с третьей командой на борту сперва тягой вдоль каната, а затем четырьмя энергичными взмахами весел выскальзывает из-под черной, недвижимой тени форта. Открытые воды аванпорта искрятся в свете луны, словно расшитые миллионами блесков, а длинный белый мол сверкает серебряным слитком. Скрип блоков, шелест взметнувшегося шелка, и вот уже парус наполнился легким бризом, таким студеным, будто он веет с замерзшей луны. После грохота весел лодка как будто остановилась, окруженная таинственным шепотом, слабым и неземным, как шуршание ливня, который с чарующей яркой луны пролился лучами на твердую гладь моря.

Как сейчас помню ту ночь, проведенную в компании лоцманов третьей команды. С тех пор чары лунного света не раз завораживали меня на разных морях и берегах — покрытых лесом, песчаными дюнами, каменистых, — но не было волшебства более совершенного в обнаружении своей истинной природы: как будто вам позволили взглянуть на мистическую суть реальных вещей. За много часов на лодке не прозвучало

- Как дела, дружище? (*франц.*).
- Отдать концы! (*франц.*).

ни слова. Лоцманы сидели рядами друг напротив друга и дремали, скрестив руки на груди и опустив головы. Шапки на них были самые разнообразные: матерчатые, шерстяные, кожаные, фуражки, картузы, с кисточками, было даже один-два колоритных берета, надвинутых на самые брови. Был еще один дед с худым гладко выбритым лицом и огромным клювом. В своем плаще с капюшоном среди нас он походил на монаха, которого бог весть куда увозит команда моряков и чье молчание можно было принять за вечное.

Мне не терпелось взяться за румпель, и в подходящий момент мой друг шкипер уступил его мне — так старый семейный кучер передает вожжи мальчику на спокойном отрезке пути.

Со всех сторон нас окружала великая пустыня. Островки прямо по курсу, Монте-Кристо и замок Иф, ярко освещенные лунной, казалось, плыли нам навстречу — столь плавно и неощутимо двигалось наше судно. «Держись лунной дорожки», — тихо подсказал мне шкипер, усаживаясь на кормовую банку и доставая трубку.

В такую погоду лоцманские лодки вставали не далее мили-двух к западу от островков, и когда мы подошли к заданному месту, лодка, которую мы должны были сменить, внезапно вошла в наш оком, держа курс на порт. Залитое лунным светом поле она вспахала черным, зловещим кливером, а наш парус, должно быть, виделся им белым, ослепительным сиянием. Ни на волосок не отклонившись от курса, мы прошли борт о борт на расстоянии вытянутого весла. С лодки раздалась протяжные насмешливые возгласы. Тотчас же наши полусонные лоцманы все как один вскочили на ноги — будто расколдованные. Поднялся невероятный галдеж — добродушные шутки, ироничные выкрики: жаркая многоголосая переключка не умолкала, пока мы не разошлись бортами; теперь они были залиты лунным светом, под ослепительным парусом, а мы — крошечно-черные удалялись от них под своим кливером. Жуткий переполох стих так же внезапно, как и начался; кому-то надоело, и он сел, за ним другой, потом еще трое-четверо; и когда все перестали бурчать и отпускать матросские шуточки, стал слышен здоровый смех, на который до

этого никто не обращал внимания. Обернутый в домино дед от души веселился где-то в глубине своего капюшона.

Он не стал, как все, выкрикивать шутки и даже не привстал. Он спокойно остался сидеть на своем месте у основания мачты. Еще задолго до этого мне рассказали, что он был старшим матросом второго разряда (*matelot léger*) в эскадре, которая в славном 1830-м отправилась из Тулона на завоевание Алжира. И действительно, я разглядел одну из пуговиц на его старом перелатанном коричневом кителе, единственную из всего разнокалиберного ряда латунную пуговицу, гладкую и тонкую, с гравировкой «*Équipages de ligne*»[•]. Пуговица из тех, что, вероятно, отливались еще при последних французских Бурбонах.

«Это у меня еще со времен службы на флоте», — объяснил он, часто кивая хрупкой, как у грифа, головой. Действительно, вряд ли дед нашел эту реликвию на дороге. Выглядел он настолько старым, что вполне мог участвовать в Трафальгарском сражении или во всяком случае служить пороховой мартышкой на одном из кораблей. Вскоре после того, как нас представили друг другу, он, шамкая дрожащим беззубым ртом, сообщил мне на своем провансальском наречии, что, будучи «таким вот еще шкетом», видел самого императора Наполеона, когда тот возвращался с Эльбы. «Это было ночью, — невнятно, почти безучастно рассказывал он, — в чистом поле между Фрежюсом и Антибом. У перекрестка разложили большой костер. Там собрались все жители нескольких окрестных деревень: и стар и млад, и даже младенцы, потому что женщины отказались сидеть дома». Рослые солдаты в высоких меховых шапках стояли, сомкнув круг, и безмолвно глядели на пришедших. Их суровый взгляд и большие усы отбивали всякую охоту приближаться. Но он, «дерзкий шкет», выскользнул из толпы, подполз на четвереньках к ногам гренадеров насколько хватило духу и между голенищ рассмотрел, как в отблесках костра неподвижно стоял «бледный толстый человек, сложив руки за спиной и склонив большую голову на плечо.

• Линейный экипаж (*франц.*).

В шляпе-треуголке и застегнутой на все пуговицы шинели он чем-то походил на священника. Похоже, что это и был Император», — объяснил старик со слабым вздохом. Вот так, с четверенек, он и смотрел на него во все глаза, пока «бедный папа», который все это время лихорадочно искал повсюду своего мальчика, не напрыгнул на него и не утянул за ухо прочь.

Это было похоже на правду. Он много раз рассказывал мне эту историю в одних и тех же выражениях. Дед жаловал меня особым, несколько обременительным расположением. Противоположности притягиваются: он был многим старше всех членов команды, я же, с позволения сказать, был временно пригретым младенцем. Он служил лоцманом дольше, чем помнили себя его товарищи по команде — лет тридцать-сорок. Он и сам уже не помнил точно, но говорил, что это можно выяснить в архивах лоцманского управления. Дед уже давно был на пенсии, но в силу привычки продолжал выходить в море. И как однажды доверительно шепнул мне мой приятель капитан: «Старина никому не помеха. Под ногами не путается». Они старались уважать его как умели: время от времени то один, то другой заговаривал с ним о каких-то пустяках, но что он там говорил в ответ уже никого особо не заботило. Старик пережил свою силу, свое мастерство, даже свою мудрость. Он ходил в деревянных клогах, длинные зеленые носки грубой шерсти натягивал поверх штанов выше колена, а безволосый череп прикрывал чем-то похожим на шерстяную ночную шапочку. Без своего плаща с капюшоном он бы сошел за крестьянина. Чтобы помочь ему залезть на борт, протягивалось лоджины рук, но после он был предоставлен своим мыслям. Разумеется, никаких работ он не выполнял, лишь иногда мог бросить веревку на окрик: «Эй, старик, страви конец, вон, под рукой» — или что-нибудь в этом роде.

На посмеивание в глубине капюшона никто не обратил внимания. Дед никак не мог угомониться и явно наслаждался своим приступом смеха. Он, очевидно, сохранил почти детскую непосредственность, и его легко было позабавить. Когда же его бурное веселье исчерпало себя, он заметил профессионально уверенным, хоть и дрожащим, голосом:

«В такую ночь работы не жди».

Никто не ответил. Это было понятно и так. Ни один парус не зайдет в порт в такую безветренную ночь, полную призрачного великолепия и одухотворенного безмолвия. Нам предстояло празднично скользить туда-сюда, оставаясь в заданных координатах, и, если на заре не поднимется свежий бриз, еще до восхода причалить к небольшому островку, сгустком застывшего лунного света сиявшему в двух милях от нас, чтобы «преломить корку хлеба и хлебнуть из бутылки вина». Я прекрасно знал порядок. Пузатая лодка, выгрузив гурьбу лоцманов, прижмется облегченным боком к самой скале — в добром расположении духа античное море бывает благосклонным, даже ласковым. Преломив корку и глотнув вина — у этой воздержанной братии больше и не водилось, — лоцманы будут коротать время, топчась по усеянным морской солью каменным глыбам и согревая дыханием натруженные пальцы. Один-два мизантропа отсыдут ото всех и, подобно морским птицам-отшельникам, взгромоздятся на валуны. Более общительные станут крикливо судачить, сбившись в размахивающие руками кружки. Из приютившей меня команды непременно найдется один, кто нацелится на пустой горизонт, прильнув к длинной подзорной трубе. Тяжелая, латунная — убить можно, — она принадлежала всем и постоянно переходила из рук в руки, которые настраивали ее, поворачивая в разные стороны. Затем около полудня (это была короткая смена, длинная тянется полные сутки) другая лоцманская лодка сменит нас, и мы проследуем к древнему финикийскому порту, за которым с пыльного хребта засушливого холма присматривает разлинованная красным по белому громада Нотр-Дам-де-ла-Гард.

Все прошло, как я и предполагал, — в точности как и в предыдущий раз. Правда, случилось и нечто непредвиденное, благодаря чему я и вспоминаю здесь свою последнюю лоцманскую вахту. Именно в этот раз, впервые в жизни, моя рука прикоснулась к борту английского корабля.

Ветер на рассвете так и не поднялся, и только ровный легкий бриз пробирал все резче, а небо на востоке становилось все ярче и прозрачнее в лучах чистого, белого света. Мы все еще

были на островке, когда кто-то увидел в подзорную трубу пароход — черное пятнышко, как насекомое, село на нитку горизонта. Судно уверенно приближалось и вскоре нарисовалось целиком, скрывая только корпус ниже ватерлинии. За стройным силуэтом, наискосок от восходящего солнца, тянулась длинная полоса дыма. Мы быстро погрузились на борт и направились к трофею, но лодка наша едва набирала три мили в час.

Это был большой, высококлассный грузовой пароход, каких больше не встретишь в морях: черный корпус с белыми надстройками, с тремя мощными мачтами и множеством рей в носовой части. Два рулевых у огромного штурвала — о паровых усилителях в те времена еще и не слышали — и рядом на мостике три грузные фигуры в плотных синих бушлатах, с красными лицами, в туго повязанных шарфах и фуражках — вероятно, весь командный состав судна. Есть корабли, название которых я позабыл, хоть и видел не раз и хорошо помню их обличье, но имя судна, явившегося в лучах бледного зябкого восхода лишь однажды много лет назад, я помню до сих пор. Да и мог ли я позабыть его — ведь это был первый английский корабль, чьего борта коснулась моя рука! Он носил имя — я по буквам прочел его на крамболе — Джеймса Уэстола. Не очень-то романтично, скажете вы. То было имя весьма солидного, известного и всемерно уважаемого судовладельца из Северной Англии. Джеймс Уэстолл! Чем не название для почтенного работающего судна? Само сочетание букв оживает передо мной, проникнутое романтическим ощущением, которое я испытал, увидев совершенное изящество парохода, парящего в аскетически чистом свете.

Когда мы приблизились, я, повинувшись внезапному порыву, вызвался грести в шлюпке, которая тотчас же отчалила, чтобы доставить лоцмана на борт. Тем временем наша лодка, овеваемая легким бризом, который сопровождал нас всю ночь, продолжала плавно скользить вдоль лоснящегося черного борта. В несколько гребков мы оказались у корабля, откуда ко мне впервые в жизни обратились по-английски — на языке, который стал моим тайным избранником, языке моего будущего, многолетней дружбы, глубочайших чувств, часов труда и часов

отдохновения, а также уединения — прочитанных книг, передуманных мыслей, памятных волнений, — на языке моих снов! И хотя я, обязанный этому языку всем, что останется после меня, не осмеливаюсь вслух называть его своим, то по крайней мере дети мои могут. Так незначительные события по прошествии времени становятся знаменательными. Что касается самого обращения: нельзя сказать, что оно было каким-то особенно выразительным. Слишком краткое, чтобы быть красноречивым, и лишенное каких-либо приятных интонаций, оно состояло ровно из двух слов: «Эй, поберегись!»

Здоровенный толстяк с выпирающими складками заросшего подбородка прохрипел их над моей головой. На нем была синяя шерстяная рубаша и просторные бриджи, натянутые чуть не до самой груди, которые держались на выставленных напоказ подтяжках. Там, где он стоял, не было бортика, только перила на столбиках, поэтому я смог разглядеть этого обширного мужчину целиком: от ступней до самой вершины черной шапки, нелепым колпаком сидевшей на его крупной голове. Гротескность и массивность фигуры этого матроса (я олагаю, он был именно матросом, и скорее всего матросом-фонарщиком) очень меня впечатлила. Все прочитанные мной книги, все мечты и устремления не могли подготовить меня к встрече с эдаким морским волком. С тех пор хоть сколько-нибудь похожих персонажей я встречал разве что на иллюстрациях к презабавнейшим историям мистера У.У. Джейкобса про баржи и каботажные суда. Однако талант мистера Джейкобса, вдохновенно высмеивающего бедных наивных матросов в своих рассказах, которые, каким бы безумным ни казался их искрометный сюжет, всегда мастерски отражали наблюдаемую реальность, еще не проявился. Впрочем, мистер Джейкобс и сам, может, еще не проявился. Полагаю, в те далекие дни он мог рассмешить разве что свою няню.

А потому, повторяюсь, учитывая ограниченность моего опыта, я не мог быть готов к виду этого старого морского хряка. Обращенной ко мне емкой фразой он хотел привлечь внимание к канату, который и швырнул немедля. Я поймал его, хотя это было излишне: судно уже сбросило ход до нуля.

Дальше все произошло очень быстро. Шлюпка слегка удари-лась о борт корабля; лоцман уже наполовину вскарабкался по штормтрапу, когда я понял, что наша задача выполнена. Сквозь стальную обшивку парохода до меня донесся глухой стук машинного телеграфа, а мой напарник торопил: «Оттолкнись — отчаливаем!» И вот, упершись в гладкий бок первого в моей жизни английского корабля, я почувствовал, как он задрожал под моей ладонью.

Пароход взял чуть западнее, по направлению к едва различимому на фоне города крохотному маяку на волнорезе у площади Жольет. Увязая в поднявшихся волнах, шлюпка выплясывала, разбрызгивала свою морскую джигу; а я обернулся, чтобы проводить «Джеймса Уэстолла» взглядом. Не успел корабль отойти и четверти мили, как на нем подняли флаг — того требовали портовые правила от всех входящих и выходящих из гавани кораблей. Я видел, как он забился, засиял на флагштоке. Ред Энсайн! • В прозрачном, бесцветном воздухе, окутывающем унылые, серые холмы южного берега, его мерклые островки, его бледно-голубое море под бледно-голубым небом в свете холодной зари, то было единственное, насколько хватало глаз, яркое пятно — пылающее и насыщенное, а уже через мгновение — всего лишь красная искорка, которая в самом сердце хрустального шара возжигается преломлением света гигантского пламени. Ред Энсайн — символ, защита, плоть от плоти Британской империи, он свободно развевался над морями, и на долгие годы ему суждено было стать единственным кровом над моей головой.

• Флаг британского торгового флота.

Рассказы

Возвращение

Поезд из Сити, мчащийся по кольцевой линии, стремительно вырвался из черной дыры тоннеля и с разноголосым скрежетом остановился в грязноватых сумерках на одной из станций Уэст-Энда. Черода дверей распахнулась, и на платформу спешно сошли пассажиры благообразного вида: все в цилиндрах, темных пальто и безупречно вычищенных ботинках; руки в перчатках сжимали тонкие зонтики и наспех сложенные вечерние газеты, напоминавшие скомканное грязное тряпье — зеленоватое, розоватое, выцветшее. Алван Хёрви с тлеющей сигарой в зубах сошел вместе со всеми. Неопрятная маленькая женщина в полинявшем черном платье, увешанная свертками, отчаянно бежала по платформе, в последнюю секунду вскочила в вагон третьего класса, и поезд тронулся. Отрывисто и враждебно, как выстрелы, хлопали вагонные двери. Порыв ледяного ветра, смешавшись с едким запахом дыма, пронесся по платформе, и дряхлый старик, закутанный по уши в шерстяной шарф, резко остановился посреди движущейся толпы и люто закашлялся, навалившись на палку. Никто на него даже не взглянул.

Алван Хёрви прошел через турникет. Вдоль голых стен, по грязной лестнице проворно взбирались люди; со спины они все были похожи — как если бы носили форму; равнодушные лица различались, но некое сходство все же угадывалось, как между братьями, которые из осторожности, гордости, неприязни или предусмотрительности решили игнорировать друг друга; и бегающий или застывший взгляд их карих, черных, серых и синих глаз, уставившихся в пыльные ступени, выражал

одно и то же: сосредоточенность и пустоту, удовлетворенность и беспечность.

На выходе они рассеивались в разных направлениях, спешно отдаляясь друг от друга с таким видом, словно бежали от чего-то компрометирующего: близости или откровенности, подозрений или тайн; бежали, как от правды или чумы. Алван Хёрви на мгновение замешкался, стоя один в дверном проеме, но все-таки решил отправиться домой.

Он шагал твердо. Морось оседала, подобно серебряной пыли, на одеждах, на усах; увлажняла лица, лакировала брусчатку, чернила стены, капала с зонтов. И он шел сквозь дождь с небрежной безмятежностью, со спокойной легкостью человека успешного и высокомерного, очень уверенного в себе — человека, у которого и денег, и друзей в избытке. Он был высок, строен, хорош собой и здоров; под обыденной утонченностью его бледного ясного лица проглядывала властная жестокость, воспитываемая свершениями, которые не требовали большого труда, и успехами в состязаниях или в искусстве делать деньги; умением управляться с животными и бедняками.

Он не стал заходить в клуб и потому возвращался из Сити раньше обычного. Алван считал себя человеком умным, образованным, со связями и положением. А как иначе? Однако ж и ум, и образование, и связи его строго соответствовали тому кругу, в котором он вел дела и проводил свободное время. Пять лет назад он женился. В ту пору все его знакомые говорили, что он влюбился по-настоящему; он и сам в это верил, ведь это так естественно, что всякий мужчина однажды влюбляется — и только вдовцу не возбраняется полюбить еще раз. Это была высокая, белокурая, цветущего вида девушка, и, по его мнению, она была умна, образована, со связями и положением. В родительском доме ей было невыносимо скучно, словно в запертом чулане; ее индивидуальности — к которой она относилась со всей серьезностью — негде было разгуляться.

У нее был широкий, как у гренадера, шаг, она была сильной и прямой, как обелиск; красивое лицо, высокий лоб, ясные глаза и ни единой собственной мысли в голове. Алван спешно

поддался ее чарам: ее достоинства казались ему столь беспорными, что он, не колеблясь ни секунды, объявил себя влюбленным. Под покровом этой священной поэтической выдумки он возжелал ее. У его желания было много оснований, но главное — он хотел овладеть ею по праву. К своей цели он шел с постной торжественностью, хотя на то не было никаких причин, кроме желания скрыть свои чувства — желания в высшей степени пристойного. Впрочем, поведи себя Алван иначе, никто бы не удивился, ибо чувство, которое он испытывал, действительно было страстью — не более предосудительной, чем страсть, которую испытывает к своему обеду голодный человек, хотя, вне сомнения, это было чувство более сильное и чуть более сложно устроенное.

После свадьбы они занялись расширением круга знакомств, и не без успеха. Тридцать человек знали их в лицо; еще двадцать из должного гостеприимства с улыбкой терпели их нечастое присутствие; по крайней мере пятидесяти стало известно об их существовании. Они вращались в большом мире среди достойнейших мужчин и женщин, которые боялись своих чувств, желаний и неудач больше, чем пожара, войны и смертельной болезни; они признавали лишь самые общепринятые выражения самых расхожих мыслей и брали в расчет только удобные истины. Общество это было чрезвычайно приятным, просто обитель добродетели, там не было места рефлексии, а все радости и горести низводились до уровня обыденных удовольствий и мелких неприятностей. В этом безмятежном мире, где благородные чувства насаждались достаточно густо, чтобы скрыть безжалостный прагматизм мыслей и устремлений, Алван Хёрви и его жена провели пять лет в благоразумном блаженстве, незамутненном сомнениями относительно высокой нравственности их существования.

Она, надо отдать должное ее индивидуальности, занялась всеми возможными видами благотворительной деятельности и стала членом всевозможных обществ спасения и преобразований под покровительством или председательством титулованных леди. Он стал живо интересоваться политикой; и, случайно встретившись с одним писателем — который тем не

менее состоял в родстве с неким графом, — вынужден был финансировать отживавший свой век печатный орган. Это было квазиполитическое издание, одиозность которого лишь отчасти искупалась непомерной скукой. Поскольку на страницах этого в высшей степени безыдейного издания не случалось ни проблеска остроумия, ни намек на злободневность или протест, то с первого же взгляда Алван Хёрви считал его достаточно респектабельным. Впоследствии, когда его вложения окупались, он быстро смекнул, что в целом — это дело благое. Газета подкрепила его растущие амбиции; кроме того, он получал удовольствие от нового ощущения собственной значимости, которую давала ему эта связь с тем, что казалось ему литературой.

Эта связь еще больше расширила их круг. В их доме стали бывать ловкие писаки и рисовальщики, а редактор так и вовсе зачистил. Хёрви считал, что тот похож на осла из-за больших передних зубов (зубы полагалось иметь маленькие и ровные) и шевелюры чуть длиннее, чем принято. Впрочем, длинные волосы носили даже герцоги, а парень, несомненно, знал свое дело. Самым неприятным было то обстоятельство, что при всей его предельной, близкой к идеалу напыщенности, на серьезного господина он не походил. Элегантный и грузный садился он в гостиной, набалдашник трости парил перед его большими зубами, и разговаривал часами, толстогубо улыбаясь. Он не говорил ничего, что можно было счесть сомнительным или неприличным, речь его была причудлива — не сразу понятно, что в ней раздражало. Прямой нос под необычайно высоким лбом терялся меж гладких щек, мягкой линией переходивших в подбородок, по форме напоминавший снегоступ.

Лицом он походил на пухлого, не по возрасту сведущего ребенка, и на этом лице блестели проницательные, недоверчивые черные глаза. Он еще и стихи сочинял. В общем — осел ослом. Но те, кто волочился за фалдами его монументального фрака, казалось, находили в его речах прекрасное. Алван Хёрви считал это рисовкой. Артистический народ, помимо всего прочего, так претенциозен. Однако все это было очень кстати и даже выгодно, а кроме того, нравилось его жене, будто и она получала некую особенную тайную выгоду от этой

интеллектуальной связи. И разношерстных и благопристойных гостей она принимала с таким высоким, тяжеловесным, присущим ей одной изяществом, что в сознании оторопевших новичков всплывали нелепые и неподобающие образы слона, жирафа, газели; готической башни или ангела переростка. Ее четверги становились популярны в их окружении, а окружение неуклонно росло, захватывая улицу за улицей. Оно уже включало в себя и Сады Таких-то, а Бульвар Сяких-то, и даже парочку площадей.

Так Алван Хёрви и его жена и прожили подле друг друга пять благополучных лет. Со временем они узнали друг друга достаточно для комфортного сосуществования, но к по-настоящему близким отношениям они были способны не более пары лошадей, которые питаются из одной кормушки и спят под одной крышей в роскошном стойле. Его страсть была утолена и обернулась привычкой; у нее же были свои цели — сбежать из-под отчего крова, утвердить свою индивидуальность и двигаться в своем направлении (гораздо более перспективном, чем родительское); иметь свой дом, свою долю признания, зависти и одобрения. Они осторожно прощупывали друг друга, словно пара бдительных сообщников в выигрышном деле; поскольку оба были не в состоянии воспринимать события, чувства, принципы или убеждения иначе, чем в свете своего положения, своей популярности или собственной выгоды. Они скользили по поверхности жизни рука об руку в ясном и морозном воздухе — как два опытных конькобежца, выписывающих фигуры на толстом льду к восхищению зрителей и пренебрегающих скрытым течением, течением неугомонным и смутным; течением жизни, глубинным и незамерзающим.

Алван Хёрви дважды повернул налево и один раз направо, прошел вдоль двух сторон площади, в центре которой группа окороченных деревьев жалась в уважаемом плечу железной ограды, и позвонил в свою дверь. Ему открыла горничная. По прихоти жены прислуга в доме была только женского пола. Фраза, которую девушка произнесла, принимая у него шляпу и пальто, заставила его посмотреть на часы. На часах было пять, и жены не было дома. Но в этом не было

ничего необычного. Он сказал: «Нет, не надо чая», — и проследовал наверх.

Он бесшумно поднимался по лестнице. Тускло поблескивали медные прутья поверх красной ковровой дорожки. На площадке второго этажа мраморная женщина, целомудренно укутанная в камень от шеи до пят, тянула безжизненную ножку к краю пьедестала; в ее слепо выброшенной вперед белой руке был зажат канделябр. Дома Алван мог позволить себе изящный вкус. За приоткрытыми тяжелыми шторами темнели углы. На богатых тисненых обоях висели наброски, акварели, гравюры. Видно, что вкус изящный, даже артистический. Башни старинных церквей выглядывали над кронами деревьев; холмы были пурпурными, пески — желтыми, моря — солнечными, небеса — голубыми. Молодая леди с мечтательными глазами возлежала в крепко привязанной шлюпке, компанию ей составляли корзина для пикника, бутылка шампанского и влюбленный мужчина в джемпере. Босоногие мальчишки умильно флиртывали с девочками в лохмотьях, спали на каменных ступенях, забавлялись с собаками. Истощенная юная цветочница прислонилась спиной к голой стене; воздев затухающие глаза, она протягивала цветок. Рядом висели большие фотографии знаменитого искалеченного временем барельефа — застывшей в камне резни.

Ни один предмет в интерьере дома, разумеется, уже не задерживал на себе взгляд хозяина, он поднялся еще на один пролет и прошел напрямиком в гардеробную. Светильник в гардеробной был выполнен в виде бронзового дракона — кончиком закручивающегося ровными кольцами хвоста он крепился к кронштейну на стене; из пасти, должным образом оскаленной, вырывалось, подобно бабочке, пламя светильного газа.

В гардеробной, конечно, никого не было, но стоило ему войти, как в комнате замельтешили люди. Зеркальные дверцы платяных шкафов и большое, в полный рост, зеркало жены отразили его с головы до пят, размножили, заполнив пространство благообразными двойниками. Одинаково одетые, с одинаково сдержанными и безупречными манерами, они двигались, когда он двигался, послушно останавливались, когда

останавливался он, в них было ровно столько жизни и чувства, сколько он считал допустимым демонстрировать для приличного человека. Подобно живым людям — рабам чужих не самых оригинальных мыслей, они нарочитым многообразием движений создавали впечатление, что ни от чего не зависят. Двигаясь вместе с ним, они то приближались, то отступали, то появлялись, то исчезали: иногда казалось, что они прячутся за мебелью орехового дерева, чтобы вновь возникнуть в глубине полированных пространств. Они расхаживали, почти осязаемые и совершенно эфемерные, в достоверной иллюзии комнаты. И подобно всем мужчинам, которых он уважал, в двойниках можно было не сомневаться: ничего характерного, оригинального или ошеломляющего — ничего непредусмотренного или неуместного они не совершат.

Некоторое время он бесцельно перемещался в этой приятной компании, напевая популярную, и все же изысканную мелодию и рассеянно обдумывая деловое письмо из-за границы, на которое завтра утром надлежало написать осторожный и уклончивый ответ. Затем, подойдя к шкафу, он увидел в высоком зеркале край стоявшего за его спиной туалетного столика жены и, среди блеска оправленных в серебро вещей, — белый край конверта. Это было столь неожиданно, что он обернулся едва ли не раньше, чем осознал свое удивление. Все двойники подле него повернулись на каблучках. Все выглядели удивленными. Все быстро подошли к конвертам на туалетных столиках. Он узнал почерк жены и увидел на конверте свое имя. Пробормотал «чрезвычайно странно», а затем почувствовал раздражение. Не говоря уже о том, что любая странность — сама по себе неприлична, факт причастности к ней его жены был вдвойне оскорбителен. Как же нелепо писать ему, зная, что он будет дома к ужину, но оставлять письмо вот так — на виду — показалось ему такой дикостью, что при мысли об этом он внезапно испытал смутное чувство опасности, абсурдное и причудливое ощущение, будто дом дрогнул под его ногами. Он разорвал конверт, взглянул на письмо и опустился в ближайшее кресло.

Он держал листок бумаги перед глазами, вчитываясь в поддюжины наспех написанных строчек, пораженный

звучной бессмыслицей, яростной, как звук гонгов или бой барабанов. Этот шум как будто заглушал его собственные мысли, лишал его всякой возможности думать. Этот неясный назойливый гул, казалось, исходил от написанных слов, сочился меж дрожащих пальцев. Внезапно он отбросил письмо как что-то обжигающее, или ядовитое, или грязное и, кинувшись к окну с видом человека, ставшего свидетелем пожара или убийства, чтобы поднять тревогу, распахнул его и высунул голову.

В лицо ударил порыв ледяного ветра, блуждающего в промозглой прокопченной тьме, нависшей над пустошью крыш и дымовых труб. Его взору представился бескрайний мрак, в котором угадывался черный лабиринт стен, а между ними — бесчисленные ряды газовых фонарей, стройной вереницей уходящие вдаль, словно огненное ожерелье. Зловещий отблеск, будто от далекого пожарища, тускло мерцал сквозь туман, ложась на застывшие волны черепицы и кирпича.

От стука открывшегося окна мир, казалось, выскочил из темноты и бросился на него, в то же время до слуха его долетел неясный и густой звук — глухое бормотание чего-то огромного и живого. Этот шум, проникнув внутрь, наполнил его тревогой. Он беззвучно ловил воздух ртом. С расположенной на площади стоянки извозчиков отчетливо донеслись хриплые голоса и глумливый смех, прозвучавший пугающе резко и безжалостно. Даже с угрозой. Он втянул голову обратно, словно прячась от занесенного над ним удара, и захлопнул окно. Сделав несколько шагов, он наткнулся на кресло, затем, преодолевая себя, собрался с духом и попытался ухватиться за мысль, порвавшую по опустевшей голове.

Наконец, он за нее ухватился, но это потребовало больших усилий, чем он рассчитывал; он слегка покраснелся и запыхался, как будто ловил ее руками. Мысль он ухватил, но удерживал ее с таким трудом, что счел необходимым произнести вслух — чтобы, проговорив ее, овладеть ею в полной мере. Но он не желал слышать собственный голос, как и любой другой звук, и это нежелание было обусловлено смутной, постепенно возрастающей уверенностью, что уединение и тишина составляют величайшее счастье человечества. В следующий

момент его осенило, что это совершенно недостижимо — и лица придется видеть, и слова говорить, и мысли выслушивать. Все слова, все мысли!

Он отчетливо произнес, глядя на ковер: «Она ушла».

Это было невыносимо: не сам факт, но слова, заряженные темной энергией смысла; слова, которые, казалось, имеют волшебную силу призывать на грешную землю фатум; похожие на те странные, пугающие обрывки фраз, что порой слышатся во сне. Слова звенели вокруг него в металлическом воздухе, тяжелом, как железо, и гулком, как бронзовые колокола. Глядя на носы своих ботинок, он вдумчиво вслушивался в удаляющуюся волну звуков, которая расходилась широкими кругами, охватывая улицы, крыши, колокольни, поля, и, отступая все дальше, расходилась в бесконечную даль, туда, где он не мог уже ни слышать, ни представить ничего — туда...

«И с этим... ослом», — снова произнес он совершенно невозмутимо. Сплошное унижение. И ничего больше. Он не мог обнаружить ни намека на душевное утешение в сложившейся ситуации — как ни крути, со всех сторон боль. И только. Но что это за боль? Ему подумалось, что у него должно быть разбито сердце. Но через мгновение понял, что его муки совсем не такие пустяковые и возвышенные. Это было что-то гораздо более серьезное и имело больше общего с теми острыми и жестокими ощущениями, которые пробуждает в человеке пинок или удар хлыстом.

Он почувствовал себя очень больным — физически, — как будто съел что-то нехорошее. Жизнь, которая человеку с четко отлаженным сознанием должна была представляться достойной восхищения, показалась ему на секунду-другую совершенно невыносимой. Хёрви подобрал письмо, лежавшее у его ног, и сел, намереваясь как следует его обдумать, чтобы понять, почему его жена — его жена! — вздумала оставить его, отказаться от уважения, комфорта, спокойствия, приличий, положения, бросить все — и ради чего?! Он принялся обдумывать скрытую логику ее действий — хотя подобные размышления больше подошли бы для досуга в сумасшедшем доме, — но так и не смог ее уловить. Он рассматривал свою жену со всех

сторон, кроме самой главной. Он видел в ней хорошо воспитанную барышню, жену, образованного человека, хозяйку дома, леди, но никогда не видел в ней просто женщину.

Тут новая, еще более яростная волна унижения захлестнула его разум, не оставив ничего, кроме чувства незаслуженного позора. За что? Как получилось, что именно он оказался впутан в столь отвратительную комедию! Это уничтожило все преимущества его хорошо организованного прошлого. Одна единственная правда — несправедливая и действенная, как клевета, — и прошлое погублено. Она вскрыла его несостоятельность — его очевидную неспособность видеть, оберегать, понимать. Это невозможно отрицать, это невозможно оправдать или выбросить из головы. Невозможно знать об этом и изображать спокойствие. Ах, если бы она умерла!

Да! Вот бы она умерла! Он уже почти завидовал такой респектабельной и тяжелой утрате, утрате столь безупречной и незапятнанной злосчастьем, что даже лучший друг и закадычный враг не испытали бы и секунды радостного возбуждения. Никому и дела бы не было. Он искал утешения, цепляясь за образ и созерцание той единственной стороны жизни, которая решительными усилиями человечества неизменно скрывалась за трескотней высокопарных фраз. Ведь ничто так не подвержено лжи, как смерть. Если бы только она умерла! Нужные слова были бы сказаны печальным тоном, и он подобающе на них ответил с приличной случаю сдержанностью.

Такое уже случалось. И действительно, никому бы не было дела. Если бы только она умерла! Упования, страхи, надежды на вечную жизнь — это все для мертвецов; подлинная сладость бытия дана лишь живым и здоровым. А его интересовала именно жизнь: то здоровое, приносящее радость существование, не обремененное ни сильной любовью, ни крупными разочарованиями. И она вторглась в эту безоблачную жизнь; исковеркала ее. И тут он вдруг понял, что жениться было безумием. Это противоестественно так отдаваться, так раскрывать — пусть даже на мгновение — свое сердце. Но ведь все женятся. Неужели все безумны?!

Потрясенный этой неожиданной мыслью, он поднял глаза и увидел слева и справа и перед собой мужчин, которые сидели в глубоких креслах и смотрели на него одичалыми глазами, — представители обольщенного рода человеческого, явившиеся без приглашения, чтоб поглядеть на его боль и унижение. Это было невыносимо. Он быстро встал, и все они тоже вскочили. Он стоял неподвижно в центре комнаты, как будто обескураженный их бдительностью. Никакого спасения! Он почувствовал нечто похожее на отчаяние. И ведь все узнают. А слуги узнают уже сегодня вечером. Он заскрежетал зубами... А он ничего не заметил, ни о чем не догадался. Узнают все.

Он подумал: «Эта женщина — чудовище, но все сочтут меня глупцом»; и, замерев в окружении строгой мебели орехового дерева, он ощутил внутри себя боль столь мучительную, что ему привиделось, будто он катается по ковру и бьется головой о стену. Ему был отвратителен он сам, этот тошнотворный наплыв эмоций, снесший все барьеры, что охраняли его достоинство. Что-то неизведанное, опустошительное и губительное проникло в его жизнь, прошло рядом, коснулось его, и вот он пошел трещинами. Он был в ужасе. Что это было? Она ушла. Почему?

Он так силился понять ее действия и испытанный им пронизывающий ужас, что голова его чуть не лопалась. Все изменилось. Почему? Подумаешь, ушла жена. Однако ему было видение, краткое и яркое, как сон. Все, что в этом мире казалось ему нерушимым и надежным, разваливалось в нем на куски, как рушатся крепкие стены под яростным дыханием урагана. Он смотрел перед собой, дрожа всем телом, и ощущал, что разрушительное, таинственное дыхание страсти возмущает глубокий покой этого дома. Он в страхе оглянулся. Да. Преступление можно простить; нерасчетливую жертву, слепое доверие, пламенную веру, прочие глупости можно обратить себе на пользу; страдание и саму смерть можно оправдать с усмешкой или угрюмо; но страсть — это непростительное и тайное бесчестие наших сердец, то, что полагается проклинать, прятать и отрицать; бесстыдная и отчаянная, она попирает добрые надежды, срывает маску безмятежности, оголяет до костей.

И вот эта страсть пришла к нему! Наложила свою нечистую руку на безупречное убранство его существования, и он оказался с ней лицом к лицу у всего мира на глазах. У всего мира! Да одно лишь подозрение, что у него в доме объявилось такое проклятье, несло позор и осуждение. Он выставил вперед обе руки, будто пытаясь оградить себя от этой постыдной правды; и тотчас же комитет объятых ужасом потусторонних мужчин, безмолвно стоящих за гладкими поверхностями зеркала, ответил ему тем же жестом отвержения и ужаса.

Он заметался взглядом по сторонам, как человек, в отчаянии ищущий оружие или укрытие, и наконец осознал, что враг, готовый недрогнувшей рукой пронзить ему сердце, загнал его в угол. Ни на помощь, ни даже на самого себя рассчитывать не приходилось: внезапный шок от ее исчезновения смешал в единую массу сантименты, что были порождением его воспитания, предрассудков и окружения, и непривычные, глубинные чувства, не имевшие ничего общего с образованием, убеждениями и классовой принадлежностью. Он не мог ясно отличить реальное от должного, непростительную истину от подобающего притворства. Интуитивно он понимал, что от правды толку мало. Необходимым представлялось как-то все это скрыть, ведь объяснить было попросту невозможно. Какое там! Да и кто станет слушать? Чтобы сохранить свое место под солнцем в первом ряду, нужно быть незапятнанным, нужно быть безупречным.

Он сказал себе: «Я должен с этим справиться. Я должен быть на высоте», — и принялся мерить шагами комнату. А дальше что? Что делают в таких случаях? Мелькнула мысль: «Отправляюсь в путешествие! Нет, останусь. Не трус же я». После этой сентенции его изрядно приободрило предположение, что, если он останется, сыграть свою роль в этом спектакле ему будет нетрудно, — у него и реплик-то не будет, ведь никто и не подумает обсуждать с ним омерзительный поступок *этой женщины*. Он постарался убедить себя, что добропорядочные люди — а с другими он не знался — не сочтут нужным обсуждать такую деликатную тему. Сбежала — с этим талым писакой, с этим откормленным ослом. Но почему? Ведь он был

образцовым мужем. Он дал ей положение в обществе, она шла с ним рука об руку, он всегда был с ней чрезвычайно предупредителен. Воспоминания об этом наполнили его безотрадной гордостью. Тогда почему? Во имя любви? Какая пошлость! О какой любви там может идти речь? Постыдный порыв страсти. Да, страсти. И это у его-то собственной жены! Боже правый!..

И тут скандальность его семейной неурядицы вызвала в нем такое острое чувство стыда, что в следующий момент он поймал себя на абсурдной мысли: не распустить ли молву, будто он поколачивал жену, чтобы выглядеть хоть сколько-нибудь достойнее. Иные бьют... да любая ложь будет пригляднее этой мерзкой правды; ибо совершенно ясно, что за все пять лет он не смог разглядеть в ней корень зла — а это страшный позор. Все что угодно! Да хоть побои... Но он тут же отбросил эту мысль и начал думать о суде по бракоразводным делам. Но, несмотря на все его уважение к закону и правоприменению, суд не представлялся ему достойным прибежищем для человека, пораженного горем, но не сломленного. Он виделся, скорее, грязной и мрачной пещерой, куда злой рок затягивает мужчин и женщин и заставляет их нелепо корчиться в присутствии непрелюбимой истины. Этого нельзя допустить. Ах, эта женщина!

Пять... лет... Пять лет в браке... и так ничего и не разглядеть. До самого последнего дня... до ее равнодушного ухода. И он представил себе, как его знакомые будут судачить, был ли он все эти годы слеп, глуп или влюблен до беспамьятства. Что за женщина! Слепец!.. Вовсе нет. Мог ли человек с чистыми помыслами вообразить подобную порочность? Очевидно, что не мог. Стало легче дышать. Так и нужно к этому относиться, это было даже благородно. Подобное отношение давало преимущество, и он считал его вполне высоконравственным. Он искренне жаждал увидеть всеобщее торжество нравственности (в своем лице). Что до нее, ее забудут. Пусть будет она позабыта, погребена в забвении, пускай исчезнет! Никто и не намекает... Люди утонченные — а в его кругу иных и не водилось, — конечно, бежали подобных тем. Не так ли? О, да. Никто не упомянул бы о ней... в его присутствии. Он топнул ногой и разорвал письмо пополам, затем еще и еще. Мысль о сочувствующих друзьях

разбудила в нем ярость недоверия. Он отшвырнул клочки бумаги. Те, трепеща, опустились у его ног, пронзительно белые на темном ковре, похожие на рассыпанную горсть снега.

Приступ безудержного гнева сменила внезапная грусть, будто на тропу мысли, темнеющую на иссохшей равнине сердца, выжженной безжалостными лучами солнца, прохладой облачной завесы опустилась печаль. Он осознал, что испытал потрясение — и это был не жестокий, сокрушительный удар кулаком, который можно заметить, сдержать, ударить в ответ, а потом забыть, но вероломный и проникающий удар клинком, разбередивший все те потаенные и жестокие чувства, что проискамы дьявола, человеческими страхами, а может, безграничным состраданием Господа заперты в непроглядных сумерках наших сердец.

Перед ним как будто приподнялся темный занавес, и менее чем на секунду ему предстала таинственная вселенная духовных терзаний. Как в ярком свете молнии нам открывается необъятный живой пейзаж, так за одно мгновение обнажилась перед ним вся безмерность боли, что может быть заключена в одном кратком миге человеческой мысли. Занавес упал, но мимолетное видение оставило в сознании Алвана Хёрви след непреодолимой грусти, чувство потери и горького одиночества, как будто его ограбили и вышвырнули вон. На мгновение он забыл, что является членом общества с определенным положением, карьерой, и именем, которое прилагалось ко всему вышеперечисленному, подобно этикетке с описанием состава сложной микстуры. Отторгнутый восхитительным миром бульваров и площадей, он стал обычным человеком. Одиноким, голым и испуганным, стоял он подобно Адаму в день грехопадения. Случаются в жизни события, встречи, взгляды, которые способны безжалостно перечеркнуть все, что было. Лязг и грохот, как будто вероломная рука судьбы захлопнула за тобой двери. Глупец ты или мудрец — иди ищи другой рай. После момента глухого отчаяния скитаниям суждено начаться вновь; болезненные оправдания, лихорадочные поиски утраченных иллюзий, возделывание в поте лица нового урожая лжи — все ради поддержания жизни, чтобы она была терпимой и достойной

и чтоб до следующего поколения слепых скитальцев в целости и сохранности дошло пленительное сказание о бесплодной стране и о земле обетованной, где все цветы да благодать...

Слегка вздрогнув, он вернулся к реальности, и гнетущее, сокрушительное отчаяние вновь овладело им. Всего лишь движение души, но оно причинило ему физическую боль — грудь будто зажало в тисках. Он ощущал себя таким покинутым и жалким, был так подавлен гнетущим его горем, что еще немного — и из глаз ручьем польются слезы. Он разваливался на глазах. Пять лет совместной жизни утолили его страсть. Да, это произошло не вчера. Что там, для этого хватило первых пяти месяцев — но... оставалась привычка — он привык к ней, к ее улыбке, ее жестам, ее голосу, ее молчанию. У нее был чистый лоб и прекрасные волосы. До чего же все это исключительно скверно! Прекрасные волосы и дивные глаза — бесподобно дивные. Он был потрясен, сколько подробностей стало всплывать в его памяти помимо воли. Сам того не желая, он вспоминал ее шаги, шелест ее платья, манеру держать голову, то, как решительно она произносила «Алван», как трепетали ее ноздри, когда она была раздражена... Раньше он всем этим владел безраздельно, это была его исключительная и сокровенная собственность! Подводя итоги своих потерь, он тихо и скорбно ярился.

Он походил на человека, подсчитывающего убытки от неудачной сделки — раздраженный, подавленный, — он был зол на себя и на других, на удачливых, равнодушных, на бессердечных; при этом нанесенная ему обида казалась столь жестокой, что если б он не знал, что мужчины не плачут, то, возможно, и пустил бы слезу. Вот иностранцы плачут; в подобных обстоятельствах они иногда даже убивают. К своему ужасу он уже почти сожалел о том, что обычаи общества, готового оправдывать стрельбу в грабителя, в данных обстоятельствах запрещают ему даже думать об убийстве. Тем не менее он сжал кулаки и стиснул зубы. И в то же время испытал страх. Страх столь пронизывающий и разрушительный, что, казалось, в любую секунду сердце может превратиться в горсть праха.

Яд ее злодеяния просочился повсюду, отравил мироздание, отравил его самого; он пробудил все дремлющие пороки

этого мира; он наделил его страшным даром провидения, представив его взору города и бескрайние просторы земли, с ее святыщами, храмами и домами, населенными чудовищами — двуличными, похотливыми, кровожадными чудовищами. Она была чудовищем — его самого обуревали чудовищные мысли... и все же он был таким же, как все. Сколько их таких сейчас на свете, мужчин и женщин, низвергнутых в пучину скверны, замысляющих злодеяния. Страшно даже подумать. Он вспомнил улицы: все эти respectable улицы, по которым он возвращался домой; все эти бесчисленные дома, запертые двери, занавешенные окна. Каждый такой дом теперь казался ему пристанищем безрассудства и боли. И тут мысль его застыла, словно испугавшись, — ее оборвали воспоминания о той чинной, тревожной, будто бы заговорщической, тишине; зловещей, мертвой тишине бесконечных стен, укрывающих людские страсти, муки и преступные помыслы. Он, конечно, такой не один; и его дом не исключение... при этом никто ничего не знает, никто не догадывается. А вот он теперь знал. Знал доподлинно, что стены, запертые двери и занавешенные окна — вся эта благопристойная тишина его уже не обманет. От захлестнувшего его отчаяния он не находил себе места, словно человек, который узнал о тайной угрозе, нависшей над всем родом человеческим, над гармонией и самим таинством жизни.

Он заметил свое отражение в одном из зеркал. И испытал облегчение. Он так исстрадался, что уже готов был увидеть искаженное, безумное лицо, и был приятно удивлен, не заметив ничего подобного. Во всяком случае никто не разгадал бы его боли. Он внимательно изучил себя. Брюки подвернуты, на ботинках немного грязи, в остальном же он выглядел как обычно. Только волосы чуть взъерошены, но этот беспорядок так явно намекал на его беду, что он бросился к столу и взялся за щетки в отчаянном желании скрыть эту улику, единственный след его эмоций. Он тщательно приглаживал волосы, следя за результатом своих стараний. Из зеркала на него смотрело слегка бледное, более напряженное, чем хотелось бы, лицо. Он положил щетки, но остался недоволен. Взял снова и механически водил ими по голове, забывшись за этим занятием.

Бурное течение мыслей спало, сменившись неторопливым потоком раздумий, подобно тому, как едва различимое движение лавы, вяло ползущей после извержения вулкана по застывшей в судороге земле, безжалостно стирает всякую память об ужасе землетрясения. Явление разрушительное, но по сравнению с извержением — выглядит куда спокойнее. Алван Хёрви почти утешился мерным движением своих мыслей. Нравственные ориентиры, один за другим, исчезали в огне его переживаний, тонули в обжигающей жиже и пепле. Он остывал — снаружи. Но внутри еще хватало жара, чтобы, бросив щетки на стол, отвернуться и яростно прошипеть: «Пусть он повеселится... Будь проклята эта женщина».

Он чувствовал себя совершенно раздавленным ее прочностью, но самым явным признаком его морального краха было горькое, едкое удовлетворение, с которым он его осознавал. Хёрви принялся мысленно браниться, презрительно ухмыляться, упиваясь цинизмом и неверием, и вот уже самые заветные его убеждения обернулись предрассудками узколобых глупцов. В голову его закралась свора беспорядочных, нечистых мыслей, словно банда прячущих лица злоумышленников, спешащих на дело. Он засунул руки поглубже в карманы. И, услышав слабый звон, пробормотал: «Не я один... не я один».

Еще звонок. Парадная дверь!

Сердце подскочило к горлу и тотчас ушло в пятки. Звонок! Кто? Зачем? Ему захотелось выскочить на лестницу и крикнуть прислуге: «Нет дома! Уехал за границу!» Любую отговорку. Он не мог никого видеть. Только не сегодня. Лучше завтра... Прежде чем Хёрви смог вырваться из оцепенения, которое окутало его, словно свинцовый лист, он услышал, как много ниже, будто в недрах земли, тяжело закрылась дверь. Дом содрогнулся сильнее, чем от раската грома. Он стоял неподвижно и хотел только одного — стать невидимым. В комнате было очень холодно. Он и не думал, что способен на такие чувства. Однако от людей не скрыться: придется встречать их, беседовать, улыбаться. Он услышал, как уже совсем рядом другая дверь — дверь гостиной — открылась и снова захлопнулась. На гноение ему показалось, что он вот-вот упадет в обморок.

До чего ж нелепо! Нужно уметь справляться с подобными ситуациями. Послышался голос. Он не мог разобрать ни слова. Голос раздался снова. Этажом ниже слышались шаги. Пропади оно пропадом! Неужели он обречен слышать этот голос и эти шаги всякий раз, когда кто-то говорит или ходит? Он подумал: «Это как наваждение. Будет преследовать с неделю или около того. Пока не удастся забыть. Забыть! Забыть!» Шаги слышались все ближе — уже на втором пролете. Прислуга? Хёрви прислушался, затем, словно ему издали прокричали что-то страшное и невозможное, он, стоя в пустой комнате, внезапно проревел в ответ: «Что?! Что?!» — да таким зверским голосом, будто хотел сам себя поразить. Шаги стихли перед дверью. Он застыл с разинутым ртом, иступленный и обездвиженный, человек в эпицентре катастрофы. Дверная ручка дрогнула. Ему показалось, что стены вокруг него рушатся, что мебель вот-вот его придавит. Потолок на мгновение странно накренился, высокий платяной шкаф готов был опрокинуться. Хёрви уцепился за что-то — это была спинка стула. Что ж, он вверит себя стулу. Эх! Будь оно все проклято! Он сильнее сжал пальцы.

Огненная бабочка, замершая в пасти бронзового дракона, вдруг польхнула, озарив все грубым слепящим светом, в котором он едва различил фигуру жены, стоявшей прямой спиной к закрытой двери. Он смотрел на нее и не мог слышать ее дыхания. На нее падал резкий, безжалостный свет, и он был поражен, что она оставалась непоколебимо прямой даже в этом палящем сиянии, объявшем ее раскаленным маревом. Если бы она растворилась в нем так же внезапно, как возникла, он бы не удивился. Он смотрел и вслушивался, но его окружала абсолютная тишина, как если бы он оглох в одночасье, а зрение утратило остроту. Затем слух вернулся, сверхъестественно острый. Он услышал, как дождь стучит по подоконникам за опущенными ставнями, а ниже, далеко внизу, в рукотворной бездне площади, приглушенно грохочут колеса и хлюпают по лужам копыта. Он также услышал стон, очень отчетливо, в той же комнате, совсем близко.

Он подумал с тревогой: «Это, наверное, у меня вырвалось», — и в то же мгновение женщина отошла от двери, твердо

прошагала прямо перед ним и села в кресло. Он узнал эту походку. Никаких сомнений. Она вернулась! С губ его чуть было не слетело: «Иначе и быть не могло!» — так внезапно и безошибочно постиг он непоколебимую природу этой женщины. Ничто не могло ее уничтожить и ничто, кроме его собственной гибели, не могло от нее избавить. Она была воплощением тех кратких мгновений, которые всякий мужчина собирает в копилку грез, сокровенных мечтаний, цементирующих самые ценные, самые надежные его иллюзии. Он вглядывался в нее с внутренним трепетом. Таинственная, многозначительная, преисполненная сокровенных смыслов, она была похожа на идол. Он вглядывался, чуть подавшись вперед, как будто открывал в ней черты, которых не замечал прежде. Безотчетно он сделал шаг ближе. Еще шаг. Но, увидев ее красноречивый решительный жест, остановился. Она подняла вуаль. Так рыцарь поднимает забрало.

Чары рассеялись. Его встряхнуло, как будто взрывная волна выбила его из состояния транса. Впечатления были даже более ошеломительные и яркие; перемена, произошедшая в нем, имела несравнимо более личный характер. Он как будто оказался в этой комнате только теперь, вернувшись после дальнего путешествия. Он почувствовал, что некая важная часть его существа в одно мгновение вернулась в его тело, возвратилась, наконец, из жестокого и скорбного края, из пристанища обнаженных сердец. Пробуждение встретило его горьким смехом недоумения, незнающим дна презрения и избавившейся от чар уверенностью в защищенности. Его взору на миг открылось движение неодолимой силы, и он осознал всю несостоятельность своих убеждений — ее убеждений. Ему казалось, что теперь он уже никогда не сможет ошибиться. Открывшийся ему внутренний закон не позволит сбиться с истинного пути. Эта убежденность не вызывала в нем восторга, он смутно осознавал ей цену: в этом торжестве непреложных принципов, в этой победе, вырванной на грани катастрофы, чувствовался холод смерти.

Последний след его прежнего душевного состояния таял, как в бездонном черном небе растворяется огненный хвост метеорита: то слабая вспышка мучительной мысли, прорпхнувшей сквозь голову: как бы там ни было, только в ее

присутствии он может быть самим собой. Он не сводил с нее глаз. Она сидела, сложив руки на коленях, и смотрела в пол. Он отметил про себя, что обувь у нее в грязи, юбка в брызгах, подол намок, словно бы слепой страх гнал ее сюда по слякоти пустырей. Он был потрясен, он негодовал, но теперь уже так естественно, так сообразно тому, что произошло. Теперь он мог обуздать бесполезные чувства силой благоразумного самообладания. Свет в комнате тотчас же утратил непривычную яркость, теперь это был правильный свет, в котором он без труда мог разглядеть ее лицо. Потускневшее и усталое. Окружавшая их тишина была привычной тишиной любого безмятежного дома, почти не нарушаемой далеким шумом респектабельного квартала. Он был совершенно спокоен — настолько спокоен, что его даже посетила мысль: как было бы хорошо, если бы они так и промолчали всю жизнь. Она сидела, сжав губы, и в холодной отрешенности ее позы чувствовалась усталость, но уже через мгновение веки ее приподнялись, и его пристальный, испытующий взор встретился со взглядом, в котором угадывалось бесформенное красноречие слез. Взгляд был проникающий, будоражащий, молчаливый; в нем словно застыла боль, неприкрытая словами — словами, которые ничего не стоило бы высмеять, оспорить, перекричать, оставить без внимания. Обнаженная, бесстыдная боль; оголенная боль существования, выпущенная на свободу откровенностью мимолетного взгляда, таившего неимоверную усталость, насмешливую прямоту и грубую дерзость выпитанного признания. Алван Хёрви был удивлен так, словно перед ним предстало нечто невообразимое; с одного из подтопленных оснований своего существа он уже готов был воскликнуть: «Никогда бы не поверил!», — но внезапный спазм уязвленных чувств помешал ему закончить мысль.

Он преисполнился яростного негодования к женщине, способной на такой взгляд. Этот взгляд прощупывал его; давил на него, опутывал. Он был опасен, как крамольный намек, нашептанный священником в величественном благолепии храма; и в то же время он был мерзок и тревожен, как неуместное утешение, пророненное циником во тьме, пятнающее скорбь, разлагающее мысль, отравляющее сердце. Ему хотелось гневно

вопросить: «За кого ты меня принимаешь? Как ты смеешь так на меня смотреть?» Хёрви почувствовал себя беспомощным перед скрытым смыслом этого взгляда; он возмущался им с тем болезненным и бесплодным неистовством, с каким негодуют от изощренного оскорбления, за которое не удастся взыскать — никогда. Он желал сокрушить ее одной-единственной фразой. Ведь он чист безупречно. Общественное мнение на его стороне; нравственность, простые смертные и боги были на его стороне; закон, совесть — весь мир! У нее же ничего, кроме этого взгляда. Но единственное, что он смог сказать, было: «Как долго ты намереваешься здесь оставаться?»

Ее взгляд был неподвижен, губы плотно сжаты, с таким же успехом он мог бы разговаривать с покойницей, только эта учащенно дышала. Собственные слова вызвали в нем глубокое разочарование. Сказанное было величайшей ложью, почти предательством. Он обманул сам себя. Все должно было быть по-другому — другие слова, другой эффект. Перед его взором, столь пристальным, что порой он переставал что-либо различать, она сидела с отрешенным видом, как будто вокруг никого не было, устремив полный беззастенчивой откровенности взгляд прямо на него, но видела, казалось, только пустоту.

«Или мне уйти?» — спросил он со значением, прекрасно осознавая, что опять говорит не то.

Ее рука, лежащая на колене, чуть пошевелилась, будто смахнула на пол сказанное им. Однако ее молчание придало ему сил. Возможно, за ним стояло раскаяние, а быть может, и страх. Была ли она сражена его реакцией, будто ударом молнии? Ее веки опустились. Он, казалось, понял больше, чем когда-либо, — он понял все! Великолепно — но придется заставить ее пострадать. Без этого он не мог. Он все понимал, но счел совершенно необходимым произнести с нарочито притворной вежливостью: «Я не понимаю — будьте так добры...»

Она встала. На мгновение ему показалось, что она сейчас уйдет, и его сердце словно кто-то дернул за нитку, как марионетку. Это было больно. Он остался безмолвно стоять с открытым ртом. Но она сделала нерешительный шаг в его сторону, и он невольно отступил. Они стояли друг напротив

друга, и обрывки письма лежали у их ног — как непреодолимое препятствие, как символ вечной разлуки! Вокруг них лицом к лицу неподвижно стояли три другие пары, как будто ожидая сигнала к любому действию — будь то борьба, спор или танец.

Она сказала: «Алван, не начинай!» — и сквозь страдание в ее голосе ему послышалось предостережение. Он прищурился, словно пытаясь пронзить ее своим пристальным взглядом. Ее голос тронул его. Его устремления к великодушию, щедрости, превосходству прерывали вспышки негодования и тревоги — он страстно желал знать, как далеко она зашла, и боялся это узнать. Она взглянула на разорванное письмо. Потом она подняла глаза, и взгляды их снова встретились и сцепились намертво, скованные вечным соучастием. Торжественная тишина исполненного покоем дома, окутавшая их взгляды, на мгновение показалась ему необъяснимо коварной, ибо он боялся, что она скажет лишнее, нечто, что сделает его великодушие невозможным. За глубокой скорбью на ее лице он видел раскаяние, раскаяние в содеянном, раскаяние в промедлении, сожаление о том, что она не вернулась на правильный путь — неделей раньше, днем раньше, да пусть хоть часом раньше.

Они боялись вновь услышать звук своих голосов; ведь каждый из них мог сказать что-то непоправимое, а слова страшнее, чем поступки. Но скрытая в неясных движениях души каверзная неизбежность внезапно заговорила устами Алвана Хёрви. Собственный голос вызывал у него интерес и скептическое любопытство, как будто это говорил актер в кульминации напряженной сцены.

«Если ты что-то забыла... конечно... я...»

Глаза ее на мгновение вспыхнули, губы задрожали, и теперь уже в ее устах обрела голос та таинственная сила, что неотступно витает меж нами, — низкий кураж, своенравный и неподвластный, как порыв ветра.

«К чему все это, Алван?.. Ты знаешь, почему я вернулась... Знаешь, что я не смогла...»

«А это тогда что?» — с раздражением перебил он, указывая на обрывки письма.

«Это — ошибка», — поспешно прошептала она.

Ответ изумил его. Он уставился на нее, будучи не в силах произнести ни слова. Он хотел было расхохотаться, но в итоге лишь произвольная усмешка исказила его лицо, подобно гримасе боли.

«Ошибка...» — медленно повторил он и тут понял, что говорить дальше не в состоянии.

«Да... Это было честно», — очень тихо произнесла она, точно обращаясь к памяти о чувстве из далекого прошлого.

И тут он взорвался.

«Да будь она проклята, твоя честность!.. Какая же тут честность?.. И давно ты в честные записалась? Зачем ты пришла? Кто ты теперь?.. Такая же честная?»

Он шел на нее, разъяренный, словно вслепую. За эти три быстрых шага он потерял связь с материальным миром и его закружил нескончаемый вихрь вселенной, сотканной из ярости и душевных мук, пока вдруг он не обнаружил ее лицо — прямо перед своим. Он внезапно остановился и будто вспомнил нечто, что слышал очень давно:

«Да ты понятия не имеешь, что такое честность», — прокричал он. Она не дрогнула. Он со страхом ощутил, что все вокруг оставалось без движения. Она не шелохнулась, его собственное тело оказалось на прежнем месте. Равнодушный покой окутал их неподвижные фигуры, дом, город, весь мир — и пустяковую бурю его чувств.

Внутри него грохотнуло так неистово, что могло бы и все сущее на куски разнести, а ничего не произошло. Они с женой стояли лицом к лицу в привычной комнате собственного дома. Который не рухнул. И все эти бесчисленные ряды жилищ, подпиравшие его дом справа и слева, выдержали натиск его страсти. Не шелохнувшись, они встретили его горе угрюмым безмолвием стен и непроницаемой и безукоризненной безучастностью закрытых дверей и занавешенных окон. Покой и тишина подавляли его, наступали, будто пара пособников стоящей перед ним невозмутимой и безмолвной женщины. И вдруг он оказался повержен. Его бессилие стало явным. И дыхание малодушного смирения, сквозившего в тонкой насмешке окружающего спокойствия, облегчило боль поражения.

«Этого в любом случае недостаточно. Я хочу знать больше — если ты, конечно, собираешься остаться», — произнес он с хладнокровием злодея.

«Мне больше нечего добавить», — грустно сказала она.

Это прозвучало настолько убедительно, что он ничего не ответил. Она продолжила:

«Ты не поймешь...»

«Неужели?» — тихо переспросил он. Алван стойко держался, дабы не разразиться воплями и проклятиями.

«Я старалась быть верной...» — снова начала она.

«А это что?» — воскликнул он, указывая на клочки письма.

«Это — это неверный шаг», — сказала она.

«Ясно, что неверный», — пробормотал он с горечью.

«Я старалась быть верной себе, Алван, и... честной с тобой...»

«Лучше бы ты постаралась быть верной мне, — перебил он раздраженно. — Я был верен тебе, а ты мне жизнь испортила — да и себе тоже...» После паузы он само собой вспомнил о своем уязвленном самолюбии и, повысив тон, возмущенно спросил: «И, скажи на милость, как долго ты водила меня за нос?»

Этот вопрос как будто выбил ее из колеи. Не дождавшись ответа, он принялся беспокойно расхаживать по комнате, то подходя к ней, то снова удаляясь в другой конец гардеробной.

«Я должен знать. Я полагаю, всем уже давно известно, кроме меня, — и это ты называешь честностью!»

«Я уже сказала: тут не о чем говорить, — нетвердо произнесла она, как будто каждое слово причиняло ей боль. — Ничего не было. Ты меня неправильно понял. С письма все началось, им же и закончилось».

«Закончилось? Как такое может закончиться?! — внезапно взорвался он. — Как ты не понимаешь? Я-то все... Началось...»

Он остановился и напряженно посмотрел ей в глаза, его желание увидеть, проникнуть, понять ее было так велико, что на время он даже перестал дышать.

«Господи!» — воскликнул он, застыв в полшаге от нее и не сводя с нее глаз. «Господи!» — медленно повторил он, и необъяснимая бесстрастность собственного голоса удивила его

самого. «Господи — я ведь могу тебе поверить, — сейчас я готов поверить чему угодно!»

Он круто развернулся и принялся мерить шагами комнату с таким видом, будто сбросил груз, вынес себе окончательный приговор, который он не стал бы отменять, даже если бы мог. Она стояла как вкопанная, провожая взглядом его беспокойные передвижения, — он же старался на нее не смотреть. Она не сводила с него широко раскрытых глаз, вопрошающих, удивленных, сомневающихся.

«Этот хлыщ торчал у нас безвылазно, — выпалил он в смятении. — Он, верно, и ухлестывал за тобой прямо здесь — и, и...» Он понизил голос: «И ты ему позволяла».

«И я ему позволяла», — пробормотала она, вторя ему. Она говорила машинально, ее голос звучал как будто издали, покорный, словно эхо.

Он дважды выпалил: «Ты! Ты!» — затем успокоился. «Что ты в нем нашла? — спросил он с неподдельным удивлением. — Женоподобный жирдяй. Как ты могла... Разве ты не была счастлива? Разве у тебя не было всего, что ты хотела? Давай откровенно, я что — обманул твои ожидания? Может, ты разочарована нашим положением в обществе или нашими перспективами? Тебе отлично известно, что они гораздо лучше, чем ты могла надеяться, выходя за меня замуж...»

Он забылся настолько, что в запале принялся даже слегка жестикулировать:

«Чего ты ждала от этого типа? Он же неудачник — форменный разгильдяй! Если бы не я ... слышишь ты меня?.. если бы не мои деньги, он бы не знал, куда приткнуться. Родня знать его не желает. Да он гроша ломаного не стоит! Он, конечно, небесполезен, поэтому я... я думал тебе достанет ума разглядеть его... А ты... Нет! Это немисливо! Что он тебе наплел? Что скажут люди — тебе наплевать? Распоясались! Неужели все женщины такие? Ты обо мне-то подумала? Я старался быть тебе хорошим мужем. Где я ошибся? Скажи мне — что я такого сделал?»

Обуреваемый чувствами, он схватился за голову и повторял иступленно: «Что я такого сделал? Ответь! Что?!»

«Ничего», — произнесла она.

«Именно! Вот видишь! Тебе нечего...» — Он развернулся и пошел прочь поступью победителя, но его вдруг отбросило обратно, словно он наткнулся на невидимую преграду. Обернувшись, он прокричал в гнев:

«Ради всего святого, чего ты от меня ждала?»

Без единого слова она медленно подошла к столу, села и, оперевшись на локоть, прикрыла глаза рукой. Все это время он пристально смотрел на нее, как будто в каждый момент ожидая обнаружить в ее неторопливых движениях ответ на свой вопрос. Но он не мог ничего прочесть, не мог даже приблизительно представить, о чем она думает. Борясь с желанием закричать, он выждал немного и произнес с явной издевкой:

«Ты хотела, чтобы я писал глупые стишки, сидел и смотрел на тебя часами, говорил о твоей душе? Ты должна была понимать, что я не из таких... У меня были дела поважнее. Но если ты думаешь, что я был абсолютно слеп...»

Бесчисленное множество подтверждений тому внезапно предстало перед его мысленным взором. Сейчас он отчетливо вспомнил множество случаев, когда заставлял их вместе. Нелепо прерванный жест его жирной белой руки, восторженность на ее лице, блеск недоверчивых глаз. Обрывки малопонятных бесед, вслушиваться в которые не имело смысла, и паузы, не значившие ничего тогда и столь красноречивые в свете нынешних событий. Он вспомнил все это. Он не был слеп, о нет! Эта мысль принесла совершенное успокоение: к нему вернулось все его самообладание.

«Я полагал недостойным подозревать тебя», — надменно сказал он.

Эта фраза очевидно обладала некой чудодейственной силой, поскольку, произнеся ее, он сразу почувствовал себя на удивление легко. Вслед за этим в нем вспыхнуло радостное изумление, что столь благородное и верное изречение могло слететь с его уст. Он смотрел, какое впечатление произведут на нее эти слова. Услышав их, она бросила на него быстрый взгляд через плечо. Он разглядел блеск влажных ресниц и слезу на

вспыхнувшей щеке. Затем она отвернулась и села как прежде, закрыв лицо руками.

«Тебе следует быть со мной предельно честной», — медленно произнес он.

«Ты все знаешь», — глухо проговорила она, не отнимая ладоней от лица.

«Из письма... да... но...»

«Но я вернулась, — воскликнула она сдавленным голосом, — ты знаешь все».

«Я рад за тебя. Это ради твоего же блага», — промолвил он торжественно.

Он вслушался в свой преисполненный глубокого чувства голос. Ему казалось, будто в комнате происходит что-то неизъяснимо важное, что каждое слово и каждый жест обладают значимостью событий, predetermined с начала времен и своей неотвратимостью являющих смысл творения.

«Ради твоего же блага», — повторил он.

Ее плечи задрожали, как от рыданий, а он забылся, рассматривая ее прическу. Вдруг Хёрви встрепенулся, словно ото сна, и спросил очень деликатно, почти шепотом:

«Вы с ним часто встречались?»

«Ни разу!» — воскликнула она сквозь ладони.

Такой ответ на мгновение лишил его дара речи. Он беззвучно пошевелил губами, прежде чем произнести:

«Ты предпочла принимать его ухаживания прямо здесь — под самым моим носом», — в ярости выпалил он, но мгновенно успокоился и испытал неловкость, будто уронил себя в ее глазах такой вспыльчивостью. Она встала, ее рука покоилась на спинке стула, а глаза, теперь совершенно сухие, смотрели прямо на него. На ее щеках проступили красные пятна.

«Когда я решила к нему уйти — я тебе написала», — сказала она.

«Но до него не дошла, — подхватил он. — И когда же ты передумала? Что заставило тебя вернуться?»

«Я не понимала, что делаю», — пробормотала она. Все в ней было неподвижно, кроме губ. Он пригвоздил ее к месту суровым взглядом.

«Он знал об этом? Он ждал тебя?» — спросил Хёрви.

Она ответила ему почти неразличимым кивком, и он еще долго не отрывал от нее взгляда, не произнося ни слова.

«И, полагаю, все еще ждет?» — выпалил он.

Она как будто снова кивнула. Тут ему понадобилось узнать, который час. Он посмотрел на часы и нахмурился. Полвосьмого.

«Так ждет?» — пробурчал он, возвращая часы в карман. Он поднял на нее взгляд и, словно в приступе недоброго велья, издал короткий, резкий смешок и тут же посерьезнел.

«Нет! Это просто неслыханно...» — пробормотал он. Она стояла перед ним, прикусив нижнюю губу, будто погрузившись глубоко в размышления. Он снова усмехнулся — глухой смешок прозвучал как проклятие. Он не знал, почему он внезапно почувствовал такое непреодолимое отвращение к жизненным обстоятельствам — к любым обстоятельствам, — невероятное омерзение при мысли о длинной череде прожитых дней. Он был вымотан. Работа мысли казалась непосильным трудом. Он произнес:

«Ты обманула меня — теперь ты дуришь его... Это ужасно! За что?»

«Я обманула себя!» — воскликнула она.

«Какой бред!» — нетерпеливо произнес он.

«Я уйду, если таково будет твое желание», — продолжила она торопливо. «Ты должен был услышать — ты должен был узнать. Нет! Я не смогла!» — вскричала она и замерла, сжимающая руки.

«Рад, что ты раскаялась, пока еще не слишком поздно», — глухо произнес он, уставившись на носки своих ботинок. «Рад, что... проблеск лучшего чувства», — последние слова он пробормотал как будто сам себе. Повисла тяжелая пауза. Он поднял голову и сказал уже громче: «Рад видеть, что у тебя остались какие-то представления о приличиях». Казалось, он замешкался, взглянув на нее, словно оценивая возможные последствия своих слов, и наконец выпалил:

«Ведь я любил тебя...»

«Я этого не знала», — прошептала она.

«Ради всего святого! — воскликнул он. — А ты как думаешь — почему я на тебе женился?»

Эта глупая бестактность рассердила ее.

«И почему же?» — процедила она.

Он пристально глядел на ее губы, словно чего-то опасаясь.

«Чего я только не думала», — сказала она медленно и остановилась. Он наблюдал, затаив дыхание. Наконец она продолжила с отрешенным видом, словно размышляя вслух: «Я пыталась понять. Честно пыталась... Почему же?.. Наверное, по той же причине, что и все остальное... Ради собственного удовольствия».

Он стремительно отошел, затем снова приблизился к ней вплотную, его лицо пылало.

«Ты вроде бы тоже была всем довольна, — гневно прошипел он. — Полагаю, спрашивать, любила ли ты меня, нет необходимости».

«Сейчас я знаю, что была совершенно неспособна на это, — спокойно ответила она. — А если бы и была, то ты, наверное, на мне не женился бы».

«Понятно, что не женился, если бы знал тебя, как знаю сейчас».

Он увидел, как много лет тому назад делает ей предложение. Они поднимались по пологой лужайке. Повсюду на солнце грелись отдыхающие. Тени от густых ветвей неподвижно лежали на стриженной траве. Невдалеке между деревьями флажировали разноцветные зонтики, похожие на неторопливо порхающих ярких степенных бабочек. Приветливо улыбаясь или, напротив, с весьма серьезным видом, мужчины в доспехах своих безупречных черных костюмов стояли рядом с женщинами в светлых летних платьях, напоминавших волшебные сказки о заколдованных садах, где ожившие цветы улыбались зачарованным принцам.

Они шли по пустынной лужайке, и вдруг он остановился, как будто на него низошло озарение, и заговорил. Он вспомнил, как смотрел в ее чистые глаза, на ее открытый лоб, вспомнил, что, быстро оглядевшись вокруг, не видит ли кто, подумал, что в этом мире, полном достоинств, очарования и чистоты он не может совершить ошибку. Он гордился этим миром. А себя

видел одним из его творцов, его обладателей, его хранителей и прославителей. Ему хотелось как следует за него ухватиться, получить от него как можно больше наслаждений, а благодаря несравненным качествам этого мира, его чистейшей атмосфере и близости к небесам, какими он их себе представлял, этот брутальный порыв желания казался ему самым нравственным из всех его порывов. За одно мгновение он пережил все это заново и так явственно представил себе глубину собственного падения, что почти не задумываясь произнес: «Боже! Как же я любил тебя!» В голосе его звучали слезы.

Искренность его слов, казалось, тронула ее: губы слегка задрожали, и, сделав неуверенный шаг навстречу, она с мольбой протянула руки, но тут заметила, что он, поглощенный своей трагедией, совершенно забыл о ее существовании. Она остановилась, руки медленно опустились. А он стоял с искаженным от горьких мыслей лицом и не заметил ни ее движений, ни ее порыва. Он раздраженно топнул ногой, потер лоб и — снова взорвался.

«И что мне теперь прикажешь делать?»

Он снова замер. Она поняла по-своему и решительно двинулась к двери.

«Все очень просто... Я уйду», — громко сказала она.

Он вздрогнул от неожиданности при звуке ее голоса, бросил на нее дикий взгляд и пронзительно закричал:

«Ты... Куда? К нему?»

«Нет... Сама по себе... Прощай».

Она стала нащупывать дверную ручку, громыхая ей, как будто выходила из темной комнаты.

«Нет... Останься!» — крикнул он.

Она едва услышала его. Хёрви видел, как ее плечо коснулось дверного проема. Она пошатнулась, как от слабости. Менее секунды прошло в тревожном ожидании — они будто балансировали на грани полного морального падения, еще немного — и оба улетят во всепожирающие тартарары. Затем, почти сразу же, он выкрикнул: «Вернись!» — и она отпустила ручку двери. Она повернулась в смиренном отчаянии, как человек, сознательно упустивший последний в жизни шанс; и на мгновение

представшая перед ней комната показалась жуткой, темной и безопасной — как могила.

Голос его был хриплым и резким: «Я не хочу, чтобы все закончилось вот так... Присядь». И пока она шла обратно к стулу с низкой спинкой у туалетного столика, Хёрви открыл дверь и выглянул в коридор, оценить обстановку. В доме все было тихо. Это его успокоило. Он закрыл дверь и спросил:

«Ты говоришь правду?»

Она кивнула.

«А жила-то во лжи», — заметил он с подозрением.

«О! С тобой это было нетрудно», — парировала она.

«Ты упрекаешь меня? Меня?»

«Смею ли я? Мне никто, кроме тебя, не нужен — теперь».

«Что ты этим хочешь сказать... — начал он, но сдержался и, не дожидаясь ответа, продолжил, — Я не стану ни о чем тебя расспрашивать. Письмо — это худшее, что ты сделала?»

Ее руки нервно шевельнулись.

«Я должен получить ясный ответ», — сказал он пылко.

«Тогда — нет! Худшее — это то, что я вернулась».

Некоторое время они испытующе смотрели друг на друга в мертвой тишине.

Наконец он сказал назидательно: «Ты не ведаешь, что говоришь. У тебя помутился рассудок. Ты не в себе, иначе бы ты так не говорила. Ты не в состоянии себя контролировать. Даже в раскаянии...» Он замолчал на мгновение, затем произнес тоном врача, говорящего с пациентом: «В жизни нет ничего важнее самообладания. Самообладание — это счастье, достоинство... это все».

Она нервно теребила платок, а он с тревогой наблюдал, какой эффект произвели его слова. Но ее реакция не принесла ему удовлетворения. Разве что, как только он начал снова, она закрыла лицо руками.

«Видишь, к чему приводит недостаток самообладания. Боль — унижение — потеря репутации, друзей, всего, что облагораживает жизнь, что... всякие ужасы», — внезапно заключил он.

Она не шелохнулась. Некоторое время он задумчиво смотрел на нее, нагнетая печальные мысли, вызванные

появлением этой опустившейся женщины. Его взгляд застыл и потускнел. Торжественность момента тронула его до самых глубин, он всем существом переживал величие происходящего. И крепче, чем когда-либо, стены его дома, казалось, хранили всю святость идеалов, которым он собирался принести великую жертву. Он был первосвященником в этом храме, суровым стражем догм и ритуалов, вершителем чистого обряда, скрывающего черные сомнения жизни. И он не был одинок. Другие мужи, лучшие из них, охраняли и защищали свои очаги — алтари этой пользительной секты. Он стал смутно осознавать, что является частью необъятной добродетельной силы, что вознаграждает всякое благоразумие. Он ощутил себя носителем мудрости непререкаемой тишины, осененным нерушимой верой, что пребудет во веки веков, и ни проклятия отступников, ни тайные слабости последователей не смогут ее поколебать! Он заключил союз со вселенной неисчислимых преимуществ. Он олицетворял нравственную силу прекрасного умалчивания, способного победить все прискорбные дикости жизни: и страх, и несчастье, и грех, и даже саму смерть. Ему казалось, что еще немного, и он триумфально сметет все призрачные тайны мироздания. Все стало предельно просто.

«Я надеюсь, сейчас ты осознаешь, какое безрассудство... какое безумие ты совершила, — начал он сдержанно и внушительно. — Ты должна соблюдать правила, присущие твоему положению, или же потеряешь все, что оно может тебе дать. Все, что ты имеешь! Все!»

Он повел рукой, и три точные копии его лица, в его одежде, с его сдержанной строгостью и торжественной печалью повторили этот широкий жест, размах которого, обозначив безграничность всепрощения, охватил стены, портьеры, весь дом, все скопление домов снаружи, все эти шаткие и недоступные могилы живых, с пронумерованными, как в тюрьме, дверьми, такими же непроницаемыми, как гранит надгробий.

«Да! Сдержанность, долг, верность — незыблемая верность приличиям. Это — и только это — воздается, только так мы обретаем мир. Все остальное следует подчинить себе — или

уничтожить. Все прочее влечет несчастье. Это болезнь. Катастрофа! Нам не нужно ничего об этом знать — это совершенно ни к чему. Это наш долг перед собой — перед другими. Мы в этом мире не одни — и если у тебя нет уважения к достойной жизни, то у кого-то оно еще осталось. Жизнь — дело серьезное. И если ты не соответствуешь самым высоким требованиям, ты никто — это сродни смерти. Это тебе в голову не приходило? Оглянись вокруг, и ты увидишь, как я прав. Неужели ты ничего не замечала, ничего не понимала? Так и жила? С самого детства у тебя перед глазами был пример — каждый день ты могла наблюдать всю красоту, всю благодетельность морали, принципов...»

Напыщенный голос поднимался и падал, будто он исполнял странное песнопение. Глаза были неподвижны, взгляд величественен и угрюм; суровые черты застыли в маске мрачного вдохновения, которое владело им тайно, бурлило в нем, вознося к зыбким вершинам безоговорочной веры в собственную правоту. Он то и дело осенял ее голову своей десницей, обращаясь к этой грешнице с возвышения, и, подобно карающей добродетели, с глубокой и чистой радостью наблюдал со своей крутой вершины, как каждое веское слово бьет и ранит, будто брошенный камень.

«Строгие принципы — это приверженность правилам», — заключил он после паузы.

«А что такое правила?» — спросила она, чеканя каждое слово, не отнимая рук от лица.

«У тебя помутился рассудок! — вскричал он в праведном гневе. — Вот это вопрос! Какая мерзость! Посмотри на себя — и ты увидишь ответ, если, конечно, захочешь его увидеть. Правила — это все, что не оскорбляет общепринятых убеждений. Все, что продиктовано совестью. А общепринятые — потому что они самые лучшие, самые благородные, единственно возможные правила. Они переживают...»

Он не без удовольствия заметил про себя, что речь его отличается философской глубиной, но времени посмаковать этот факт не было: замолчать он не мог, ибо вдохновение, зов благородной истины влекли его вперед.

«Ты должна уважать нравственные устои общества, благодаря которому стала такой, какая ты есть. Быть верной ему. Вот что такое долг. Вот что такое честь. Вот что такое честность».

Он почувствовал сильное жжение внутри, как будто глотнул чего-то горячего. Он шагнул к ней. Она выпрямилась и посмотрела на него; ее взгляд, полный взволнованного ожидания, лишь подогревал в нем ощущение чрезвычайной важности момента. Потеряв контроль над собой, он заговорил необычайно громко.

«Ты спрашиваешь, что такое правила? Подумай только. Кем бы ты стала, если б ушла с этим жутким бродягой?.. Кем бы ты стала?.. Ты! Моя жена!..»

Он увидел в отражении трюмо, как он стоит: в полный рост, с лицом настолько бледным, что с такого расстояния оно было похоже на череп с черными провалами глазниц. Воздев руки, он, казалось, собирается обрушить проклятия на ее склоненную голову. Устыдившись такой неподобающей позы, он поспешно сунул руки в карманы.

«Ах! А сейчас я кто?» — едва слышно пробормотала она будто сама себе.

«Волею судеб ты все еще супруга Алвана Хёрви — необыкновенная удача, я тебе скажу», — ответил он вальяжно. Он прошел до дальнего угла комнаты и, обернувшись, увидел, что сидит она очень прямо, сцепив руки на коленях, и не моргая, будто слепая, смотрит невидящим взором на яркое и ровное пламя в челюстях бронзового дракона.

Он подошел к ней почти вплотную и встал, расставив ноги. Не вынимая рук из карманов, он какое-то время смотрел на нее сверху вниз. Казалось, он переворачивает в голове целый ворох слов, складывая из невыносимого множества мыслей свою следующую речь.

«Ты довела меня до предела», — сказал он наконец. Произнеся это, он вдруг почувствовал, как твердая почва морального превосходства уходит у него из-под ног и волна необузданного гнева на заблудшее создание, едва не отравившее всю его жизнь, низвергает его с нравственной вершины. «Да, уж мне пришлось испытать больше положенного

человеку, — продолжил он с праведной горечью. — Это было несправедливо. Что на тебя нашло?.. Что в тебя вселилось?.. Написать такое... После пяти лет абсолютного счастья! Ей-богу, никто не поверит... Неужели ты не понимала, что ты не сможешь просто уйти? Вот и не смогла... Это просто невозможно, понимаешь? Ведь так? Подумай. Да?»

«Да, невозможно», — покорно прошептала она.

Это покорное согласие, данное с такой готовностью, не утешило и не ободрило его, а, напротив, пробудило страх — тот страх, что пробуждается, когда в условиях, которые мы привыкли считать совершенно безопасными, вдруг чувствуется дыхание близкой и непредвиденной беды. Конечно, невозможно! Он это знал. Она это знала. И признала это. Это было невозможно! Тот человек тоже это знал, равно как и любой другой. Не мог не знать. И все же эти двое сплели заговор против его мирной жизни — преступная затея, верить в успех которой у них не было никаких оснований. Никаких оснований! Ни единого! И все ж, как близко... Содрогнувшись, он увидел себя одиноким изгнанником в царстве неуправляемого безудержного сумасбродства. Ни предвидеть, ни предсказать, ни обезопасить себя там нельзя. Ощущение было невыносимым, наподобие того опустошающего ужаса, что охватывает, когда теряешь последнюю надежду. В свете этой мысли бесславный инцидент показался ему полностью оторванным от реальности, от земных условностей и даже от земных страданий; он обернулся мучительным откровением, страшным, разрушительным знанием о слепой дьявольской силе. Он испытал какое-то смутное отчаяние, вспышку безумного желания сдать-ся на милость этому непостижимому злу, может даже молить о пощаде. Но вдруг пришло осознание несомненности, неизбежности того, что ради продолжения жизни зло надо забыть и решительно отвергнуть, а знание о нем — изгнать из памяти, с глаз долой, как люди гонят прочь из повседневной жизни мысль о неизбежной смерти. Он внутренне напрягся, и в следующее мгновение это показалось ему очень даже выполнимо, на удивление легко, если только строго придерживаться фактов и разбираться в их хитросплетениях, не углубляясь в суть.

Почувствовав, что молчание затянулось, он предупреждающе откашлялся и произнес твердым голосом:

«Я рад, что ты чувствуешь это... необычайно рад... ты это почувствовала как раз вовремя. Ты же не можешь не понимать...» — он неожиданно запнулся.

«Да... я понимаю», — пролепетала она.

«Еще бы, — сказал он, глядя на ковер и говоря так, будто размышлял о чем-то другом. Затем он поднял голову: — Не могу поверить... даже после такого... после такого... что ты совершенно... совершенно другая... не такая, как я думал. Для меня... это что-то немыслимое.»

«И для меня», — выдохнула она.

«Сейчас — понятно, — ответил он. — А сегодня утром? А завтра?.. Вот что бывает...»

Он вздрогнул, как будто осознав смысл своих слов, и резко оборвал себя. Казалось, что любая цепь рассуждений приводит его в царство беспросветной, неисправимой глупости, вызывает воспоминания о таких вещах и страх перед такими силами, о которых лучше не знать вовсе. Он быстро добавил:

«Положение у меня очень болезненное, затруднительное... Я чувствую...»

Он пристально смотрел на нее со страдальческим видом, как будто страшно угнетенный внезапной неспособностью выражать свои потаенные мысли.

«Я готова уйти, — сказала она очень тихо. — Нужно было лишиться всего... чтобы понять... чтобы узнать...»

Ее подбородок упал на грудь, она вздохнула и затихла. Он нетерпеливо поднял руку в знак согласия.

«Конечно! Конечно! Это все очень хорошо... конечно. Лишилась — да! Но только в нравственном плане лишилась... только в нравственном... это если я тебе поверю...»

Внезапно вскочив, она его напугала.

«Да верю я, верю», — сказал он поспешно, и она села так же неожиданно, как и поднялась. Он продолжил снулым голосом:

«Я так страдал и все еще страдаю. Тебе не понять, как сильно. Так сильно, что когда ты предлагаешь разойтись,

я почти готов... Но нет. Есть долг. Ты позабыла о долге, я же никогда не забывал. Клянусь небесами, никогда. Но в подобных отвратительных обстоятельствах суждения людей утрачивают твердость — по крайней мере на некоторое время. Понимаешь, мы с тобой — во всяком случае для меня — мы с тобой — едины перед лицом всего мира. Так и должно быть. А мир прав — в главном, это точно, иначе он не мог бы, не мог бы стать таким, какой он есть. И мы — часть этого мира. У нас есть долг перед людьми нашего круга, которые не желали бы... Не желали... Э-э».

Он запнулся. Она смотрела на него во все глаза, чуть приоткрыв рот. Он снова забормотал.

«Боль... негодование... Еще и поймут неправильно. Я уже и так настрадался. Но если не было ничего непоправимого, как ты уверяешь... Тогда...»

«Алван!» — вскричала она.

«Что?» — спросил он мрачно. Он некоторое время угрюмо вглядывался в нее, как смотрят на руины, на разрушения, оставленные стихией.

«Тогда, — продолжил он после краткой паузы, — наилучшим будет... наилучшим для нас... для всех... да... самым безболезненным, самым бескорыстным...»

Его голос дрогнул, и дальше она уже могла слышать только отдельные слова.

«Долг... бремя... мы сами... молчание».

Затем наступила полная тишина.

«Это я взываю к твоему благоразумию, — сказал он неожиданно извиняющимся тоном, — не говоря уже обо всем прочем: будь снисходительна и помоги мне хоть как-то с этим примириться. Без всяких утаиваний, сама понимаешь. Снисхождение! Ты не можешь отрицать, что меня жестоко обидели, и... после всего... мои чувства заслуживают...»

Он замолчал в тревожном ожидании ее ответа.

«Мне скрывать нечего, — сказала она с горечью. — Чего уж тут... Я вдруг поняла, что зашла слишком далеко и вернулась обратно... — В ее глазах на мгновение промелькнуло презрение. — К тому... к тому, что ты предлагаешь. Видишь, мне... мне теперь можно доверять».

Каждое слово он слушал с глубоким вниманием и, когда она замолчала, будто бы ждал продолжения.

«Больше тебе нечего сказать?» — спросил он.

Его тон встревожил ее, и она едва слышно ответила:

«Я говорю правду. Что мне еще сказать?»

«К черту! Ты могла сказать что-нибудь человеческое, — выпалил он. — Дело не в правдивости, дело в бесстыдстве — если хочешь знать. Ты ничем не показала, что осознаешь свое положение, и мое... мое тоже. Ни слова признательности — ни сожаления, ни раскаяния, ни... вообще ничего».

«Слова!» — прошептала она с таким выражением, что он разозлился и топнул ногой.

«Это неслыханно! — воскликнул он. — Слова? Да, слова. Слова что-то значат. Определенно, во всем этом адском наигрыше есть какой-то смысл. Слова имеют значение — для меня, для тебя, для всех. А как же ты выражала, черт подери, свои чувства — чувства, — ха! — которые заставили тебя забыть супруга, долг, стыд!»

Он кричал с пеной у рта. Она неотрывно смотрела на него, потрясенная такой внезапной яростью.

«Или вы только взглядами переговаривались?» — захлебывался он. Она встала.

«Это невыносимо. — Ее била дрожь. — Я уйду».

На мгновение они застыли друг против друга.

«Нет, ты останешься», — намеренно грубо произнес он и принялся ходить взад-вперед по комнате. Она стояла в оцепенении, как будто с тревогой вслушиваясь в биение собственного сердца. Затем она медленно опустилась в кресло и вздохнула, словно приняла решение отказаться от непосильной задачи.

«Что бы я ни сказал, ты все понимаешь превратно, — тихо начал он, — но я хотел бы думать, по крайней мере сейчас, что ты просто не отвечаешь за свои поступки».

Он снова остановился перед ней.

«Ты не в себе! — горячо воскликнул он. — Уйти сейчас означало бы от безрассудства дойти уже до преступления — да, до преступления. Я не потерплю скандала, чего бы это ни стоило. И почему? Ты, конечно же, опять все поймешь превратно — но

вот что я тебе скажу. Из чувства долга. Да. Но ты, конечно же, опять все перевернешь. Женщины всегда так — они все слишком — слишком урколобые».

Он подождал немного, но она молчала, и даже не смотрела на него. Он ощутил неловкость, болезненную неловкость, как человек, подозревающий, что к нему испытывают необоснованное недоверие. Чтобы преодолеть это невыносимое ощущение, он заговорил очень быстро. Звуки собственного голоса будоражили его мысли, и в этом стремительном потоке мыслей перед ним то и дело возникало видение непреступной скалы его убеждений, возвышающейся в одиноком величии над пустыней ошибок и страстей.

«Ибо это самоочевидно, — продолжал он с беспокойной живостью. — Само собой разумеется, что с точки зрения высшей морали у нас нет права — нет, мы не имеем права бесцеремонно тревожить своими несчастьями тех, кто — кто ждет от нас только хорошего. Всякий желает видеть свою жизнь и жизнь вокруг себя красивой и безупречной. Сегодня скандал между людьми нашего круга губителен для морали — может иметь роковые последствия — ты не находишь — для общего настроения нашего круга — это очень важно — это, я считаю, самое важное в обществе. Это мое глубокое убеждение. Я широко смотрю на вещи. Со временем ты поймешь... когда снова станешь той женщиной, которую я любил — и которой доверял...»

Он осекся, будто внезапно лишился дыхания, затем продолжил совсем другим тоном: «Ведь я действительно любил и доверял тебе». И снова замолчал. Она приложила платок к глазам.

«Ты должна признать за мной — мои — мои лучшие побуждения. И главное — мою верность — верность устоям — которые ты — и только ты — взяла и нарушила. Себя выгораживать не принято, но в подобном случае, согласишься... И подумай, вместе с виновным страдает и невинный. Общество безжалостно в своих суждениях. К несчастью, всегда найдутся охотники все понять превратно. Перед тобой, перед совестью я — чист, но всякий — всякий слух повредит моей репутации в кругах — в кругах, в которые я в ближайшее время надеюсь... Полагаю, теперь ты полностью разделяешь мое мнение по этому вопросу — не

хочу больше говорить... на эту тему, но, поверь мне, подлинная самоотверженность в том, чтобы нести свой крест в — в молчании. Идеал нужно — нужно сохранить — хотя бы в глазах окружающих. Это ясно как божий день! Будь у меня гнойные раны, выставлять их на всеобщее обозрение было бы гнусно — гнусно! И зачастую в жизни — жизни в высшем понимании — откровенность в определенных обстоятельствах есть не что иное, как преступление. Искушение, видишь ли, никого не извиняет. На самом деле для человека, построившего свое благосостояние на служении долгу, искушений не существует. Но есть и слабые... — В его голосе промелькнула ярость. — Есть глупцы и завистники, особенно подле людей нашего круга. Я не повинен в этом жутком — жутком... вираже, но если не было ничего непоправимого... — Что-то мрачное, будто глубокая тень, скользнуло по его лицу. — Ничего непоправимого — видишь, даже сейчас я готов доверять тебе безоговорочно, — тогда наш долг очевиден».

Он опустил взгляд. Выражение его лица изменилось, словоохотливость иссякла, сменившись неторопливым созерцанием утешительных истин, которые он обнаружил в себе совсем недавно. Во время этого глубокого и отрадного причащения своими же сокровенными верованиями, он продолжал смотреть на ковер. Лицо его при этом было зловеще торжественным, а глаза, будто устремленные в пустоту порожней ямы, — тусклыми и пустыми. Затем, без малейшего волнения, он продолжил:

«Да. Совершенно очевидно, я испытал невозможное и не стану притворяться, что на некоторое время былые чувства... былые чувства не... — Он вздохнул. — Но я прощаю тебя...»

Она шевельнулась, не отрывая от лица рук. Глубоко погруженный в созерцание ковра, он ничего не заметил. И была тишина: тишина и внутри, и тишина снаружи, будто его слова заставили замереть биение и трепет всей жизни вокруг и единственным приютом на опустевшей земле стал их дом.

Он поднял голову и торжественно повторил:

«Я прощаю тебя... из чувства долга — и с надеждой...»

Послышался смех. Этот смех не только оборвал его на полуслове, он нарушил умиротворенное самосозерцание

болезненным ощущением вторгшейся в красивую мечту реальности. Он не мог понять, откуда раздался этот звук. Он видел, как будто в искаженной перспективе, заплаканное, жалкое лицо женщины, которая растянулась в кресле, откинув голову на спинку. Он было решил, что пронзительный звук был порождением его воображения. Но еще один резкий смешок, за которым последовал глубокий всхлип, а потом — новый взрыв веселья, будто сдернул его с места. Он подскочил к двери. Закрыта. Он повернул ключ и подумал: это не к добру... «Прекрати!» — закричал он и с тревогой осознал, что едва слышит свой голос сквозь ее хохот. Он кинулся назад, желая собственными руками придушить этот невыносимый звук, но остановился как вкопанный, осознав, что не может до нее даже дотронуться, как будто она охвачена пламенем. «Хватит!» — завопил он, как вопят мужчины посреди лютой свары, лицо его покраснелось, глаза вылезли из орбит. Затем, будто сметенный очередным взрывом смеха, он вдруг исчез из трех зеркал, пропал прямо у нее глазах. Некоторое время женщина всхлипывала и смеялась в светящейся неподвижности пустой комнаты в полном одиночестве.

Он возник снова и размашистым шагом приблизился к ней со стаканом воды в руках.

«Истерика... Прекрати... Услышат... Вот, выпей...» — забормотал он. Она расхохоталась, запрокинув голову. «Прекрати! — заорал он. — Ну же!» Он выплеснул воду ей в лицо. Вложив в этот жест всю сдерживаемую доньше дикую злобу, он еще подумал, что, запусти он в нее хоть стаканом, никто его бы не осудил. Он подавил в себе этот порыв, но в то же время так уверился, что никакая сила не сможет остановить этот кошмар, этот безумный клекот, что, когда звуки наконец стихли, он даже не подумал усомниться, что облегчение принесла внезапно наступившая глухота. Когда же в следующую секунду он удостоверился, что она выпрямилась и сидит действительно очень тихо, ему показалось, что все — люди, вещи, чувства — наконец угомонились. За одно это он уже почти испытывал благодарность. Он не мог отвести от нее глаз, с ужасом оценивая вероятность нового припадка, ибо, с каким бы презрением

он ни старался об этом думать, пережитое вселило в него мистический ужас. По ее лицу текли струйки воды и слез. На лоб выбилась прядь волос, другая прилипла к щеке. Шляпка неблагопристойно съехала набекрень. Вымокшая вуаль была похожа на свисающую со лба грязную тряпку. Во всем ее облике была такая сокрушительная откровенность, такое отрицание любых предосторожностей, такая неприглядность правды, той правды, что люди гонят прочь из повседневной жизни в непрестанной заботе о приличиях. Глядя на нее, он, сам не зная почему, вдруг подумал о завтрашнем дне. Он не знал, отчего эта мысль вызвала в нем острое чувство непреодолимого изнеможения — страха перед нескончаемой чередой дней. Завтра! Завтра — это так же далеко, как вчера. Бывает, и день вмещает столетия. Он всматривался в нее, как всматриваются в позабытый ландшафт. Черты ее не исказились — он узнавал все впадины и возвышенности, если можно так выразиться; но то, что он видел, было только подобием женщины из вчерашнего дня — или сейчас-то эта женщина и была собой, гораздо более, нежели вчера? Кто знает? Или, может, это другая, новая женщина? Незнакомое прежде выражение лица — или незнакомый оттенок выражения? Или все гораздо серьезнее: обнажилась давнишняя правда, главная, скрываемая правда — непрощенная проклятая безусловность? Он почувствовал, что его бьет сильная дрожь, что в руках пустой стакан, — что время идет. Все еще пристально глядя в нее, мучимый томительным недоверием, он подошел к столу, чтобы поставить стакан, и очень удивился, когда стакан будто провалился сквозь стол. Он, очевидно, промахнулся. Испуг, легкий звон разбитого стекла раздосадовали его невыразимо. С нескрываемым раздражением он повернулся к ней.

«Что все это значит?» — мрачно спросил он.

Она провела рукой по лицу и попыталась встать.

«Довольно этого балагана, — произнес он. — Клянусь, я и не подозревал, что ты можешь забыться до такой степени». Он даже не пытался скрыть физического отвращения, потому что свято верил, что любая несдержанность, любой намек на скандал являются попранием нравственности. «Честное слово,

это было отвратительно». Он пристально взглянул на нее и добавил с настойчивостью: «Полная деградация».

Она встала быстро, будто распрямившаяся пружина, и затряслась. Он инстинктивно подался вперед. Она схватилась за спинку стула, чтобы сохранить равновесие. Это остановило его, и они уставились друг на друга, неуверенно, но в то же время медленно возвращаясь к реальности, с облегчением и удивлением, словно только что проснулись после ночных метаний в лихорадочных сновидениях.

«Молю, не начинай снова, — сказал он, увидев, что губы ее приоткрылись. — Я заслуживаю хоть немного уважения, а подобное безответственное поведение причиняет мне боль. Я жду от тебя лучшего... Я имею право...»

Она стиснула виски руками.

«Не кривляйся! — проговорил он резко. — Ты вполне в состоянии спуститься к ужину. Никто не должен заподозрить, даже слуги. Никто! Никто! Уверен, ты справишься».

Она опустила руки, лицо ее исказилось. Она посмотрела ему прямо в глаза, как будто потеряв дар речи. Он нахмурился.

«Я — так — желаю, — властно сказал он. — Тебя же ради...» Он хотел донести эту мысль без тени сожаления. Почему она не ответила? Он опасался пассивного сопротивления. Она должна... Надо заставить ее спуститься. Нахмурившись еще сильнее, он уже задумался, не принудить ли ее силой, когда она вдруг совершенно неожиданно проговорила твердым голосом: «Да, справлюсь», — и вновь сжала спинку стула.

Он успокоился, и его тут же перестало занимать, как она ко всему этому относится. Тут важно, что их жизнь возобновится с некоего повседневного действия — занятия, которое невозможно неправильно истолковать, которое, слава богу, не несет никакого нравственного значения, не содержит никакой дилеммы и в то же время является символом их нерушимой общности в прошлом — и в будущем, навеки. Утром они вместе завтракали за этим же столом, а теперь будут ужинать. Все позади! Все, что произошло между этими трапезами, можно забыть — следует забыть, как о том, что происходит лишь раз в жизни — как о смерти.

«Жду тебя», — сказал он, направляясь к двери. Он не сразу смог ее открыть, потому как забыл, что уже повернул ключ. Эта заминка раздосадовала его, и пока он возился с замком, ощущая за своей спиной ее присутствие, в нем росло какое-то болезненное чувство, вызванное плохо сдерживаемым нетерпением покинуть комнату. Наконец он справился и, оказавшись в дверном проеме, оглянулся и сказал: «Уже поздно... так что...» Он увидел, что она стоит на том же месте с лицом белым, как алебастр, и совершенно неподвижным, как будто она в трансе.

Он опасался, что она заставит себя ждать, но не успел и глазом моргнуть, как оба оказались за столом. Он настроился спокойно есть, побеседовать и в целом вести себя естественно. Ему казалось, что притворяться нужно начинать еще дома. Слуги не должны ничего знать, даже догадываться. Это страстное желание все сокрыть, сохранить эту темную, разрушающую, глубокую, немую, как могила, тайну овладело им с силой наваядения. Желание это распространялось даже на неодушевленные предметы, что сопровождали его в повседневной жизни; печать враждебности легла на все до единой вещи в пределах верных стен, которые будут вечно скрывать бесстыдство фактов от человеческого негодования. Даже когда обе служанки покидали комнату — что случилось раз или два за ужин, — он оставался тщательно естественным, усердно голодным, старательно расслабленным, как будто хотел, чтобы буфет черного дерева, тяжелые шторы, стулья с прямыми спинками поверили в его незапятнанное счастье. Он не доверял выдержке жены и боялся посмотреть или заговорить с ней, будучи уверен, что она выдаст себя малейшим жестом, первым же сказанным словом. Затем он подумал, что тишина в комнате становится угрожающей и столь чрезмерной, что уже производит эффект невыносимого шума. Он хотел это прекратить, как жаждут оборвать неуместное признание, но, помня об истерике в гардеробной, не осмеливался дать ей повод произнести хотя бы слово. И тут он услышал, как спокойный голосом она произнесла что-то малозначительное. Он оторвал взгляд от центра тарелки и почувствовал волнение, как будто вот-вот увидит чудо. Ее самоблагодание и было этим чудом. Он смотрел в ее ясные глаза,

на чистый лоб, на все, что каждый вечер представало пред его очи — годами; он услышал голос, который ежедневно звучал здесь вот уже пять лет. Возможно, она была чуть бледна, но здоровая бледность всегда была для него одним из ее главных достоинств. Возможно, ее лицо было лишено подвижности, но то была мраморная бесстрастность, величественная невозмутимость прекрасной статуи, вышедшей из рук одержимого богам великого скульптора. В непроницаемой неподвижности ее черт он до недавнего времени видел отражение спокойного достоинства души, единоличным и безоговорочным обладателем которой он себя полагал. То были внешние признаки, отличавшие ее от простых людей, которые чувствуют, страдают, терпят неудачи, ошибаются, не имея иного предназначения, кроме как подчеркивать нравственное превосходство избранных. Он гордился ее обликом, который обладал прямою совершенства, — и теперь был поражен, что в ней ничего не изменилось. Точно так же она выглядела и говорила год назад, месяц, — да еще вчера, когда она... Что происходило внутри, не имело значения. Что было у нее на уме? Что означали бледность, спокойствие на лице, чистый лоб и ясный взгляд? О чем были ее мысли все эти годы? О чем она думала накануне, о чем помыслит завтра? Он должен понять... Но как тут поймешь? Она лгала и ему, и этому ослу, и себе самой. И теперь она готова солгать ради него. Сплошная ложь. Она была сама фальшь, дышала и жила ложью и будет лгать всегда, до конца своих дней! И он никогда не сможет понять, что у нее на уме. Никогда! Никогда! И никто не сможет! Потому что понять невозможно.

Он бросил нож и вилку, резко, словно в силу внезапного озарения догадался, что его еда отравлена, и понял, что никогда в жизни не сможет больше проглотить ни кусочка. В комнате, где они ужинали, неизвестно почему становилось жарче, чем в печи. Ему хотелось пить. Он пил бокал за бокалом и, наконец опомнившись, испугался количеству выпитого, пока не обнаружил, что пил воду — из двух разных винных бокалов. Такая безотчетность уязвила его; столь нездоровое состояние рассудка — встревожило. Избыток чувств — избыток чувств; а ведь он верил, что излишнее проявление чувств является слабостью:

с точки зрения нравственности это невыгодно; а для прагматичного человека — и вовсе позор. Это ее вина. Целиком и полностью. Ее распутное самозабвение заразительно. Это оно навело его на чуждые ему прежде мысли; мысли разлагающие, мучительные, подрывающие самую жизнь — словно смертельная болезнь; мысли, которые — подобно слухам о чуме — заставляют бояться воздуха, солнечного света, людей.

Служанки подавали бесшумно, и он, чтобы не смотреть на жену, чтобы не смотреть внутрь себя самого, стал следить за ними взглядом — сначала за одной, потом за другой, но различить их так и не смог. Они неслышно передвигались по комнате, но посредством чего, видно не было — подола юбок касались ковра. Девушки в черно-белых одеяниях скользили туда-сюда, удалялись, приближались, жесты их были точны и выверены, лица — безжизненны и невыразительны, как у скорбящих марионеток. Их деревянное безразличие поразило его: настолько неестественными, подозрительными, неприемлемо враждебными они ему показались. Мысль о том, что чувства или суждения этих людей могут иметь для него хоть какое-то значение, еще никогда не посещала его. Он знал, что у них нет ни перспектив, ни принципов — ни власти, ни изысканных манер. Но теперь он был так унижен, так исковеркан, что не мог притвориться даже перед собой, — да, он жаждал узнать тайные мысли своих слуг. Несколько раз он украдкой посмотрел на лица девушек. Понять невозможно. Они меняли приборы и при этом не обращали на него ни малейшего внимания. Какое непроходимое лицемерие. Женщины. Одни женщины вокруг. Понять невозможно. Жгучее чувство опасного одиночества пронзило ему сердце, чувство, что иногда лишает мужества одинокого путешественника в неизведанной земле. Будь здесь, в этой комнате, мужчина — и стало бы несравнимо легче. Покажись хоть одно мужское лицо — и можно было бы хоть что-то понять... Он наймет дворецкого. Как можно скорее. И вот трапеза, которая, казалось, длилась долгие часы, завершилась. Это застало его врасплох, он перепугался так, будто при естественном ходе вещей он сидел бы за этим столом до скончания времен.

Наверху в гостиной он стал жертвой неумолимого рока, который ни при каких обстоятельствах не мог позволить ему присесть. Она же утонула в низком мягком кресле и, взяв со столика подле ее локтя веер слоновой кости, прикрыла лицо от огня. Угли рдели без пламени; и на фоне красного свечения черные прутья каминной решетки изгибались подле ее ног как обугленные ребра жертвенного животного. Поодаль, с высокой и тонкой латунной ножки, светила лампа под широким абражуром темно-красного шелка — источник огненных сумерек среди мрака большой комнаты, в теплом оттенке которых было что-то хрупкое, изысканное, inferнальное. Часы на высокой каминной доске вторили приглушенным стуком его мягкой поступи — как будто время и он наперегонки шли сквозь inferнально хрупкие сумерки к таинственной цели.

Он безостановочно ходил из угла в угол, подобно путнику, которую ночь упрямо длящему свое нескончаемое путешествие. То и дело он кидал на нее взгляды. Невозможно понять. Свинцовая точность этой мысли запечатлела в его практическом уме нечто беспредельное и бесконечно глубокое, обострила всеохватное восприятие, обнажила вечный источник его боли. Женщина, которая когда-то приняла его, а потом отвергла, — теперь вернулась к нему. И правду об этом он не узнает никогда. Никогда. Ни при жизни, ни после, ни на судном дне, когда станет известно все: мысли и деяния, награды и наказания — и только тайны сердец, навек сокрытые, вернуться к Непостижимому Творцу добра и зла, Властителю сомнений и порывов.

Он остановился, чтобы посмотреть на нее. Откинувшись в кресле и отвернувшись от него в сторону, она не шевелилась, как будто спала. О чем она думала? Что чувствовала? При виде ее совершенной неподвижности, в мертвой тишине, затаив дыхание, он почувствовал себя ничтожным и бессильным перед ней, словно узник в цепях. Ярость этого бессилия рождала мучительные видения. Такие видения заставляют претерпевшего жестокую несправедливость мужчину в одиночестве пустой комнаты бормотать проклятия или угрожающе размахивать руками. Порыв гнева быстро стих, оставив по себе лишь

дрожь и страх человека, остановившегося на самой грани самоубийства. Безмятежной истины и посмертного покоя можно достигнуть, лишь презрев все выгоды рабской жизни. Он осознал, что и не хочет понимать. Лучше не надо. Все закончилось. Как будто ничего и не было. Главное, чтоб никто не узнал, — это одинаково важно им обоим, это правильно, это нравственно.

Он заговорил внезапно, словно подытоживая разговор:
«Лучше нам забыть обо всем этом».

Она слегка вздрогнула и со щелчком захлопнула веер.

«Да. Забыть — и простить», — повторил он, как будто для себя одного.

«Я никогда не забуду, — голос ее дрожал. — И никогда себе не прощу...»

«А я, мне ведь и упрекнуть себя не в чем...» — начал он и сделал шаг в ее сторону. Она вскочила.

«Не за твоим прощением я вернулась», — горячо воскликнула она, как будто протестуя против незаслуженного навета.

«О!» — выдохнул он, и воцарилась тишина.

Он не мог понять этот неожиданный выпад и уж никак не думал, что неконтролируемый порыв искренности мог стать ответом на его последнюю реплику, в которой едва угадывался произвольный намек на что-то, отдаленно напоминающее чувство. Он окончательно растерялся, но теперь уже совсем не злился. Он обмер, пораженный очарованием непостижимого. Она стояла перед ним, высокая и зыбкая, как черный призрак в красных сумерках. Наконец, без всякой уверенности, что ему стоит открывать рот, он пробормотал:

«Но если моя любовь сильна...» — и запнулся.

В раскаленной тишине он услышал, как что-то громко треснуло. Она переломила веер. Две тонкие пластины слоновой кости беззвучно упали, одна за другой, на мягкий ковер, и он инстинктивно наклонился, чтобы их поднять. Шаря у ее ног, он думал, что есть в этой женщине нечто жизненно ему необходимое, дар, который не найти больше нигде на свете; и когда он выпрямился, его охватила неодолимая вера в тайну, ему казалось, что где-то совсем рядом, но вот-вот ускользнет, сама

загадка бытия — его нематериальная, но драгоценная несомненность! Она направилась к двери, он пошел подле, отыскивая волшебное слово, которое прояснит эту тайну, заставит ее отдать дар ему. Но нет такого слова! Тайну можно раскрыть только через жертву, а дар небес — в руках каждого мужчины. Но они жили в мире, который презирает тайны и которому нет дела до даров, кроме тех, что можно купить на улице. Она подошла к двери. Он выпалил:

«Клянусь, я любил тебя — и люблю».

Она остановилась на едва уловимое мгновение, только чтобы окинуть его возмущенным взглядом, и пошла дальше. Женская пронизательность — глубокая, пропитанная древним инстинктом самосохранения и всегда готовая разглядеть очевидное зло во всем, что она не способна понять, — наполнила ее горькой обидой на обоих мужчин, у которых в ответ на трагедию ее душевных метаний не нашлось ничего, кроме приземленных гнусностей. Ее ярости от бесплодной попытки самообмана было достаточно, чтобы ненавидеть их обоих. Чего они хотят? Этому-то что еще нужно? И когда ее муж, взявшись за дверную ручку, снова возник перед ней, она подумала, что он либо последний дурак, либо просто подлец.

Она заговорила нервно и очень быстро:

«Ты заблуждаешься. Ты никогда меня не любил. Тебе нужна была жена — некая женщина — в сущности, любая женщина, главное, чтоб она думала, говорила и вела себя определенным образом — достойным, по твоему мнению. Ты любил только себя».

«Ты мне не веришь?» — медленно спросил он.

«Если бы я верила, что ты меня любишь, — горячо начала она и сделала глубокий вдох. В тишине он услышал, как в голове его пульсирует кровь. — Если бы я верила... Я бы никогда не вернулась», — выпалила она.

Он стоял, опустив взгляд, как будто ничего не слышал. Она ждала. Затем он открыл дверь, и в проеме появилась задрапированная по подбородок незрячая мраморная женщина, вооружившись гроздью огней, она делала в их сторону слепой выпад.

Он погрузился в глубокое раздумье и казался таким отрешенным, что она, собравшись уже выйти, остановилась и в изумлении посмотрела на него. Пока она говорила, он, покинув мир суждений ради мира чувств, шел на зов тайны. Какая разница, что она делала и говорила, если боль, причиненная ее поступками и словами, позволила ему обрести целый таинственный мир. Нет жизни без веры и любви — веры в человеческое сердце, любви к человеку. Это благословенье, которое раз в жизни нисходит даже на самых недостойных, распахнуло перед ним двери в иной мир, где, созерцая нематериальную твердь драгоценной истины, он забыл о бессмысленной суете человеческого существования, жажде насытившись, восторгах наслаждений, о сколь разнообразных, столь и обольстительных личинах алчности, что правят реальным миром ничтожных удовольствий и ничтожных горестей.

Вера! — Любовь! — безупречная, чистая вера в торжество души — великая нежность, глубокая, как океан, безмятежная и вечная, как бескрайняя вселенная над краткими земными потрясениями. Это было то, чего он желал всю свою жизнь, — но осознал только сейчас. Это осознание пришло к нему с болью, которую он испытал, потеряв ее. У нее есть дар! У нее есть дар! И она одна в этом мире может уступить этот дар его неодолимому желанию. Он сделал шаг вперед, протягивая к ней руки, как будто желая прижать ее к груди, но, подняв голову, встретил взгляд, полный такого неопишуемого ужаса, что руки его упали, как под тяжестью груза. Она отшатнулась от него, споткнулась о порог и, оказавшись на лестничной площадке, вся сжалась, как будто ожидая нападения. Шлейф ее платья прошуршал, обернувшись вокруг ног. Это был нескрываемый ужас. Она тяжело дышала, обнажив зубы, и ненависть к силе, презрение к слабости, извечное противостояние полов выскользили наружу, как чертик из шкатулки.

«Это мерзко!» — крикнула она.

Он не двинулся с места; но ее взгляд, ее взволнованные движения, звук ее голоса походили на пелену реальности, плотным туманом вставшую между ним и образом любви и верности. Туман развеялся; и всматриваясь в ее лицо — ликующее

и презрительное, такое бледное, такое вдруг незнакомое, как будто выглядывающее из засады лицо, он медленно возвращался в рассудочный мир. Первой его ясной мыслью было: я женат на этой женщине; следующей: ничего более того, что я сейчас вижу, от нее не дождешься. Он ощутил потребность не видеть. Но воспоминание о видении, воспоминание, которое провидец держит в себе, заставило его сказать с наивной строгостью неопфита, благоговееющего от явившегося ему откровения: «У тебя нет дара». Он отвернулся, приведя ее в полнейшее замешательство. Она поднялась по лестнице, борясь с досадным ощущением, будто столкнулась с чем-то более изысканным, чем она сама, более сложным и глубоким, нежели ее переживания — такие трагические и непонятые.

Он закрыл дверь гостиной и двинулся наудачу. Один посреди тяжелых теней, окруженный мерцающими сумерками, будто пламенем элегантной преисподней. У нее не было дара — его не было ни у кого... Он наступил на книгу, упавшую с одного из маленьких, притиснутых друг к другу столиков. Подняв тонкий том и держа его в руках, он подошел к лампе с кроваво-красным абажуром. Пылающий оттенок сгустился на обложке, и изогнутая золотая вязь, растянутая по ней замысловатым лабиринтом, проявилась в алых отблесках. «Шипы и арабски». Он прочитал название дважды. «Шипы и ар...» Книга стихов. Того, другого. Он уронил книгу на пол, но не почувствовал ни малейшего укола ревности или возмущения. Что он мог знать?.. Что?.. В камине рассыпалась гора горячих углей, он повернулся посмотреть... Эх! Тот, другой, был готов отдать все ради той женщины — а она не пришла, — у нее не хватило веры, любви, смелости прийти. Чего он ожидал, на что надеялся, чего желал? Женщины — или несомненности нематериальной и драгоценной! Первая бескорыстная мысль в его жизни досталась человеку, который хотел причинить ему ужасное зло. Он не был разгневан. Он был опечален. Опечален безличной грустью, безмерной меланхолией всего человечества, тоскующего по чему-то недосягаемому. Он был проникнут братским чувством ко всем людям — даже к этому человеку — особенно к нему. О чем он сейчас думает? Перестанет ли

он ждать и надеяться? Перестанет ли когда-либо? Поймет ли он, что у женщины, у которой нет смелости, нет и дара — нет дара!

Часы начали бить, и глубоких тонов вибрации заполнили комнату, будто звуки огромного колокола, звонящего где-то вдаль. Он сосчитал удары. Двенадцать. Начался новый день. Завтра наступило; неведомое, обманчивое завтра, что, презрев любовь и веру, манит людей сквозь горькую тщету жизни к достойной награде — могиле. Он сосчитал удары и, оставившись в решетку камина, казалось, ждал еще. Затем, словно его окликнули, вышел из комнаты твердой походкой.

Оказавшись за дверью, он услышал шаги в холле и остановился. Стукнула задвижка — затем еще одна. Они запирались, ограждая его желания и заблуждения от негодующего мира, полного благородных даров для тех, кто уверен в собственной незапятнанности и безупречности. Он был в безопасности; и со всех сторон его жилища за настороженными дверями, непроницаемыми, как гранитные надгробия, для скрытой за ними правды, спали мечты об успехе, рабские страхи и рабские надежды.

Щелкнул замок, звякнула цепь.

Никто не должен знать!

Отчего же эта уверенность в безопасности была тяжелее бремени страха, и почему начавшийся день упрямо представлялся последним — как сегодня, у которого нет завтра? Ведь ничего не изменилось, никто ничего не узнает; и все пойдет своим чередом, как раньше, — голод будет нагуливаться, благословляться и с наслаждением утоляться каждый день; благородный стимул неутолимых амбиций. Все — все радости жизни. Все — кроме нематериальной и драгоценной несомненности — несомненности любви и веры. Сейчас он верил, что ее тень нависала над ним всегда, сколько он себя помнит; ее невидимое присутствие определяло его жизнь. А сейчас, когда эта тень снова появилась и исчезла, он не мог погасить в себе страстное желание разгадать ее сущность. Это была наивная мечта: она владела им, подобно земным устремлениям, без которых невозможно существование, но в отличие от них была совершенно неукротима. Это была утонченная тирания, самовластие идеи, лишенной

соперников, идеи одинокой, безутешной и опасной. Он медленно поднялся по лестнице. Никто не должен знать. Дни пойдут своей чередой, и пойдут далеко — очень далеко. С идеей не совладать, но можно управлять деньгами, людьми — всем миром! Величие открывшихся перед ним перспектив потрясло его; необузданный инстинкт коммерсанта вопил, что только недоступное достойно обладания. Он приостановился на ступенях. В холле уже погасили свет, и только маленький желтый огонек порхал туда-сюда. Внезапный приступ презрения к себе привел его в чувство. Он пошел дальше, но у дверей их спальни, уже занеся руку, остановился. Рука опустилась. «Подожду, пока она пройдет», — подумал он и укрылся в складках портьеры.

Он видел, как она поднималась — ровно и безостановочно, подобно сосуду из колодца. При каждом шаге бледное пламя свечи колебалось перед усталым молодым лицом, и темнота холла, казалось, цеплялась за черные полы ее юбки, следовала за нею, поднималась, как вода в паводок, как будто окутывавшая весь мир ночь прорвала благопристойную оборону стен, закрытых дверей, занавешенных окон. Темнота поднималась над ступенями, злой волной кидалась на стены, растекалась по синим небесам, по желтым пескам, по залитым солнцем пейзажам, по сентиментальным изображениям невинности в лохмотьях и готовой к голодной смерти нищеты. Она поглотила восхитительную идиллию в лодке и изуродованное бессмертие знаменитых барельефов. Она текла снаружи и в разрушительной тишине поднималась все выше. И только мраморная женщина на высоком пьедестале — беспристрастная и слепая, — казалось, противостояла напору пожирающей ночи со звездьем огней.

Он наблюдал восходящий разлив непроницаемого мрака с нетерпением: когда же тьма стукнется настолько, что скроет позорную капитуляцию! Она все приближалась. Огни люстры померкли. Девушка поднималась прямо навстречу ему. Позади нее проворно плясала на стене гигантская тень статуи. Она приблизилась, он уже видел ее тяжелые веки. Он задержал дыхание, она бесшумно прошла мимо. А следом за ней, заполняя дом, хлынуло темное море, волны закутилась

вокруг его ног и, беспрепятственно подымаясь, тихо сомкнулись над его головой.

Шло время, а он все не открывал. Все стихло. Вместо того, чтобы подчиниться резонным требованиям жизни, он, повинаясь взбунтовавшемуся сердцу, отошел во тьму дома, который стал обителью непроглядной ночи, словно прошедший день был действительно последним и он остался в беспросветном мраке без надежды на рассвет. Чуть ниже белела мраморная женщина, подобно неутомимому призраку протягивая во мглу созвездие погасших огней.

Послушная мысль рисовала ему картину ничем не нарушенного хода жизни, живописала все достоинства, все преимущества неизменного, непрерываемого успеха; а мятежное сердце неистово стучало в груди, словно обезумев от желания несомненности нематериальной и драгоценной — несомненности любви и веры. Какое ему дело до ночи, окутавшей его жилище, если за пределами дома он может отыскать солнце, в лучах которого люди сеют и пожинают взрослее! Никто не узнает.

Пройдут дни, пройдут года и... Он вспомнил, что любил ее. Пройдут года... И тут он подумал о ней, как думают об умерших: с безбрежной, полной нежности тоской, с неутолимой жадной вернуть утраченное, обретшее черты совершенства. Он любил ее. Он любил ее. Но никогда не знал правды... Года пройдут в мучительных сомнениях... Он вспоминал ее улыбку, ее глаза, ее голос, ее молчание, будто потерял ее навсегда. Пройдут года, а он так и не научится верить ее улыбке, ее глазам, ее голосу, будет подозревать даже ее молчание. Нет у нее дара — и не было! Что она из себя представляет? Кто она? Пройдут года... память об этом часе сотрется... а она по-прежнему будет рядом в довольстве и безмятежности незапятнанной жизни. Нет в ней ни любви, ни веры. Делиться с ней мыслями, доверять сокровенное — все равно что исповедоваться на краю земли. Никакого отклика — даже эха не услышишь.

Эта мысль была мучительна, и в муках этих родилась его совесть; не страх раскаяния, что медленно нарастает, а затем также медленно убывает на фоне неоднозначных жизненных

обстоятельств, но Божественная мудрость, что выскакивает из испытанного сердца уже полностью сложившейся, вооруженной и готовой к борьбе с тайной изменчивостью наших побуждений. Его вдруг осенило, что мораль — не есть средство достижения счастья. И это было страшное откровение. Все, что было известно ему до сих пор, не имело никакого значения. Поступки мужчин и женщин, успех, унижение, достоинства, поражение — все пустое. Ведь дело не в количестве боли, радости или печали. Правда или ложь — вот в чем дело, вопрос жизни или смерти.

Он стоял в ночи, обнажающей суть, — во тьме, что испытывает сердца, в ночи, непригодной для работы, но позволяющей взору, избавленному от слепящего солнца алчного дня, блуждать, доходя до самых звезд. Полнейшая тишина вокруг него казалась величественной, но он чувствовал, что то была ложная величественность храма, посвященного низменным устремлениям и сопровождающим их ритуалам. Оберегаемое стенами благопристойное молчание красноречиво убеждало: ты в безопасности, — но ему оно казалось будоражащим и нечистым, как осторожная подлость, что сулит большую выгоду. Спокойное благоразумие логова фальшивомонетчиков — дома с дурной славой! Пройдут года — и никто не узнает. Никогда! Ни в этой жизни — ни после...

«Никогда!» — вслух сказал он в обнажающей сути ночи.

И замер в нерешительности. Сердечные тайны, слишком страшные для пугливых глаз людских, всегда будут сокрыты и вернуться к Непостижимому Творцу добра и зла, Властителю сомнений и порывов. Его совесть уже явилась на свет — он слышал ее голос, но все еще колебался, пренебрегая внутренней силой, судьбоносной мощью, тайной своего сердца! Бросить всю свою жизнь в пламя новой веры — серьезная жертва. Ему было уже не справиться с собой, с жестоким приговором к спасению. Ему понадобилось молчаливое соучастие, в котором ему никогда не отказывали, многолетняя привычка давала о себе знать. Может, она поможет... Он распахнул дверь и вбежал, как будто его преследовали.

Он уже оказался посреди комнаты, но не видел ничего, кроме слепящего света лампы; и тут на уровне его глаз

появилась голова женщины — как будто отделенная от тела, она дрейфовала в сияющем облаке. Когда он ворвался в спальню, она вскочила с постели.

Секунду они смотрели друг на друга, будто онемевшие от удивления. Ее струящиеся по плечам волосы сверкали, как позолота. Он заглянул в бездонную прямоу ее глаз. А там — ничего — ничего — ничего.

Запинаясь, в смятении, он заговорил:

«Я хочу... Я хочу... хочу... знать...»

Перед искренним светом ее глаз плясали тени. Тени сомнений, подозрений, подозрений, всегда готовых воспрять из пепла неугасимой вражды, безжалостного недоверия, движимого извечным инстинктом самосохранения. Тени ненависти — глубокой, питаемой страхом ненависти к отвратительному чувству, встречающему со своим грубым материализмом в высокодуховную, трагическую борьбу ее эмоций.

«Алван... я не потерплю... — Она задышала часто и тяжело. — У меня есть право... право на... на... себя...»

Он поднял руку, и поза его показалась ей настолько угрожающей, что она в ужасе замолчала и отпрянула.

Он стоял с поднятой рукой... Пройдут годы — и эта непостижимая искренность, в которой пляшут тени подозрительности и ненависти, останется в его памяти... Пройдут годы — и он никогда не узнает — никогда не поверит... Годы пройдут без веры и любви...

«Это ты можешь вынести?» — крикнул он так, будто она могла услышать все его мысли.

Он выглядел угрожающе. Она подумала о насилии, об опасности и на одно мгновение даже усомнилась, хватит ли всех богатств земли, чтобы заплатить за такой жестокий опыт. Он снова закричал:

«Ты можешь это вынести?» — И сверкнул глазами, как сумасшедший. Ее глаза тоже блестели. Она не слышала устрашающий шум его мыслей. Ей подумалось, что в нем проснулось внезапное раскаяние, новый порыв ревности, постыдное желание выкрутиться. Она выкрикнула в ответ:

«Да!»

Его затрясло на месте, как будто он пытался высвободиться от невидимых уз. Ее била крупная дрожь.

«А я — нет!»

Он вскинул руки, как будто хотел оттолкнуть ее, и вышел из комнаты. Дверь с щелчком захлопнулась. Она сделала три поспешных шага к ней и замерла, не отводя глаз от белых с золотом панелей. Ни одного звука не доносилось с той стороны — ни шепота, ни вздоха; даже шагов по пушистому ковру не было слышно. Как будто, оказавшись за дверью, он неожиданно исчез — скончался, и тело его тотчас растворилось вместе с душой. Она прислушивалась, приоткрыв рот, с сомнением в глазах. Затем внизу, много ниже нее, будто в самых недрах земли, тяжело хлопнула дверь; и по тихому дому от крыши до фундамента прошла дрожь, сильнее, чем от удара грома.

Он так и не вернулся.

Анархист

История безысходности

В тот год два лучших месяца сухого сезона я провел в одном из скотоводческих хозяйств, точнее на главной ферме знаменитой компании по производству мясных концентратов.

V.O.S. Vos. Эти три волшебные буквы вы видели на рекламных страницах журналов и газет, в витринах продуктовых лавок и в календарях на следующий год, что приходят с почтой в ноябре. Компания V.O.S. распространяет рекламные буклеты на нескольких языках, выдержанные в слащаво-восторженном стиле и содержащие статистику убоя скота, от которой и жи-водеру стало бы дурно.

«Высокое искусство» иллюстрирования этой «литературы» в ярких, радужных красках представляет нам огромного разъяренного быка. Чернобокий попирает копытами желтую змею, извивающуюся в изумрудно-зеленой траве на фоне кобальтово-синего неба. Такая вот суровая аллегория. Змея здесь символизирует болезни и недуги, а может, просто голод, муки которого знакомы большинству человечества. Всякий знает и компанию V.O.S., Ltd., и ее неподражаемую продукцию: Vinovos, Jellybos и, наконец, уникальную новинку — Tribos. Это не просто очень насыщенный, но и наполовину переваренный концентрат. Так, по всей видимости, компания проявляет свою любовь к ближнему — похожим образом папа и мама пингвины заботятся о своих голодных птенцах.

Столице нужны рабочие места — это факт. И я не имею ничего против компании как таковой. Однако именно сопереживание ближнему заставляет меня сожалеть о нечистоплотности

методов, к которым прибегает современная реклама. И пусть для кого-то реклама — это возможность продемонстрировать свою предприимчивость, изобретательность, дерзость и хитроумие, для меня это лишь доказательство повсеместного распространения той формы умственного расстройства, что называется легковерие.

В разных частях цивилизованного и нецивилизованного мира мне приходилось употреблять продукцию В.О.С., с большей или меньшей пользой для здоровья, но всегда без особого удовольствия. Если залить концентрат кипятком и обильно поперчить, то получается почти съедобно. Но вот их реклама всегда вставала у меня поперек горла. Наверно, они просто недостаточно ее приправили. Если мне не изменяет память, покупателям еще не обещают ни вечной молодости, ни чудесного воскрешения из мертвых. И откуда такая сдержанность? Впрочем, даже на подобные заманчивые предложения я бы вряд ли купился. Будучи простым смертным, я, конечно, подвержен всевозможным формам умственного расстройства, но только не самой распространенной. Я не легковерен.

Я понимаю, что это серьезное заявление. И оно стоило мне определенных усилий, принимая во внимание изложенную ниже историю. Я проверил факты, насколько это было возможно. Я поднял архивы французских газет, я расспросил офицера — начальника охраны на Иль-Рояль, когда в ходе моих странствий достиг Кайенны. Полагаю, что в общем и целом эта история достоверна. Ну кто станет сочинять о себе такое? История совсем не героическая, похвастаться тут нечем. Нет в ней и комических ситуаций, способных потешить извращенное тщеславие.

Это рассказ о механике парового катера, принадлежащего скотоводческому хозяйству Мараньон компании В.О.С., Ltd. Хозяйство занимает целый остров величиной с небольшую провинцию в дельте великой южноамериканской реки. Места дикие и не очень красивые, но трава на здешних равнинах отличается, по-видимому, особой питательностью и ароматом. Остров то и дело оглашают мычанием бесчисленные стада — низкие, тревожные звуки разносятся под открытым небом как

жуткий стон приговоренных к смерти. На материке, отделенный от острова двадцатью милями мутных бесцветных вод, стоит город, который называется, скажем, Орта.

Самое же любопытное, что этот остров, напоминающий каторжное поселение приговоренного скота, — единственное место обитания исключительно редкого и яркого вида бабочек. Примечательно, что вид этот даже более редок, нежели прекрасен. Я уже упоминал о своих странствиях. В то время я путешествовал в одиночку и в спартанских условиях, не знакомых современному обывателю, который может совершить кругосветное путешествие, попросту купив билет. Более того, у моих странствий имелась цель. По правде говоря, я — «Ха, ха, ха! — беспощадный убийца бабочек. Ха, ха, ха!»

В таком тоне высказывался о моем занятии мистер Гарри Джи, управляющий скотоводческим хозяйством. Он, казалось, считал меня величайшей нелепостью на свете. В.О.С. Со., Ltd., напротив, представлялась ему вершиной достижений девятнадцатого столетия. Полагаю, что спал он в крагах и при шпорах. Дни напролет он проводил в седле, стремительно пересекая равнины в сопровождении отряда полудиких всадников, которые звали его Дон Энрике и ничего толком не знали о компании В.О.С. Со., Ltd., платившей им жалованье. Он был отличным управляющим, только я никак не мог взять в толк, зачем, когда мы встречались за обеденным столом, нужно было хлопать меня по спине и громко, издевательски вопрошать: «Ну, как кровавый спорт? Бабочки не сдаются? Ха, ха, ха!» Тем более что он постановил взимать с меня по два доллара в день за гостеприимство В.О.С. Со., Ltd. (реальный акционерный капитал 1 500 000 фунтов стерлингов). Не сомневаюсь, что в grossбухе компании за тот год отражены и эти поступления. «Едва ли я смогу взять с вас меньше, не нарушив свой долг перед компанией», — без тени улыбки заметил он, когда мы обговаривали условия моего пребывания на острове.

Его зубоскальство было бы довольно безобидным, если бы общение на дружеской ноге в отсутствие каких бы то ни было дружеских чувств не было отвратительно само по себе. К тому же отпускаемые им шуточки вряд ли могли кого-то

по-настоящему развеселить. Его юморок сводился к назойливому повторению эпитетов, которыми он награждал окружающих, раздражаясь при этом взрывами хохота. «Беспощадный убийца бабочек. Ха, ха, ха!» — вот образец своеобразного остроумия мистера Джи, от которого сам он приходил в полный восторг. Примерно так же изящно управляющий шутил и во время нашей прогулки по берегу реки, когда он обратил мое внимание на механика парового катера.

Над палубой, по которой были раскиданы рабочие инструменты и детали механизмов, показались голова и плечи: механик чинил двигатель. Услышав наши шаги, он обеспокоенно поднял голову. Его запачканное лицо с заостренным подбородком и светлыми усиками показалось мне усталым и изможденным в зеленоватой тени громадного дерева, раскинувшего свои ветви над пришвартованным возле самого берега катером. К моему удивлению, Гарри Джи назвал его Крокодилом — в той самодовольной и насмешливо-издевательской манере, что так свойственна людям этой милейшей породы.

«Ну чего, Крокодил, работа спорится?»

Мне следовало упомянуть, что любезный Гарри, понабравшись в какой-то колонии французских словечек, произносил их, неестественно чеканя каждый звук, как будто хотел поиздеваться над языком. Мужчина на катере тотчас же отозвался приятным голосом. Его глаза были влажными, взгляд мягким, между тонкими, бескровными губами сверкнули ослепительно-белые зубы. Управляющий повернулся ко мне и очень весело и громко объявил:

«Я зову его Крокодилом, потому что полжизни он проводит в реке, а другую половину — на суше. Земноводное — понимаешь? Кроме крокодилов, на острове больше нет земноводных; выходит, он — один из них, верно? Но на самом деле он — un citoyen anarchiste de Barcelone».

«Гражданин анархист из Барселоны?» — тупо повторил я, глядя на механика. Тот вернулся к работе в машинном отделении и, согнувшись, встал к нам спиной. Несмотря на это, я отчетливо услышал, как он возразил:

«Я даже по-испански не говорю».

«Ты что? Смеешь отрицать, что ты из тех краев?» — свирепо набросился на него достопочтенный управляющий.

Выронив гаечный ключ, механик выпрямился и в упор посмотрел на нас. Он весь дрожал.

«Я ничего не отрицаю, ничего!» — повторял он взволнованно.

Он поднял гаечный ключ и снова взялся за работу, не обращая на нас внимания. Понаблюдав за ним около минуты, мы ушли.

«Он действительно анархист?» — спросил я, когда он уже не мог нас слышать.

«Меня не волнует, кто он такой, — ответил весельчак из В.О.С.Со. — Я дал ему это прозвище исключительно ради удобства. Так лучше для компании!»

«Для компании?» — воскликнул я, резко остановившись.

«Ха!» — ликование читалось на его безусом лице с приплюснутым, как у мопса, носом. Он широко расставил худые длинные ноги и пустился в объяснения: «Ты удивлен? Для компании я обязан делать все, что в моих силах. Расходы — бешеные. Суди сам, наш агент в Орте сообщает, что компания тратит пятьдесят тысяч фунтов на рекламу по всему миру! Надо ж показать товар лицом — как тут сэкономишь? Нет, ты послушай. Когда я вступил в должность, в хозяйстве не было даже катера. Уж как я его выпрашивал, в каждом письме напоминал, и получил-таки, наконец. А вот механик, которого они прислали, продержался всего два месяца, потом пришвартовал катер в Орте и сбежал. Нашел себе местечко посытнее на лесопилке, вверх по реке, — да и черт с ним. Но с тех самых пор — одна и та же песня. Любой проходимец, будь то шотландец или янки, гораздый величать себя механиком, поступает на восемнадцать фунтов в месяц, а потом, глядишь, его и след простыл. Хорошо, если не сломал ничего напоследок. Слово даю, ко мне приходили наниматься такие типы, что не могли отличить котла от топки. А этот парень свое дело знает, и я не собираюсь его отпустить. Ясно?»

Чтобы усилить впечатление от своей тирады, он даже легонько толкнул меня в грудь. Я, однако, научился не обращать

внимания на своеобразные манеры Гарри Джи и хотел лишь узнать, с какой стати он решил, что механик анархист.

«Да ладно, — ухмыльнулся управляющий. — Представь, вдруг ты видишь, как среди прибрежных кустов крадется босой бродяга. А меньше чем в миле от острова полная шхуна черномазых спешит уйти подальше в море. Не с неба же он свалился? А ему неоткуда больше взяться — либо с неба, либо из Кайенны. Меня не проведешь. Я как только эту подозрительную игру заметил, сразу сказал себе: беглый каторжник. Для меня это было так же очевидно, как то, что ты сейчас стоишь передо мной. Вот я и пришпорил прямо на него. Он продержался чуток на песчаном выступе, выкрикивая „Monsieur! Monsieur! Arrêtez!“, но в последний момент сорвался и побегал сломя голову.

А я про себя говорю: „Э, брат, я тебе рога-то пообломаю“. И тут же припустил за ним, преграждая все пути к бегству. Постепенно оттесняя к морю, я в конце концов настиг его на отмели. Он стоял по щиколотку в воде, а за ним только море да небо. Мой конь бил песок копытом и тряс головой в ярде от него.

Он скрестил руки на груди и эдак отчаянно выпятил подбородок — видали прощельгу! Но меня-то на эти фокусы не купишь.

„Да ты беглый каторжник“, — говорю.

Когда он услышал французский, у него отвисла челюсть и он изменился в лице.

„Я ничего не отрицаю“, — сказал он, не в силах отдышаться, ведь моя лошадь заставила его хорошенько побегать. Я спросил, что он здесь делает. Наконец, он перевел дух и объяснил, что ищет ферму, которая, если он правильно понял (из разговоров людей на шхуне, судя по всему), находится где-то неподалеку. Тут я громко рассмеялся, чем привел его в замешательство. Так его обманули? Поблизости нет никакой фермы?

А я все смеялся и смеялся. Он шел пешком, и, ясное дело, первое же стадо быков втоптало бы его в землю. У пешего человека, который попадетсЯ быкам на пастбище, нет ни малейшего шанса.

„Тебе еще повезло, что я на тебя наткнулся, я ведь жизнь тебе спас“, — говорю. „Может, и так, — отозвался он, — только вот мне показалось, что вы решили забить меня копытами“. Я уверил его, что при желании это не составило бы труда. И тут в воздухе повисла пауза. Я загнал его в воду, но теперь, хоть убей, не знал, что с ним делать. Мне пришло на ум спросить, за что его сослали. Он повесил голову.

„За что? — говорю. — Воровство? Убийство? Изнасилование?“ — Мне хотелось услышать, что он сам на это скажет, хотя, конечно, я не сомневался, что он соврет. Но в ответ я услышал только:

„Думайте, что хотите. Я ничего не буду отрицать. В этом нет никакого толку“.

Я оглядел его повнимательней, и тут меня осенило.

„Там ведь и анархистов держат, — сказал я, — наверно, ты один из них“.

„Я ничего не отрицаю, monsieur“, — повторил он.

Такой ответ заставил меня подумать, что он, может, и не анархист. Эти чертовы психи так гордятся собой, что будь он одним из них, то, скорей всего, признался бы сразу.

„Кем ты был до каторги?“

„Ouvrier, — ответил он. — И, смею заметить, — неплохим рабочим“.

Тут уж я решил, что он все-таки анархист. Они ж в основном из рабочего класса, так ведь? Ненавижу бомбометателей, этих малодушных тварей. Я уже было решил повернуть лошадь и оставить его умирать от голода или потонуть — пусть сам выбирает. Добраться до меня у него не выйдет — на другой конец острова его не пропустит стадо. Но что-то дернуло меня спросить:

„Так чем ты занимался?“

Мне было плевать, ответит он или нет. Но когда он мгновенно отрапортовал: „Mécanicien, monsieur“, — я чуть не подпрыгнул в седле. Неисправный катер простаивал в устье вот уже три недели. Мой долг перед компанией был очевиден. Он тоже заметил мою неожиданную реакцию, и минуту-другую мы смотрели друг на друга как замороженные.

„Садись в седло позади меня, — сказал я. — Приведешь в порядок мой паровой катер“.

В таких выражениях достопочтенный управляющий хозяйством Мараньон рассказал мне о появлении предполагаемого анархиста. Отпускать он его не собирался — из чувства долга перед компанией. А с такой кличкой работу в Орте точно не найти. Вакерос, когда им случалось покидать ферму, разносили слухи по всему городу. Они понятия не имели, что значит «анархист» и что такое Барселона, и называли его Анархист Барселонский, будто *это* имя и фамилия. Зато горожане знали про анархистов из газет, и доходившие из Европы истории производили на них сильное впечатление. Над шутовским титулом «Барселонский» мистер Гарри Джи потешался с особым удовольствием. «Эта порода славится своей свирепостью, не так ли? И народ с лесопилок тем паче боится иметь с ним дело, понимаешь? — откровенно торжествовал он. — Это имя держит его надежнее, чем если бы я приковал его за ногу к палубе катера».

«И заметь, — добавил он, немного помолчав, — он этого не отрицает. Тут нет никакой несправедливости. Он ведь беглый каторжник, как ни крути».

«Но жалованье-то вы ему платите?» — спросил я.

«Жалованье! На что ему здесь деньги? От меня он получает еду и одежду. В конце года я дам ему что-нибудь, конечно. Не думаешь же ты, что я найму преступника и стану платить ему, как честному работяге? Я действую исключительно в интересах компании».

Я согласился, что раз уж на рекламу уходит более пятидесяти тысяч в год, то режим жесточайшей экономии просто необходим. Управляющий хозяйством Мараньон одобрительно крякнул.

«И вот что я тебе скажу, — продолжал он, — знай я точно, что он анархист, и осмелся он попросить у меня денег, я б ему пинка отвесил. Впрочем, не пойман — не вор. Я бы охотно поверил, что он попросту пырнул кого-то ножом, при смягчающих обстоятельствах, — вполне себе по-французски, знаешь ли. А вот эти кровожадные идеи, что надо, мол, избаваться от закона и порядка во всем мире, приводят меня

в бешенство. У каждого достойного, уважаемого работника они почву из-под ног выбьют. Говорю тебе, надо как-то оградить всех, у кого совесть чиста. Таких, как ты или я. Иначе первый попавшийся негодяй будет мне ровней во всем. Разве нет, а? Но это же чушь!»

Он уставился на меня. Я едва заметно кивнул и пробормотал, что определенный смысл в его словах, несомненно, прослеживается.

Основная мысль, которая прослеживалась в рассказах механика Поля, состояла в том, что сущая мелочь может сломать человеку жизнь.

«Il ne faut pas beaucoup pour perdre un homme», — глубоко-мысленно сказал он мне однажды.

Я передаю эту мысль на французском, поскольку человек этот был родом из Парижа, а вовсе не из Барселоны. В Мараньоне он жил на отшибе, в маленьком сарае с железной крышей и соломенными стенами. Этот сарай он называл *mon atelier*. Там у него было рабочее место. Ему выдали несколько попона и седло — не то чтобы ему приходилось ездить верхом, просто такими постельными принадлежностями пользовались «руки» фермы — вакерос. Вот и он, словно сын равнин, спал на упряжи, посреди рабочих инструментов, в хаосе ржавых железяк, с переносной кузницей у изголовья, под рабочим столом, с которого свисала закоптелая москитная сетка.

Время от времени я подбрасывал ему свечные огарки, остававшиеся от скудного пайка, что выдавали мне в доме управляющего. Поль принимал их с благодарностью. Он признался, что не любит лежать без сна в потемках, и пожаловался, что сон бежит от него. «*Le sommeil me fuit*», — заявил он, и эти слова, в которых слышались присущие ему смирение и готовность принимать все как есть, пробудили во мне сочувствие. Я дал понять, что не придаю особого значения его тюремному прошлому.

Однажды вечером он завел разговор о себе. Как только огарок на краю верстака догорел дотла, он поспешил зажать новый.

Пройдя военную службу в провинциальном гарнизоне, он вернулся в Париж, чтобы снова заняться своим ремеслом. Его работа неплохо оплачивалась. Он с гордостью сообщил, что в скором времени стал зарабатывать не меньше десяти франков в день и уже подумывал открыть свою мастерскую и жениться.

Тут он глубоко вздохнул и замолчал. Затем так же смиренно произнес: «Наверное, я просто плохо себя знал».

На его двадцать пятый день рождения двое друзей по ремонтной мастерской предложили устроить ужин в его честь. Он был необычайно тронут таким участием.

«Я человек скромный, — пояснил он, — но в дружеском общении нуждаюсь не меньше других».

Для пирушки выбрали маленькое кафе на бульваре де ля Шапель. За ужином выпили хорошего вина. Вино было прекрасное. Все было прекрасно, и мир — по его собственным словам — стоил того, чтобы жить. У него были планы на будущее, небольшие сбережения и поддержка лучших на свете друзей. После ужина он предложил заплатить за напитки — должен же был и он внести свой вклад.

Они выпили еще вина. Потом пили ликер, коньяк, пиво, затем снова ликер и снова коньяк. Двое сидящих за соседним столом поглядывали на него так дружелюбно, что он пригласил их присоединиться к веселью.

Столько он отродясь не пил. Сердце его так и рвалось из груди от счастья, и как только восторг стихал, он торопился сказать еще выпивки.

«Мне казалось, — говорил он в своей смиренной манере, уставившись в пол мрачного жилища, по стенам которого плясали тени, — что я вот-вот окажусь на вершине сказочного блаженства. Еще стаканчик — и я там. Все остальные, кстати, не отставали и пили наравне со мной».

Но случилось непредвиденное. Из-за фразы, брошенной одним из незнакомцев, восторг сменился печалью. Мрачные мысли — *des idées noires* — закружились у него в голове. Весь мир за стенами кафе стал казаться зловещим и несправедливым местом, где миллионы страждущих бедолаг до конца

своих дней обречены на подневольный труд ради тех немногих, кто разъезжает в каретах и живет в роскошных дворцах. Он устыдился своего счастья. Сердце сжалось от мысли о жалком жребии человека. Когда он попытался выразить свои чувства, его голос дрожал от волнения. Он то всхлипывал, то бранился.

Новоиспеченные знакомые не преминули поддержать его праведный гнев. Да, несправедливости в мире и впрямь — через край. И есть только один способ бороться с прогнившим обществом. Распустить эту проклятую лавочку. И пусть весь этот чудовищный балаган взлетит на воздух.

Склонившись над столом, они о чем-то вещали ему громким шепотом, едва ли представляя себе, во что это выльется. Он был пьян в стельку. С неистовым ревом он вдруг вскочил на стол. Бутылки и стаканы полетели на пол, а он завопил: «*Vive l'anarchie!* Смерть капиталистам!» Он выкрикивал это снова и снова. Под ногами хрустело стекло, началась потасовка, в ход пошли даже стулья, кого-то схватили за глотку. Ворвалась полиция. Он размахивал кулаками, кусался, царапался, пока что-то не обрушилось ему на голову...

Пришел в себя он уже в камере, заключенный под стражу по обвинению в нападении, подстрекательстве и анархистской пропаганде.

Он пристально посмотрел на меня своими светлыми влажными глазами, которые в сумерках казались огромными. Потом тихо добавил: «Скверно, конечно. Но ведь даже тогда я еще мог спастись».

Это вряд ли. Шансы и так были невелики, а молодой адвокат-социалист, который вызвался его защищать, лишил его последней надежды. Напрасно Поль уверял, что он вовсе не анархист, а скромный, порядочный механик, который только рад вкалывать в своей мастерской по десять часов в день. На суде его представили жертвой общества, а его пьяные крики — выражением нескончаемых страданий. Молодой адвокат преследовал свой интерес — этот процесс как нельзя лучше подходил для успешного начала карьеры. Речь защитника была признана блестящей.

Бедняга Поль замолк, сглотнул и подытожил: «Для ранее не судимого я получил максимальный срок».

Я пробурчал нечто подобающее. Он опустил голову и скрестил руки.

«Когда меня выпустили из тюрьмы, — начал он тихо, — я первым делом направился в свою старую мастерскую. Прежде *патрон меня* привечал, но теперь, едва увидев, позеленел от страха и дрожащей рукой указал на дверь».

Поль был удручен. В полном замешательстве стоял он посреди улицы, когда к нему подошел средних лет мужчина и представился механиком. «Я тебя знаю, — сказал он Полю. — Я был на суде. Ты *настоящий* товарищ и правильно смотришь на мир. Но штука в том, брат, что на работу тебя теперь никто не возьмет. Эти буржуи сговорились сжить тебя со свету. У них свои методы. От богатых милости не жди».

От того, что с ним так участливо заговорили на улице, Полю заметно полегчало. Он, по-видимому, был из тех, кому поддержка и сочувствие просто необходимы. Мысль, что он нигде не сможет найти работу, привела его в полное отчаяние. Уж если патрон, который знал его как спокойного, порядочного, толкового работника, не хочет иметь с ним дела — о других и думать нечего. Это было ясно как день. Полиция не спускает с него глаз и не замедлит предупредить любого, кто решится ему помочь. Внезапно он почувствовал себя совершенно беспомощным и никому не нужным. И он последовал за человеком средних лет в маленькое кафе за углом, где они познакомились с другими настоящими товарищами. Его заверили, что умереть с голоду ему не дадут, даже если он не найдет работу, и они дружно выпили за полную победу над капиталистами и за разрушение общества.

Поль сидел, покусывая губу.

«Вот так, месье, я и стал товарищем, — сказал он и провел дрожащей рукой по лбу. — Как ни крути, а с миром, где человек может пропасть из-за лишнего стаканчика, что-то не так».

Он не поднимал глаз, но я видел, что за его унынием скрывается растущее возбуждение. Он ударил ладонью по скамье.

«Нет! — вскричал он. — Это было невыносимо! Под надзором полиции и товарищей я больше себе не принадлежал! Даже когда я шел снять пару франков со счета, за мной наблюдал какой-нибудь камрад. Он поджидал у дверей и присматривал, чтобы я не удрал. А сами-то они были по большей части обыкновенными домовниками. Идейними, надо признать. Они грабили богатых и, как они сами объясняли, — забирали то, что по праву принадлежало им. Когда я выпивал, я им верил. Среди них были простаки, но были и настоящие безумцы. Des exaltes — quoi! Пьяный я их обожал. Когда перебирал, то еще и злился на весь мир. Это и было мое отдохновение. Ярость стала моим прибежищем. Но невозможно ведь все время быть пьяным — *n'est-ce pas, monsieur?* А когда я трезвел, то боялся вырваться оттуда. Они бы закололи меня, как свинью».

Он снова сложил руки, а острый подбородок его приподнялся от горькой улыбки.

«Вскоре мне объявили, что пора приступать к работе. А работа была такая — грабить банк. А потом его же и взорвать. Я, как новичок, должен был следить за черным ходом и таскать котомку с бомбой, пока она не понадобится. После встречи, на которой все было окончательно спланировано, верные соратники не отпускали меня ни на шаг. Спорить я не осмеливался, иначе меня тихо прикончили бы прямо в комнате. Когда мы шли на дело, я подумал, не лучше ли броситься в Сену. Но пока я это обдумывал, мы пересекли мост, а потом у меня не было уже такой возможности».

В неровном свете огарка мне казалось, что передо мной сидит изящный молодой человек с пушистыми усиками и тонкими чертами лица, но пламя свечи качнулось, и на его месте я увидел дряхлого старика, скорбно прижимающего к груди дрожащие руки.

Он молчал, и я посчитал нужным спросить:

«Ну и чем все это кончилось?»

«Ссылкой в Кайенну», — ответил он.

Видно, кто-то выдал заговорщиков. Полиция налетела, когда он с котомкой в руке стоял на стреме в глухом переулке. «Эти олухи» сбили его с ног, даже не посмотрев, что у него

в руках. Удивительно, что бомба не взорвалась при падении. Но она не взорвалась.

«Я рассказал свою историю на суде, — продолжил он. — Председателя она позабыла. Какие-то идиоты в зале смеялись».

«Но сообщников ведь тоже задержали?» — с надеждой спросил я. Едва заметно вздрогнув, он сказал, что с ним было двое — Симон, по прозвищу Сухарь, механик средних лет, тот самый, что заговорил с ним на улице, и товарищ по имени Мафиль — один из отзывчивых незнакомцев в кафе, которые подбадривали и утешали его, когда, захмелев, он проникся состраданием к человечеству.

«Да, — продолжал Поль с видимым усилием, — мне повезло оказаться в их компании на острове Святого Иосифа вместе с сотней других заключенных. Все мы считались особо опасными преступниками».

Остров Иосифа, зеленый и каменистый, изрезанный неглубокими оврагами, покрытый зарослями кустарников и рощицами манговых деревьев, со множеством лохматых пальм, был самым красивым в архипелаге Иль-де-Салю. Вооруженных надзирателей на острове было всего шесть человек.

На острове Иль-Рояль, по другую сторону пролива шириной в четверть мили, находилась военная база. С шести утра между ней и островом Иосифа начинала ходить восьмивесельная галера. В четыре дня она отправлялась в небольшой охраняемый док, и сообщение с островом, отрезанным от остального мира, прекращалось. До следующего утра пролив сторожили многочисленные акулы, а надзиратели следили за дорогой между своим жилищем и бараками каторжан.

В таких условиях каторжники задумали мятеж. Ничего подобного история этого исправительного учреждения еще не знала, но замысел казался им осуществимым. Ночью охранников можно было застать врасплох и перебить. Затем, уже с оружием в руках, предстояло напасть на галеру и расстрелять экипаж, завладеть остальными суденышками и отплыть всей компанией на материк.

На закате двое дежурных надзирателей, как обычно, пересчитали заключенных. Затем пошли проверять

бараки — убедиться, все ли в порядке. Во втором на них уже набросились. Нападавших было столько, что они задавили надзирателей, просто навалившись на них. Быстро стусились сумерки. Было новолуние; резкие порывы ветра собирали над берегом тяжелые черные тучи, от которых ночная тьма становилась совсем непроглядной. Каторжники собрались на открытом месте и, стараясь не повышать голоса, стали спорить, что им делать дальше.

«Вы были с ними?» — спросил я.

«Нет. Я, конечно, знал, что они замыслили. Но мне-то за чем убивать надзирателей? Они мне ничего не сделали. Но я боялся остальных. Что бы ни случилось, от них мне было не уйти. Я сидел на пне, обхватив голову руками. Я понял, что свободы мне уже не видать, и эта мысль болью отдавалась в сердце. Тут я вздрогнул, различив очертания человека на дорожке неподалеку от меня. Он стоял не шелохнувшись, затем его силуэт растворился в ночи. Видимо, главный надзиратель пришел проверить, что случилось с его людьми. Его никто не заметил. Каторжники продолжали свой спор. Главари не могли их унять. Ожесточенный шепот этой темной людской массы пробирал до дрожи.

Наконец они разделились на два отряда и разошлись. Когда они прошли мимо, я встал, не чувствуя в себе ни сил, ни надежды. Дорога к дому надзирателей была темной, и только шелест обрамлявших ее кустов нарушал тишину. Вскоре я увидел слабую полосу света. Главный надзиратель и трое охранников осторожно продвигались к баракам. Однако по тайной фонарь в его руках пропускал свет, который заметили и каторжники. Раздался дикий вопль. В беспорядочной схватке на темной тропе слышались выстрелы, удары, стоны, и, ломая кусты, охотники за надзирателями погнались своих жертв вглубь острова. Я остался один. И я вас уверяю, месье, все происходящее я воспринимал с полным безразличием. Постояв какое-то время, я пошел вдоль дороги, пока не наступил на что-то твердое. Я наклонился и поднял револьвер надзирателя. Пальцы нащупали в барабане пять пуль. Сквозь порывы ветра я услышал, что где-то далеко заключенные звали друг друга, но затем раскат грома заглушил и шелест, и шум деревьев. Вдруг

по тропе пробежал длинный луч света, выхватив из темноты подол женской юбки с краешком фартука.

Я узнал жену главного надзирателя. Похоже, о ней все забыли. Где-то в глубине острова раздался выстрел, она вскрикнула и побежала к берегу. Я последовал за ней и вскоре увидел ее снова. Одной рукой она тянула за веревку большого колокола на краю причала, другой — махала из стороны в сторону тяжелым фонарем. Это был условный сигнал для Иль-Рояль, означавший просьбу о помощи. Ветер уносил звук далеко от берега, а свет от фонаря, которым она размахивала, не проникал на остров из-за деревьев, что росли возле дома надзирателей.

Я подошел к ней совсем близко. Она сигналила безостановочно, не оглядываясь по сторонам, будто кроме нее на острове никого не было. Отважная женщина, месье. Я спрятал револьвер за пазуху и стал ждать. Вспышки молнии и удары грома то и дело сводили на нет ее усилия, но она ни разу не сбилась, равномерно, как машина, дергала за веревку и размахивала фонарем. Это была миловидная женщина лет тридцати, не больше. Я подумал: в такую ночь это добром не кончится. И решил про себя: если мои друзья каторжники подойдут к причалу — что было неизбежно, — я прострелю ей голову, прежде чем прикончу себя. Я хорошо знал этих „товарищей“. Мой замысел, месье, придал моей жизни хоть какой-то смысл, и я тотчас отступил на несколько шагов и притаился за кустом, чтобы по глупости не выдать себя. Я не хотел, чтобы меня застигли врасплох и лишили возможности оказать последнюю услугу хоть одному человеческому существу, прежде чем я погибну сам.

Надо полагать, что сигнал все-таки заметили. Галера с Иль-Рояля пришла на удивление быстро. Женщина продолжала сигналить, пока в луче фонаря не появился старший офицер и не сверкнули штыки солдат на судне. Лишь тогда она села и зарыдала.

Теперь мои услуги ей ни к чему. Я не шелохнулся. Некоторые солдаты были в одних рубахах, кто-то босиком, сигнал тревоги многих застал врасплох. Они пробежали мимо моего куста. Галеру отправили за подкреплением. Женщина рыдала, сидя в одиночестве на краю причала, фонарь стоял рядом.

Неожиданно в пятне света на краю причала я заметил красные панталоны. Я оцепенел. Еще двое. Эти тоже бросились бежать. Их незастегнутые мундиры развевались на ветру, головных уборов не было. Один из них выпалил на бегу: „Давай напрямик!“

Эти-то откуда взялись, недоумевал я, медленно пробираясь к причалу. Я увидел вздрагивающий от рыданий силуэт женщины, и вот уже смог разобрать слова: „Бедный ты мой, бедный! Бедный мой, несчастный!“ Она не слышала и не видела ничего вокруг. Она вся сгорбилась и, уткнувшись лицом в фартук, раскачивалась из стороны в сторону. Но тут я заметил маленькую лодку, привязанную к свае.

Должно быть, те двое — из младших, похоже, офицеров — опоздали на галеру и решили догнать на лодке. Просто невероятно — нарушить устав из чувства долга! Невероятно — и глупо. Я не верил своим глазам, даже когда уже залезал в лодку.

Я медленно греб вдоль берега. Зловещая туча нависла над Иль-де-Салю. Я слышал выстрелы, крики. Охота возобновилась, теперь — за каторжниками. Грести было неудобно — весла оказались слишком длинными. Я с трудом управлялся с ними, хотя сама лодка была легкая. Но когда я добрался до противоположной части острова, начался страшный ливень с порывами шквального ветра. Я не смог бы плыть дальше. Я выбрал весла, меня прибило к берегу, и я привязал лодку.

Местность была мне знакома. Неподалеку от моря там была старая полуразрушенная хибара. Укрывшись в ней, я сквозь шум ветра и проливной дождь слышал, как кто-то продирается через кусты. Вот они выбрались на берег. Может, солдаты? Вдруг вспышка молнии осветила все вокруг и резко обозначила силуэты. Два каторжника!

Удивленный голос тотчас воскликнул: „Ну и чудеса!“ Это был голос Симона по прозвищу Сухарь.

А другой голос проворчал: „Какие еще чудеса?“

„Да здесь лодка!“

„Ты, верно, спятил, Симон! А ведь и вправду... Лодка“.

Они будто дар речи потеряли. Вторым был Мафиль. Он вновь, с опаской, заговорил:

„Она привязана. Должно быть, здесь кто-то есть“.

„Я здесь“, — заговорил я с ними из укрытия.

Они подошли ко мне и сразу же объяснили, что лодка их, а не моя. „Нас двое, — сказал Мафиль, — против тебя одного“.

Я вышел наружу и держался в стороне от них, чтоб не получить предательский удар по голове. Я бы мог пристрелить их на месте. Но я ничего не сказал, сдерживая подступающий к горлу смех. Я унижался и умолял, чтобы меня пустили в лодку.

Они вполголоса совещались, как со мной поступить, а я держал револьвер за пазухой и мог в любой момент покончить с ними. Но я пощадил их. Они были нужны мне на веслах. С лакейским почтением я говорил, что знаю, как управлять лодкой, и что, если нас будет трое, мы сможем по очереди отдыхать. Наконец это их убедило. Пришло мое время. Все это было так смешно, что еще немного — и я завопил бы, как умалишенный».

Тут его волнение вырвалось наружу. Он вскочил со скамьи и начал жестикулировать. Огромные тени его рук метались по крыше и стенам, и казалось, что сарай уже не вмещает его возбуждения.

«Я ничего не отрицаю! — воскликнул он. — Я ликовал, месье, я испытал своего рода счастье. Но виду не показывал. Всю ночь мы гребли по очереди и вышли в открытое море, надеясь встретить проходящий корабль. Это было отчаянное решение, но я их убедил. Восход осветил тихое море, Иль-де-Салю мелькал черными крапинками поверх пологих волн. Я сидел на руле. Мафиль, который греб на носу, выругался и сказал: „Нам нужно отдохнуть“.

И вот, наконец, пришел мой черед смеяться. Тут уж я дал себе волю, это точно. Я держался за бока и даже скрючился от хохота, у них были такие испуганные лица. „Что с ним, он осатанел?“ — закричал Мафиль.

А Симон, который сидел ближе ко мне, бросил ему через плечо: „Разрази меня гром, если он не спятил!“

Тут я достал револьвер. Ага! В одно мгновение их глаза повылезали из орбит дальше некуда. Ха-ха! Они испугались.

Но продолжали грести. Да, гребли весь день, то с ожесточением, то еле ворочая веслами от усталости. Я наблюдал это во всех подробностях, потому что должен был следить за ними неотрывно, иначе они скрутили бы меня враз. Я положил руку с револьвером наизготове, другой же правил рулем. Кожа на их лицах вздулась волдырями. Казалось, и небо и море были охвачены пламенем, море будто дымилось на солнце. Лодка шипела, рассекая волны. Иногда у Мафиля шла пена ртом, он начинал стонать. Но продолжал грести. У него не хватало духу остановиться. Глаза его налились кровью, он искусал губы в кровь. Хрип Симона уже больше походил на карканье.

„Товарищ“, — начал он.

„Здесь нет товарищей. Я ваш патрон“.

„Ладно, патрон, — смирился он, — во имя человечности, разреши отдохнуть“.

Я разрешил. На дне лодки плескалась дождевая вода. Я позволил им зачерпнуть ее. Но отдав приказ „En route!“, я заметил, как они обменялись многозначительными взглядами. Решили, что рано или поздно меня возьмет сон. Ха! Спать-то мне как раз и не хотелось. Я был бодр как никогда. Они сами заснули прямо на веслах и рухнули с банок один за другим. Я оставил их лежать. На небе высыпали все звезды. Мир был безмолвен. Солнце встало. Новый день. *Allez! En route!*

Они гребли из последних сил. Их глаза закатывались, языки вывалились. Солнце еще не достигло зенита, когда Мафиль прохрипел: „Завалим его, Симон. Лучше пулю словить, чем помирать тут на веслах от жажды, голода и усталости!“

Он хрипел, но не переставал грести. Симон тоже не отставал. Я ухмыльнулся. Ну и ну! Да эти двое, оказывается, любят жизнь и свой подлый мирок так же, как и я, черт возьми, любил свою, пока они не испоганили ее своими лозунгами. Я дождался, пока они вконец выдохлись, и только тогда указал им на корабль, что виднелся на горизонте.

Ха! Видели бы вы, как они оживились, с каким рвением снова принялись за дело! Я следил за тем, чтобы они держали курс на корабль. Их как подменили. От подобия жалости, что

я было к ним испытывал, не осталось и следа. С каждой минутой они все больше и больше напоминали себя прежних. Они посмотрели на меня — их глаза я и сейчас помню очень хорошо. Они были счастливы. Они улыбались.

„Что ж, — сказал Симон, — упорство этого парнишки спасло нам жизнь. Если б не он — вряд ли мы догребли бы до открытого моря, где ходят корабли. Товарищ, я прощаю тебя. Я восхищаюсь тобой“.

А Мафиль завопил с носа: „Мы в неоплатном долгу перед тобой, товарищ! Ты — прирожденный вождь!“

„Товарищ!“ Месье! До чего ж ладное слово! А из-за таких, как эти двое, оно стало бранным. Я смотрел на них и вспоминал их ложь, и обещания, и угрозы, все дни своих страданий. Почему они не оставили меня в покое, когда я вышел из тюрьмы? Глядя на них, я понял, что, пока они живы, свободы мне не видать. Никогда. Ни мне, ни другим парням с горячим сердцем и неокрепшим умом. Я ведь знаю, что умом я слаб, месье, особенно когда выпью. Черное бешенство обуяло меня — гнев высочайшего градуса, но социальная несправедливость тут была уже ни при чем. О, нет!

„Я должен быть свободен!“ — в исступлении крикнул я.

„Vive La Liberté! — завопил подонок Мафиль. — Mort aux bourgeois, которые отправляют нас в Кайенну! Скоро они узнают, что мы на свободе!“

И небо, и море до самого горизонта будто окрасились багровым, вокруг лодки все стало кроваво-красным. В висках стучало так громко, что я удивлялся, как они не слышат. Неужели не слышат? Неужели не понимают?

Тут Симон спросил: „Может, уже приплыли?“

„Да, — сказал я. — Приплыли“. Мне было жаль его; ненавидел-то я другого. С громким вздохом выбрав весло, он поднял руку вытереть лоб — как человек, выполнивший свою работу, — и тут я спустил курок револьвера и вот так, с колена, попал ему прямо в сердце.

Он рухнул, голова свесилась за борт. Я даже не взглянул на тело. Второй пронзительно закричал. Вопль ужаса. И снова тишина.

Он сполз по банке на колени, поднял сжатые ладони к лицу, в мольбе. „Пощади, — прошептал он чуть слышно. — Пощади меня, товарищ!“

„Эх, товарищ, — негромко отвечал я, — да, товарищ, конечно. Только крикни „Vive l’anarchie!“

Он вознес лицо и руки к небу и широко раскрыл рот в вопле отчаяния. „Vive l’anarchie! Vive...“

Пуля прошила голову насквозь, и он рухнул замертво.

Я вышвырнул обоих за борт. Туда же отправился и револьвер. Тихо опустился на банку. Наконец-то свобода! Наконец! Меня охватило такое безразличие ко всему, что я упустил из виду приближающееся судно. Должно быть, я просто уснул. Вдруг послышались крики, и я увидел над собой корабль. Меня взяли на борт, а шлюпку привязали за кормой. Кроме капитана-мулата, все остальные на судне были неграми. Он единственный знал несколько слов по-французски. Я так и не разобрался, кто они и куда направляются. Каждый день мне давали сносную еду, при этом нередко обсуждали меня на своем языке, что мне совершенно не нравилось. Может, они собирались бросить меня за борт, чтобы завладеть шлюпкой. Когда мы проходили мимо этого острова, я спросил, обитаем ли он. Капитан сказал, что на нем есть какое-то жилье. Что-то вроде фермы, насколько мне удалось понять. Я попросил высадить меня, а шлюпку оставить себе, в благодарность за участие. По-моему, именно этого они и хотели. Остальное вы знаете».

После этих слов он окончательно перестал владеть собой, быстро заходил взад и вперед, пока наконец не перешел на бег; он размахивал руками как ветряная мельница, и его восклицания были похожи на бред. Суть их сводилась к тому, что он ничего, ничего не отрицает. Мне оставалось только сидеть в стороне и повторять: «Calmez vous, calmez vous», — пока его возбуждение не выдохлось.

Должен признаться, что уже после того, как он заполз под свою москитную сетку, я еще долго не уходил. Он умолял меня не оставлять его одного; и я — во имя человечности — сидел с ним, как с беспокойным ребенком, пока он не уснул.

В общем и целом я склоняюсь к тому, что анархист в нем сидел куда глубже, нежели он готов был признаться себе или мне. И потому, оставив за скобками его особенную во всех отношениях историю, Поля можно поставить в один ряд со многими анархистами. Горячее сердце, неокрепший ум — вот альфа и омега этой трагедии. Правда в том, что неразрешимые противоречия и гибельные конфликты тлеют в каждой душе, открытой для чувств и страстей.

Я наводил справки и могу подтвердить, что историю о бунте каторжников он изложил во всех подробностях и совершенно правдиво.

По возвращении в Орту из Кайенны, я видел «анархиста» еще раз. Выглядел он не лучшим образом. Он еще больше исхудал, и его болезненная бледность была заметна даже под пятнами сажи, неизбежными для людей его профессии. Очевидно, рацион из мяса головного стада компании (в неконцентрированном виде) не подходил ему совершенно.

Мы встретились в Орте на причале; я пытался уговорить его оставить катер там, где он пришвартован, и немедленно ехать со мной в Европу. Приятно было представить изумление и ярость выдающегося управляющего, когда он узнает о побеге. Но он был непоколебим.

«Вы же не собираетесь остаться тут навсегда!» — воскликнул я. Он покачал головой.

«Я умру здесь», — сказал он. И добавил, нахмурившись: «Подальше от них».

Иногда я представляю, как он лежит с открытыми глазами на своей упряжи среди инструментов и ржавого железа — когда-то анархист, а ныне раб хозяйства Мараньон, — и смиренно ждет сна, что «бежит от него», как он выражался в своей неповторимой манере.

Осведомитель

История ироническая

Мистер Икс приехал ознакомиться с моей коллекцией китайской бронзы и фарфора. О его визите я узнал заблаговременно из письма своего давнего парижского приятеля.

Приятель мой тоже коллекционер. Но собирает он не фарфор с бронзой, не картины или медали и не марки — то, что могло бы с выгодой уйти с молотка, его не интересует. Наверное, он бы искренне удивился, если б его представили коллекционером. Тем не менее по природе своей он именно что собиратель. И собирает он знакомства. Дело это деликатное. Он вкладывает в него всю страсть, целеустремленность и терпение истинного собирателя раритетов. В его коллекции нет королевских особ — видимо, он считает их недостаточно редкими и стоящими внимания. Но, за этим исключением, он встречался и общался с каждым, кто по той или иной причине представлял интерес. Он их наблюдает, выслушивает, пальпирует, обмеряет и помещает воспоминания о них в галереи своей памяти. Он оплел сетями всю Европу и неустанно путешествует, пополняя свою коллекцию незаурядных личных знакомств.

Так как он богат, имеет связи и свободен от предубеждений, его довольно обширная коллекция включает объекты (или лучше выразиться «субъекты?»), ценность которых недоступна пониманию большинства, поскольку всенародной известностью они не пользуются. Такими экземплярами мой друг, разумеется, гордится больше всего.

О мистере Икс он писал: «Это величайший бунтарь (révolté) нашего времени. Он известен как писатель-революционер, чья беспощадная ирония разоблачает прогнившую

сущность самых уважаемых государственных институций. Он умудрился снять скальп с каждой сановной головы и испепелить на костре своего остроумия всякое общепринятое мнение и все привычные нормы буржуазной морали. Кто не помнит его пламенных революционных памфлетов? Багровыми тучами оводов внезапно налетали они, способные обескровить любую державу континентальной Европы. Этот радикальный писатель был еще и активным вдохновителем тайных сообществ, серым кардиналом, который стоял за самыми отчаянными акциями: ожидаемыми и внезапными, состоявшимися и разоблаченными. И мало кто мог бы его в этом заподозрить. Вот почему ветеран многих подпольных кампаний и по сей день среди нас: отошедший от дел, он живет под защитой репутации самого непримиримого публициста за всю историю».

Так отрекомендовал мистера Икс мой друг и, прибавив, что тот — глубокий ценитель бронзы и фарфора, попросил показать ему мою коллекцию.

Икс появился ровно в назначенный час. Мои сокровища выставлены в трех просторных комнатах без ковров и занавесок. В комнатах нет другой мебели, кроме этажерок и стеклянных шкафов, содержимое которых обеспечит безбедное будущее моим наследникам. Я не позволяю зажигать здесь огонь, опасаясь возгорания. Помещения отделены от дома огнеупорной дверью.

Стоял лютый холод. Мы остались в пальто и шляпах. Внимательный взгляд, небольшие, широко посаженные глаза, продолговатое лицо и римский нос — таков был мистер Икс. Часто переступая своими миниатюрными ножками, он со знанием дела осматривал мою коллекцию. А я со знанием дела смотрел на него. Снежно-белые усы и эспаньолка делали смуглый цвет его кожи темнее. В меховом пальто и блестящем цилиндре этот страшный человек смотрелся франтом. Полагаю, он принадлежал к благородной фамилии и, если бы захотел, мог величать себя Виконтом Икс де ла Зет. Ни о чем, кроме бронзы и фарфора, мы не говорили. Он был мне крайне приятен. Расстались мы по-дружески.

Не знаю, где он остановился. Думается, человек он был одинокий. У анархистов, наверное, не бывает семей, по крайней мере в нашем понимании этого общественного института. Ведь если создается семья по зову человеческой природы, то регулируется она все равно законом и потому неприемлема, невозможна для анархиста. Как хотите, но анархистов мне до конца не понять. Остается ли анархист таким уж анархистом наедине с самим собой, отправляясь, скажем, спать? Когда он готовится ко сну, кладет голову на подушку, укрывается одеялом, думает ли он о «шурум-бурум генераль», как говорят на парижских улицах — то бишь о занимающейся заре вселенского бунта? А ежели думает, то как ему удастся уснуть? Если бы я обратился или, вернее, ударился в такую веру, то утратил бы не только покой и сон, но и всякую способность заниматься житейскими делами. У меня не было бы ни жены и детей, ни друзей, а о коллекционировании китайского фарфора и бронзы и речи бы не шло. Впрочем, не знаю. Знаю только, что господин Икс ужинал в превосходном ресторане, куда частенько зааживал и я.

Под цилиндром оказался узел собранных на макушке седых волос, который довершал его своеобразный облик — драматический рельеф лицевой части черепа со всеми выступами и впадинами прикрывала личина совершенной невозмутимости. Смуглые сухие руки выдвигались из широких белых манжет и с механической точностью то отламывали кусок хлеба, то наливали в бокал вино. Голова и корпус над столом оставались в полной неподвижности. Этот поджигатель, этот великий пропагандист был крайне скуп на проявления живости и теплоты. Голос у него был довольно низкий, скрипучий, невыразительный и монотонный. Разговорчивым его не назовешь, но, будучи человеком бесстрастным и спокойным, он мог как с готовностью поддержать беседу, так и прекратить ее в любой момент.

Собеседник он был в высшей степени незаурядный. Признаюсь, во время мирной беседы за обеденным столом я испытывал некоторое волнение: напротив меня сидел человек, чье ядовитое перо отравило существование по крайней мере одной монархии. Это из тех его деяний, что были известны

общественности. Но я знал больше. От своего друга мне было доподлинно известно то, о чем блюстители общественного порядка в Европе в лучшем случае только подозревали или смутно догадывались.

Он вел двойную жизнь, и вторая была, так сказать, подпольная. Каждый вечер, когда мистер Икс сидел за ужином напротив меня, вторая сторона его жизни возбуждала мое естественное любопытство. Я — тихое и миролюбивое дитя цивилизации, и мне не знакомы иные страсти, кроме коллекционирования вещей. Вещи эти должны быть редкими и изысканными, пусть и до безобразия. Китайская бронза бывает безобразно дорогой. И вот передо мной экспонат из коллекции моего друга — редчайшее чудовище. Чудовище, конечно, лощеное и в некотором роде даже изысканное — в том, что касается его чарующей невозмутимости. Но не из бронзы. И даже не из Китая. Будь он китайцем, его можно было бы отстраненно созерцать чрез бездну расовых различий. Но это был европеец из плоти и крови, с хорошими манерами, в пальто и шляпе, как у меня, и даже гастрономические предпочтения у нас были похожи. Такие мысли пугали меня.

Однажды в разговоре он обронил небрежно: «Только террор и насилие способны исправить человечество».

Только представьте себе эффект подобного утверждения, произнесенного эдаким субъектом, на человека моего склада, чье мировоззрение зиждется прежде всего на учтивой взыскательности в выборе круга общения и развитом художественном вкусе. На меня, кому все виды и формы насилия казались такой же выдумкой, как и великаны, людоеды, гидра о семи головах и прочие герои, невероятным образом влияющие на ход событий в сказках и легендах.

Сквозь оживленный гул голосов и звон посуды фешенебельного ресторана мне вдруг почудился мятежный ропот голодных масс.

Я человек впечатлительный и тотчас дал волю воображению. Мой покой нарушило видение: на освещенный мириадами электрических огней опустилась тьма, а в ней — ввалившиеся от голода рты, обезумевшие глаза. Видение это не только

напугало, но и возмутило меня. Мой собеседник отламывал кусочки белого хлеба, и безмятежность, с которой он это делал, только усиливала мое раздражение.

Мне достало смелости спросить, отчего же голодающий пролетариат Европы, которому он проповедовал бунт и насилие, так и не возмутился беззастенчивой роскошью его жизни. «Такой вот жизни», — пояснил я, обводя взглядом залу и задержав его на бутылке шампанского, в котором мы редко отказывали себе за ужином.

Он и бровью не повел.

«Разве я наживаюсь на их поте и крови? Я что, по-вашему, спекулянт или капиталист? Или я сколотил состояние на голоде и слезах бедняков? Нет! И они прекрасно это знают. И ничуть мне не завидуют. Угнетенные народные массы великодушны к своим вождям. Все, что у меня есть, я заработал своими сочинениями; не миллионами листовок, даром розданных нищим и бесправным, но стотысячными тиражами, которые раскупали откормленные буржуа. Видите ли, мои обличительные тексты в свое время были на пике моды, их читали с удивлением и ужасом, закатывая глаза на особенно проникновенных строках... или покатываясь со смеху над моими остротами».

«Да, — согласился я. — Конечно, помню; и должен признаться, никогда не понимал, почему ваши произведения пользовались такой нездоровой популярностью».

«Неужели вы до сих пор не поняли, что этот класс, сплошь состоящий из бездельников и эгоистов, любит бесчинства? Даже когда они творятся за их счет. Вся жизнь их есть поза и рисовка, они не способны понять силу и опасность мыслей и прямых, откровенных слов. Для них это лишь игра ума и чувства, рафинированная блажь. Достаточно вспомнить, как относилась старая французская аристократия к философам, чьи речи предвосхитили Великую революцию. Даже в Англии, где еще сохранились остатки здравого смысла, демагогу стоит лишь кинуть клич, погромче да попротяжнее, и этот самый класс не заставит себя долго ждать. Вы, англичане, тоже любите бесчинства. Демагог увлекает за собой дилетантов, таких любителей

сильных эмоций. А дилетанты они потому, что для них это — самый простой способ убить время и потешить тщеславие. Глупое тщеславие — желание идти в ногу с идеями дня грядущего. Дилетанты, они везде одинаковы — так, например, славные и при иных обстоятельствах безобидные люди будут восторгаться вашей коллекцией, не имея ни малейшего представления, в чем же на самом деле состоит ее исключительность».

Я задумался. Как это верно! И какая беспощадная иллюстрация горькой истины. Мир полон таких людей. И пример французской аристократии в преддверии Революции тоже весьма красноречив. Я не мог оспорить его точку зрения, но его цинизм сильно обесценивал сказанное в моих глазах. Цинизм всегда неприятен. Однако, признаюсь, я был впечатлен. Хотелось найти такие слова, чтобы, с одной стороны, они не прозвучали как согласие, с другой — не приглашали к спору.

«Вы же не хотите сказать, — небрежно заметил я, — что настоящие революционеры прибегают к помощи подобных безрассудных личностей?»

«Это не совсем то, что я сказал. Я говорил о ситуации в целом. Но раз уж вы интересуетесь, то могу заверить, что такого рода содействие революционерам более или менее осознано оказывается повсюду. И даже в этой стране».

«Невозможно! — отчаянно запротестовал я. — Таких игр с огнем мы себе не позволяем».

«И все же вы более других можете себе это позволить. Замечу также, что женщины если и не готовы играть с огнем, то шальную искру не пропустят».

«Это шутка?» — с улыбкой спросил я.

«А что вам кажется забавным? — сухо спросил он. — Я как раз думал о примере. О! Вот, сравнительно безобидный случай...»

Тут я весь обратился в ожидание. Я неоднократно пытался подвести разговор к его, так сказать, подпольной деятельности. Само слово между нами уже прозвучало. Но на мои поползновения он всегда реагировал с невозмутимым спокойствием.

«И в то же время, — продолжал мистер Икс, — этот пример даст вам представление о трудностях, которые возникают в подпольной, как вы изволили выразиться, работе. Порой справиться

с ними нелегко. Естественно, между членами организации нет субординации. Нет никакой строгой системы».

Это меня поразило, но удивление быстро прошло. Разумеется, среди радикальных анархистов не может быть никакой иерархии, никакого единоначалия. К тому же мысль о том, что среди анархистов царит анархия, успокаивала. Такой уклад едва ли способствовал их продвижению.

Неожиданный вопрос мистера Икс застал меня врасплох: «А знакома ли вам Гермионова улица?» Я неуверенно кивнул. За последние три года эта улица преобразилась до неузнаваемости. Название осталось тем же, но ни единого кирпича или камня с прежних времен не осталось. Он говорил о старой улице: «Помните, там по левую руку стоял ряд двухэтажных кирпичных домов, задние дворы которых выходили на крыло крупного государственного учреждения? Сильно бы вы удивились, узнав, что в одном из этих домов был центр анархистской пропаганды и подпольной деятельности, как вы это называете».

«Нисколько», — ответил я. На моей памяти Гермионова улица никогда не считалась особенно респектабельной.

«Этот дом находился в собственности одного влиятельного государственного чиновника», — добавил он, пригубив шампанское.

«Ну конечно!» — воскликнул я, теперь уже не веря ни единому слову.

«Он, разумеется, там не жил, — продолжил мистер Икс, — но с десяти утра до четырех дня этот господин находился по соседству — в прекрасно обставленном личном кабинете в крыле того самого государственного учреждения, которое я упомянул. Для точности поясню, что формально здание на Гермионовой улице принадлежало его совершеннолетним детям, сыну и дочери. Дочь была красотка, но отнюдь не в вульгарном смысле. Юности всегда присуще обаяние, но эта девушка пленяла не только юностью, чей цвет был пышнее обычного, но и соблазнительной восторженностью, независимостью и смелостью мысли. Полагаю, все эти образы она примеряла так же, как и свои броские платья, и с той же целью: любой ценой утвердить свою индивидуальность. Вы же знаете, ради этого

женщины могут зайти весьма далеко. И она дошла почти до предела. Она усвоила все жесты и ужимки, сопутствующие революционным убеждениям, в ее распоряжении был полный арсенал чувств: жалость, гнев, возмущение бесчеловечностью и пороками класса, к которому сама она принадлежала. Все вышеперечисленное шло этой удивительной натуре так же, как и ее оригинальные наряды. Оригинальные ровно настолько, чтобы обозначить свое презрение к мещанским вкусам откормленных «хозяев жизни». Лишь обозначить — не более того. Слишком усердствовать в этом направлении было бы неуместно, сами понимаете. При этом, будучи совершеннолетней, она имела полное право отдать свой дом в распоряжение рабочих-революционеров».

«Да вы шутите!» — вскрикнул я.

«Ничуть. И это был весьма разумный жест. Как бы иначе они заполучили этот дом? Люди они небогатые. К тому же с агентом по недвижимости сразу возникли бы трудности, ему понадобились бы рекомендательные письма и прочие официальные бумаги. С революционерами она познакомилась, изучая жизнь бедных кварталов (еще один жест — милосердия, личного участия, все согласно тогдашней моде). Важным преимуществом было местоположение — ведь Гермионова улица, как вам известно, находится достаточно далеко от неблагонадежной части города, жители которой — под особым надзором полиции.

На первом этаже находился итальянский ресторанчик, настоящий клоповник. Владелец легко согласился продать заведение. Рестораном занялись члены группы — мужчина-повар и его соратница. Товарищи могли обедать здесь же, не выделяясь среди других посетителей. Тоже преимущество. Второй этаж занимало Агентство артистов эстрады — захудалое такое, для артистов заштатных кабаре. Помню, владельца звали Бомм. Его не трогали. Наоборот, было удобно, что целый день туда-сюда снуют толпы подозрительных типов: жонглеры, акробаты, певцы, певички и тому подобное. Естественно, полиция уже не обращала внимания на новые лица. А вот верхний этаж пустовал, и это было очень кстати».

Икс прервался, чтобы размеренными движениями бесстрастно атаковать шарик мороженого, который официант только что поставил на стол. Он осторожно проглотил несколько ложек ледяного лакомства и спросил: «Вы когда-нибудь слышали о „Сухих супах Стоуна“?»

«О чем, простите?»

«Незадолго до этого, — размеренно продолжал Икс, — в продаже появился новый продовольственный продукт. Несмотря на массивную рекламу в газетах, широкому потребителю продукт не пришелся по вкусу. Предприятие вылетело в трубу, как у вас здесь выражаются. Оставшиеся на складах запасы распродавали за бесценок. Наши революционеры приобрели какую-то часть, и, вуаля, торговый дом „Сухие супы Стоуна“ открылся на верхнем этаже. Вполне себе уважаемый бизнес. Вещество — желтый порошок крайне неаппетитного вида — фасовали в большие квадратные банки, по шесть в одной коробке. Если кто вдруг приходил за супом, заказ, конечно же, выполняли. Но особенно хорош порошок был тем, что в нем было очень удобно прятать. Время от времени такую вот специальную коробку загружали в фургон и отправляли за границу под самым носом у дежурящего на углу полисмента. Понимаете?»

«Думаю, да», — подтвердил я, выразительно кивнув на остатки мороженого, медленно таявшего на тарелке.

«То-то и оно. Но коробки выручали и в других случаях. В подвале или, точнее, в кладовой стояло два печатных станка. Немало революционной литературы самого взрывоопасного толка было вынесено из стен этого здания в ящиках из-под „Сухих супов Стоуна“. Брат нашей милой анархистки тоже нашел себе там занятие. Он писал статьи, помогал набирать шрифт, снимал листы с печатного станка и всячески ассистировал ответственному за типографию, весьма способному молодому человеку по имени Севрин.

Идейным вдохновителем этой группы был фанатик социальной революции. Он уже умер. Он был гениальным гравером и офортистом. Вы наверняка видели его работы. Они сейчас пользуются большим спросом среди отдельных

любителей. Он начал с революции в своем искусстве и стал настоящим революционером после того, как его жена и ребенок умерли в нужде и страданиях. Он говорил, что их убила буржуазия — эти зажавшиеся упыри. И чистосердечно в это верил. Он по-прежнему работал художником и вел двойную жизнь. Высокий, костлявый и смуглый, с длинной каштановой бородой и глубоко посаженными глазами. Вы наверняка его видели. Его звали Хорн».

Вот это меня ошарашило. Я, конечно, знал когда-то Хорна. Могучий, косматый, как цыган, в высоком цилиндре, закутанный в красный шарф, в длинном поношенном пальто, застегнутом на все пуговицы. Он восторженно вещал о своем искусстве и производил впечатление человека, балансирующего на грани безумия. Его работы ценил небольшой круг знатоков. Кто бы мог подумать, что этот человек... Невероятно! И все-таки не так-то сложно было в это поверить.

«Видите ли, — продолжал Икс, — эта группа занималась агитационной работой, а также выполняла другие задания в исключительно благоприятных условиях. Это были люди в высшей степени опытные и решительные. Но в определенный момент мы, наконец, поняли, что почти все планы, подготовленные на Гермионовой улице, срываются».

«Кто это „мы“?», — уточнил я.

«Товарищи в Брюсселе — в центре, — торопливо сказал он. — Какую бы мощную акцию не задумывали на Гермионовой улице, она была обречена на провал. Спланированные наилучшим образом манифестации в любой точке Европы почему-то срывались. Это было время всеобщей активности. Не нужно думать, что все наши провалы были громкими — с арестами и судебными слушаниями. Это не так. Зачастую полиция работала тихо, почти тайно, путем контринтрига разрушая наши комбинации. Без арестов, шума, без привлечения общественного внимания и разжигания страстей. Сложная и тонкая работа. Однако в то время полиция стала подозрительно удачлива повсюду — от Средиземноморья до Балтии. Что не могло не раздражать и уже казалось опасным. В конце концов мы пришли к выводу, что в лондонском подполье завелись

неблагонадежные элементы. И я поехал туда с целью поправить разобраться с этим без лишнего шума.

Первым делом я нанес визит уже известной вам сеньорите Дилетанте анархистского движения. Встретила она меня более чем любезно. Я решил, что о химической и прочей деятельности на верхнем этаже дома на Гермионовой улице она не осведомлена. Видимо, из всех «занятий» анархистов ей было известно только об издании агитационных материалов. Во всем ее поведении читались обычные симптомы холодного иступления, свойственные подобным натурам. И из-под пера ее вышло немало пылких статей с апокалиптическими концовками. Я видел, как она упивалась собой — об этом говорили и жесты, и смертельно серьезное выражение лица.

Большие глаза, высокий лоб, голова, как у античной скульптуры, увенчанная копной великолепных каштановых волос, которые она укладывала в затейливую прическу, невероятно красящую ее, — все это складывалось в удивительно цельный образ. Здесь же был ее брат, бровастый юноша в красном шейном платке. Меня поразило, что этот задумчивый юноша, казалось, пребывал во мраке неведения обо всем, что его окружало, да и о себе самом. Спустя некоторое время в комнату вошел высокий молодой человек. Гладко, до синева, выбритый, с тяжелым, волевым подбородком — в облике вошедшего было что-то от молчаливого трагика или фанатичного священника — такой, со сдвинутыми черными бровями, ну вы понимаете. Очень импозантный молодой человек. Первым делом он обменялся со всеми крепким, энергичным рукопожатием. Юная леди подошла ко мне и шепнула с нежностью: „Товарищ Севрин“.

Я видел его впервые. Едва обмолвившись с нами, он сел рядом с девушкой, и они тут же углубились в серьезный разговор. Она подалась из глубокого кресла вперед и положила изящный округлый подбородок на прекрасную белую руку. Он внимательно смотрел ей в глаза. Весь их вид говорил о сердечной связи, настоящей и глубокой, как перед лицом смерти. Полагаю, преданность передовым идеям и революционному произволу она считала неполной без любви к анархисту, в которой себя

и убедила. А он, повторюсь, был очень импозантен, несмотря на свойственную фанатикам чернобровость. Пару раз взглянув на них украдкой, я убедился в подлинности его чувств. Если говорить о даме, то ее движения, в которых читались достоинство и сладострастие, снисходительность и обаяние, уступчивость и сдержанность, были безукоризненны, может быть даже слишком правдоподобны. Так она себе представляла проявления настоящей любви и воплощала это представление с большим искусством. И в этом смысле она, вне всяких сомнений, тоже была искренна. Поза, но — идеальная!

Оставшись с сеньоритой Дилетанте наедине, я осторожно сообщил ей о цели своего визита и намекнул о наших подозрениях. Мне было интересно, что она скажет в ответ, и я почти ожидал невольного, быть может, признания. Но, прелестно изобразив обеспокоенность, она сказала: „Это очень серьезно“, — но искорки в ее глазах говорили: „Вот здорово!“ Ведь до тех пор ничего, кроме печатных воззваний, через нее не проходило. Она, разумеется, согласилась свести меня с Хорном, найти которого можно было только на Гермионовой улице, где до поры мне совсем не хотелось показываться.

Я встретился с Хорном. Он оказался фанатиком совсем другого склада. Я изложил ему выводы, к которым мы пришли в Брюсселе, и указал на череду серьезных неудач. „Я знаю, как заставить трястись от ужаса этих обожравшихся мразей“, — ответил он с неожиданным для меня возбуждением.

И он рассказал мне, что из подвала дома на Гермионовой улице они с товарищами прорыли ход в погреб под зданием известного уже вам государственного учреждения. Подорвать целое крыло здания было решено, как только будет собрано достаточно взрывчатки. Нелепость этого решения потрясла бы меня еще сильнее, если бы смысл существования нашего центра на Гермионовой уже не стоял под большим вопросом. На самом деле я полагал, что к тому времени он уже стал скорее полицейской западней, нежели подпольной ячейкой.

Сейчас необходимо было выяснить, что или, скорее, кто есть слабое звено, и я сумел, наконец, растолковать это Хорну.

Он ошарашенно таращил глаза, ноздри его раздувались, как будто он учуял запах предательства.

И вот мы подошли к рабочему эпизоду, который, несомненно, поразит вас как своего рода сценическое ухищрение. А что оставалось делать? Передо мной стояла задача выявить неблагонадежного члена группы. Но с одинаковой вероятностью им мог оказаться любой. Едва ли удалось бы установить слежку за каждым. К тому же от слежки не так сложно уйти. Так или иначе, это требует времени, а опасность уже была нешуточная. Я не сомневался, что в конечном итоге полиция нагрянет на Гермионову улицу, хотя там, очевидно, настолько доверяли информатору, что за домом до сих пор даже не установили наблюдение. Хорн разделял мою уверенность. В сложившихся обстоятельствах это был тревожный симптом. Действовать нужно было незамедлительно.

Я решил устроить облаву сам. Понимаете? Роль полицейских должны были исполнять надежные товарищи из другой группы. Заговор внутри заговора. Цель вам, разумеется, ясна. Я надеялся, что при явной угрозе ареста осведомитель чем-нибудь себя выдаст; например, необдуманным поступком или попросту беспечностью. Конечно, мы рисковали: мы могли полностью провалиться, хуже того, сопротивление или попытка к бегству могли привести к настоящим жертвам. Ведь, как вы прекрасно понимаете, группу на Гермионовой нужно было непременно застать врасплох — ровно как в скором времени сделала бы настоящая полиция. Осведомитель был одним из них, и только Хорна можно было посвятить в мой план.

Не стану рассказывать вам о приготовлениях во всех подробностях. Организовать такую операцию было непросто, однако в итоге все вышло очень даже хорошо и по-настоящему убедительно. Подставные полицейские ворвались в ресторан. Ставни захлопнулись. Сюрприз удался. Большая часть группы находилась во втором подвале, они расширили подкоп, ведущий в подвалы крупного государственного учреждения. При первом же сигнале тревоги несколько товарищей поспешно ретировались в те самые катакомбы, которые в случае настоящей облавы, без сомнений, стали бы для них ловушкой. Но о них

в тот момент мы не беспокоились. Опасности они не представляли.

Гораздо более серьезную тревогу и у Хорна, и у меня вызывал последний этаж. Именно там, среди банок с „Сухими супами Стоуна“ товарищ по прозвищу Профессор, бывший студент-естественник, совершенствовал новые детонаторы. Это был задумчивый, уверенный в себе юноша, маленького роста, с болезненно бледным лицом за большими круглыми очками. Мы опасались, что, узнав об облаве, он подорвет себя и погребет нас под обломками дома. Я поспешил наверх и застал его уже в дверях, начеку — он прислушивался, по его собственным словам, к «подозрительному шуму внизу». Не успел я до конца объяснить ему, в чем дело, как он, презрительно пожав плечами, вернулся к своим весам и пробиркам. Он являл собой образец истинного революционера без страха и упрека. Взрывчатые вещества были его верой и надеждой, его щитом и мечом. Он погиб через несколько лет после этих событий в тайной лаборатории — от преждевременного взрыва одного из своих усовершенствованных детонаторов.

Поспешив вниз, я стал свидетелем впечатляющей сцены, которая разыгрывалась в полутьме просторного подвала. Человек в роли инспектора (а роль свою он знал не понаслышке) резким голосом раздавал фальшивые приказы фальшивым подчиненным, требуя вывести арестованных. Очевидно, до сих пор ничего так и не прояснилось. Хорн, мрачный и угрюмый, стоял, скрестив руки на груди. Он терпеливо ждал неприятной развязки, и стоическое выражение его лица как нельзя лучше подходило ситуации. В полумраке я заметил, как один из товарищей с Гермионовой улицы втихаря жует и проглатывает клочок бумаги. Полагаю, какой-то компромат; возможно, всего лишь имена и адреса. Настоящий, верный „товарищ“. Но скрытое злорадство, которое порой таится на дне людского сочувствия, заставило меня усмехнуться этому совершенно непрошенному представлению.

В остальном рискованный эксперимент или, если вам угодно, театрализованная акция, похоже, провалилась. Длительный спектакль не имело смысла; но объяснение поставило

бы нас в неудобное и даже опасное положение. Парень, который съел записку, будет в ярости. Ребята, что пустились наутек, тоже разозлятся.

К моему пушему раздражению, дверь в другую часть подвала, где находились печатные станки, распахнулась, и появилась наша юная революционерка. Черный силуэт в облегающем платье и большой шляпе возник в мерцающем свете газового фонаря. За ее плечом я различил изогнутые брови и красный шейный платок ее брата.

Только их сейчас и не хватало! В тот вечер они были на любительском концерте в пользу бедняков; но она пожелала уйти пораньше, чтобы по пути домой зайти на Гермионову, якобы поработать. В ее обязанности входило править гранки итальянского и французского изданий „Набата“ и „Смутьяна“.

«Боже мой!» — пробормотал я. Однажды мне довелось пролистать несколько номеров подобных изданий. По мне так трудно представить менее подходящее чтиво для юной леди. В своем роде эти листки были самыми прогрессивными; если под «прогрессивностью» понимать выход за рамки всего разумного и приличного. Один призывал к ликвидации всех общественных и родственных связей; другой пропагандировал планомерные убийства. Этот образ — юная особа, хладнокровно исправляющая ошибки в гранках таких вот мерзостей, — был для меня невыносим, поскольку совершенно не вязался с моими представлениями о женской природе. Мистер Икс пристально посмотрел на меня и продолжил:

«Однако я полагаю, что пришла она главным образом затем, чтобы еще раз испытать силу своих чар на Северине, по-королевски снизойти до своего коленопреклоненного обожателя. Она знала — и о своей власти, и о его благоговении, и наслаждалась этим абсолютно, осмелюсь выразиться, целомудренно. У нас нет оснований винить ее ни в беспринципности, ни в безнравственности. Ведь женским чарам, как острому мужскому уму, закон не писан. Разве не так?»

Любопытство взяло верх над желанием выразить свое обращение к этой безнравственной доктрине.

«И что же случилось дальше?» — поспешил спросить я.

Небрежным движением левой руки Икс продолжал медленно крошить кусочек хлеба.

«То, что случилось, — признался он, — в результате спасло ситуацию».

«Она дала вам возможность закончить этот дурной фарс», — предположил я.

«Да, — сказал он, сохраняя невозмутимый вид. — Фарс вскоре закончился. Через пару минут. И закончился удачно. Если бы не она, все могло бы обернуться плохо. Ее брат, разумеется, не в счет. Чуть раньше они незаметно проскользнули в дом. В подвал-типографию вел отдельный вход. Никого там не найдя, она уселась за гранки, думая, что Севрин вот-вот вернется к работе. Но он все не появлялся. Она потеряла терпение, услышала из-за двери шум в другой части подвала и, конечно же, пошла посмотреть, что происходит.

Севрин был с нами. Сначала мне почудилось, что он больше других поражен облавой. На долю секунды его как будто парализовало. Он стоял как вкопанный, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Одинокий газовый рожок неровно горел рядом с его головой; остальные огни потушили при первом же сигнале тревоги. Из своего темного угла я наблюдал, как выражение озадаченной, взволнованной бдительности появилось на его гладковыбритом актерском лице. Он нахмурил густые брови и досадливо скривил рот. Он был зол. По всей вероятности, он уже просчитал подобный ход в игре, и я пожалел, что с самого начала не доверился ему и не посвятил его в свой план.

Однако с появлением девицы он определенно встревожился. Это было очевидно. И тревога, как я мог заметить, лишь возросла. Выражение его лица изменилось на удивление резко. И я не мог понять почему. Я еще ни о чем не догадывался и попросту удивился столь разительной перемене в его лице. Он, конечно же, не мог знать, что она была в другой части подвала; но это едва ли объясняло эффект, который произвело ее появление. На секунду показалось, что он вдруг сделался слабоумным. Он разинул рот, будто хотел закричать или просто ахнуть. Но закричал другой. Другим оказался героический

товарищ, тот самый, что проглотил записку. С присутствием духа, достойным уважения, он издал предостерегающий вопль: „Это полиция! Назад! Назад! Бегите и закройте за собой дверь!“

Предостережение было как нельзя кстати, но вместо того чтобы скрыться, девушка продолжала идти вперед, а за ней следовал ее длиннолицый братец в твидовом пиджаке и бриджах — в этом костюме он, бывало, развлекал приунывший пролетариат комическими куплетами. Она не то чтоб не расслышала — в слове „полиция“ невозможно ошибиться, — но будто просто не в силах была остановиться. В ее походке не было легкости и напора видной анархистки-дилетантки, блистающей среди привыкших к бедности профессиональных борцов. Напротив, она вздернула плечи и плотно прижала локти к бокам, словно пыталась съежиться внутрь себя.

Она не сводила глаз с Севрина: полагаю, в этот момент она видела в нем мужчину, а не анархиста. И все шла вперед, что в целом — вполне в порядке вещей. При всей напускной независимости девушки ее сословия привыкли думать, что их как-то особенно оберегают, и, в общем, так и есть. Этим чувством защищенности объясняется девять из десяти смелых выходов, которые они себе позволяют. В лице ни кровинки. Настоящее привидение! Только представьте: до нее вдруг доходит жестокая правда, что теперь она — человек, которому придется убежать от полицейских! Однако причиной ее бледности было скорее негодование, впрочем, были и некоторые опасения за неприкосновенность своей личности, и даже смутный страх грубой силы. Она, само собой, обратилась к мужчине, коим по собственной прихоти восхищалась и перед которым вроде как благоговела, — к мужчине, который не может спасовать и выручит ее из любой передраги».

«Но, — вскричал я, изумленный этим заключением, — если бы это происходило на самом деле — а ведь она и не знала, что это спектакль, — чего она могла от него ожидать?»

Ни один мускул не дрогнул на лице мистера Икс.

«Бог его знает. Мне представляется, что за всю ее жизнь это очаровательное, великодушное и независимое создание не

посетила ни одна искренняя мысль; то есть мысль, ни связанная с мелким человеческим тщеславием, ни продиктованная некими общепринятыми представлениями. Так или иначе, но, пройдя несколько шагов, она протянула руку онемевшему Севрину. И это, по крайней мере, не было жестом. То было естественное движение. Чего она от него ждала, кто его знает? Видимо, невозможного. С уверенностью могу сказать, что того, на что он решился еще до ее протянутой в открытой мольбе руки, она не ожидала. Руки протягивать было уже не обязательно. С того момента, как он увидел, что она входит в подвал, он принял решение пожертвовать своей будущей карьерой и сбросить непроницаемую, накрепко прилипшую к нему маску, которую он носил с такой гордостью и...»

«Вы хотите сказать, — в недоумении перебил я, — что это Севрин был тем самым...»

«Да. Самым последовательным и опасным, самым коварным из осведомителей. Профессионалом, просчитывающим каждый шаг. Гением вероломства. К счастью для нас, это был уникальный персонаж. Я же говорю — фанатик. Опять-таки к счастью для нас, он влюбился в доведенные до совершенства невинные жесты этой девушки. Будучи сам актером до мозга костей, он, вероятно, верил в абсолютную ценность условных знаков. То, что этот профессионал угодил в такую дурацкую западню, можно объяснить лишь тем, что два столь всепоглощающих чувства не могут ужиться в одном сердце. Увидев, что опасность угрожает той, что, пусть неосознанно, была вторым актером в этой комедии, он утратил и дальновидность, и проницательность, и умение бесстрастно оценивать ситуацию. Более того, в первый момент он даже перестал владеть собой. Но сумел взять себя в руки, подчиняясь необходимости немедленно что-то предпринять — необходимости, которая казалась ему неотложной. Но что именно? Понятное дело, как можно скорее вытащить ее из этого дома. Намерение это овладело всем его существом. Я вам говорил, что он жутко перепугался. Но боялся он не за себя. Совершенно непредвиденная и преждевременная облава удивила и раздосадовала его. Можно даже сказать — взбесила. Финальную сцену своих предательств он

привык разыгрывать с такой искусностью, что его репутация революционера оставалась незапятнанной.

Тем не менее он, видимо, решил доиграть свою роль до конца и не собирался скидывать маску. И только когда он понял, что девушка находится в доме, все его актерское мастерство — и деланное спокойствие, и временно обузданный фанатизм, и маска — все как ветром сдуло приступом паники. С чего бы ему паниковать, спросите вы? Ответ на поверхности. Он вспомнил — или, осмелюсь предположить, никогда и не забывал — о том, что там, на верхнем этаже, Профессор проводит свои опыты в окружении бесчисленных банок из-под „Сухих супов Стоуна“. Пары таких баночек хватило бы, чтобы похоронить нас на месте под грудой кирпичей. Севрин, разумеется, знал об этом. В том, что прекрасно представлял себе, что за человек этот Профессор, сомневаться не приходится. Сколько он перевидал таких персонажей! Или, быть может, он поверил, что Профессор сделает то, что на его месте сделал бы он сам. Так или иначе, эффект был достигнут. Он вдруг заговорил громко и властно:

„Выведите женщину. Немедленно“.

Проговорил он это хрипло, как ворона, — несомненно, сказалось сильное волнение. Через секунду хрипота исчезла. Но эти роковые слова вырвались из сведенного судорогой горла резким, нелепым карканьем. Можно было не отвечать. Спектакль завершился. Но человек, изображавший инспектора, счел необходимым рывкнуть:

„Скоро уведут, вместе с остальными“.

Это была последняя реплика комедийной части этой занимательной истории.

Позабыв обо всех на свете, Севрин шагнул к нему и схватил за лацканы пальто. Видно было, как под тонкой, выбритой до синевы кожей щек гневно ходили желваки.

„Снаружи дежурят ваши люди. Сейчас же уведите даму домой. Слышите? Быстро. А там уже разберетесь с тем, кто наверху“.

„А! Наверху еще кто-то есть, — открыто глумился тот. — Что ж, его приведут немедленно, и он еще успеет застать развязку“.

Но Севрин, не помня себя, на тон даже внимания не обратил.

„Что за идиот вас сюда прислал? У кого там руки чешутся? Испортить все не терпится? Вам что — приказ не растолковали? Вы хоть что-нибудь знаете? Невероятно. Смотрите...“

Он опустил воротник и, засунув руку за пазуху, лихорадочно стал нащупывать что-то под рубашкой, пока не вытащил небольшой квадратный мешочек из мягкой кожи. Видимо, он носил его на шее как нагрудный кошелек, разорванные концы тесемки свисали у него из кулака.

„Загляните внутрь“, — выплюнул он, швыряя кошелек тому в лицо. И сразу же повернулся к девушке. Она стояла за ним молча и совершенно неподвижно. Ее застывшее бледное лицо могло показаться спокойным. Только широко раскрытые глаза были еще больше, еще темнее.

Он говорил быстро, нервно и самоуверенно. Я отчетливо слышал, как он заверил, что сейчас же ей все станет ясно, как белый день. Ничего больше мне разобрать не удалось. Он стоял совсем рядом с ней, но не касался ее даже мизинцем, она же тупо уставилась на него. На мгновение, правда, ее веки опустились медленно и картинно, длинные черные ресницы легли на белую кожу, и казалось, она вот-вот упадет в обморок. Но с места она так и не сдвинулась, даже не покачнулась. Он громко пригласил ее немедленно следовать за ним и, не оглядываясь, направился к двери в конце подвала. И она действительно сделала один-два шага за ним. Конечно, дойти до двери ему не дали. Последовали озлобленные возгласы, завязалась короткая ожесточенная схватка. С силой отброшенный назад, он полетел на нее спиной. Она распростерла руки, изображая смятение, сделала шаг назад, и его голова ударилась об пол как раз рядом с ее ботинком.

Он что-то прорычал в смятении. Но пока он медленно и оцепенело поднимался, истинная картина раскрылась и для него. Мужчина, которому он всунул в руки кожаный мешочек, извлек оттуда узкий голубоватый листок. Он поднял его над головой, и так же, как и после потасовки, воцарилась выжидательная тревожная тишина. Он презрительно бросил бумагу

со словами: „Думаю, товарищи, в этом доказательстве нет необходимости“.

Со скоростью мысли девушка схватила порхавший клочок. Развернула обеими руками, просмотрела бумагу. Затем, не поднимая глаз, разжала руки, и листок полетел дальше.

Позже я внимательно рассмотрел сей любопытный документ. Он был подписан весьма высокопоставленной персоной, заверен печатью и завизирован другими высокими официальными лицами нескольких европейских стран. Несомненно, в его ремесле (или лучше сказать „миссии“?) такая охранная грамота могла быть полезна. Даже полиция — за исключением самых высоких чинов — знала его как Севрина, знаменитого анархиста.

Он опустил голову, прикусив нижнюю губу. С ним произошла перемена, Севрин стал задумчив и сосредоточенно спокоен. Однако дышал он тяжело. Бока ходили ходуном, ноздри раздувались, и это странно контрастировало и с мрачным образом монаха-фанатика в молитвенной позе, и с лицом актера, который готовится исполнить то самое страшное, что требует от него роль. Стоя перед ним, вещал Хорн — неистовый, бородатый, как вдохновенный пророк-обличитель в пустыне. Два фанатика. Да они созданы, чтобы понять друг друга. Вы удивлены? Вы, наверное, думали, что они станут с пеной у рта рычать друг на друга?»

Я поспешил возразить, что нисколько не удивлен и ничего такого не подумал; что анархисты вообще — народ для меня совершенно непостижимый, мне не понятны ни мысли их, ни мораль, ни логика, ни чувства, ни даже их физиология. Икс, как обычно, пропустил мое заявление мимо ушей и продолжил: «Хорн разразился длинной тирадой. Он осыпал его суровыми упреками, не утирая слез, которые лились у него из глаз и скатывались по черной бороде. Дыхание Севрина все учащалось. Когда он, наконец, заговорил, все ловили каждое его слово.

„Не будь дураком, Хорн, — начал он. — Мною двигали совсем не те мотивы, что ты мне приписываешь, и тебе это лично известно“.

И вдруг, в мгновение ока, он изменился, словно окаменел под испепеляющими взглядами.

„Я срывал ваши операции, я обманывал, я предавал вас — по убеждению. — Он отвернулся от Хорна и еще раз повторил свои слова, обращаясь к юной леди: — По убеждению“.

Ни единый мускул не дрогнул на ее лице — это потрясающе. Полагаю, ни один из жестов ее репертуара не соответствовал моменту. Действительно, не часто попадаешь в такие ситуации.

„Это же ясно, как белый день, — добавил он. — Понимаете ли вы, что это значит? По убеждению!“

А она так и стояла не шелохнувшись. Просто не знала, что делать. Но злополучный наш злодей уже готов был дать своей партнерше возможность закончить это представление красивым и правильным жестом.

„Я почувствовал в себе силу изменить вас, чтобы вы разделили мои убеждения“, — страстно говорил он. Казалось, не помнил себя. Сделав шаг к ней, он то ли споткнулся, то ли склонился, чтобы коснуться подола ее платья. И вот настало время подобающего жеста. Она отдернула край юбки от его оскверняющих прикосновений и отвернулась, гордо вздернув подбородок. Это было сыграно великолепно, в этом жесте проявилась и незапятнанная честь, и непорочность высококонраваденно-го дилетанта.

Лучше не придумашь. На Севрина это, по всей видимости, тоже произвело впечатление, да такое, что он отвернулся. Но теперь перед ним никого не оказалось. Он стал вновь страшно пыхтеть, поспешно пытаясь нащупать что-то в кармане жилета. Затем поднес руку к губам. Он сделал это украдкой и сразу после этого переменялся. Из-за затрудненного дыхания он был похож на человека, только что уходившего от погони. Но вот напряженные усилия сменила странная отрешенность, внезапное и полное безразличие. Гонка окончена. Наблюдать дальнейшее мне не хотелось. Я прекрасно знал, чем это закончится. Не говоря ни слова, я взял девушку под руку и повел ее к лестнице.

Ее брат шел за нами. Не успели мы пройти и половины лестничного пролета, как у нее стали подкашиваться ноги, она как будто не могла переставлять их по ступеням. Чтобы подняться, нам пришлось тянуть ее и подталкивать. По коридору

она плелась, повиснув на моей руке, согнувшись беспомощно, как старуха. Мы вышли на пустую улицу, через приоткрытую дверь, пошатываясь, как подвыпившие гуляки. На углу остановили пролетку. Старик-кучер с мрачным презрением смотрел на наши попытки усадить ее. За время поездки я дважды почувствовал, как она в полуобмороке обмякает на моем плече. Сидевший напротив юнец в бриджах молчал как рыба и был тише воды ниже травы, пока не спрыгнул с пролетки с ключом от входной двери.

У дверей гостиной девушка высвободила руку и пошла первой, придерживаясь за спинки стульев. Она отшпилила шляпу и, словно это лишило ее последних сил, боком бросилась в глубокое кресло, даже не сняв плаща, уткнулась в подушку. Любящий брат молча возник перед ней со стаканом воды. Она движением руки отстранила его. Он выпил воду сам и отошел в дальний угол, куда-то за рояль. Все было тихо в комнате, где я впервые увидел Севрина, великого антианархиста, очарованного и замороженного безупречными ужимками, что передаются из поколения в поколение и в определенных кругах прекрасно заменяют чувства. Полагаю, те же воспоминания посетили и ее. Плечи ее вдруг затряслись. Нервный припадок чистой воды. Успокоившись, она изобразила твердость: „Как поступают с такими людьми? Что с ним сделают?“

„Ничего. С ним уже ничего не поделаешь“, — уверил я ее, ни капли не солгав. Я знал почти наверняка, что он умер не позднее чем через двадцать минут после того, как поднес руку к губам. Уж если в своем фанатичном антианархизме Севрин зашел так далеко, что он носил в кармане яд, лишь бы враги не смогли совершить правую месть, то он, конечно, позаботился и о средстве, которое при случае не подведет.

Она злобно фыркнула. На щеках выступили красные пятна, глаза лихорадочно блестели.

„Приходилось ли кому-нибудь переживать такой ужас? Только подумать, что этот человек держал меня за руку! Чудовищно! — По лицу пробежала судорога, она еле сдерживала слезы. — Если что-то в этом мире и вызывало во мне доверие, так это высокие помыслы Севрина“.

Тут она начала тихо плакать, и это принесло ей облегчение. Затем, сквозь слезы, даже с некоторой обидой проговорила: „Что это он мне там сказал? „По убеждению!“ Какая подлая насмешка! Что он имел в виду?“

„Этого, моя дорогая юная леди, — мягко сказал я — ни я, ни кто другой не сможет вам объяснить“».

Мистер Икс стряхнул крошку с пиджака.

«И в ее отношении это была святая правда. Зато Хорн, например, все отлично понял; понял и я, особенно после того, как мы посетили жилище Севрина, которое находилось в мрачном переулке высшей степени респектабельного квартала. Хорна знали там как друга, и мы без труда проникли внутрь. Впуская нас, неряшливая горничная вскользь заметила: „Мистер Севрин сегодня не ночевал дома“. Во исполнение долга мы взломали пару ящичков стола и обнаружили кое-какие полезные сведения. Самым интересным открытием стал дневник Севрина; этот человек, занятый таким смертоносным ремеслом, оказывается, имел слабость делать записи самого компрометирующего характера. Его дела и помыслы лежали перед нами без прикрас. Но покойный не был против. Они вообще не бьют против.

„По убеждению“. Да. Еще на заре юности смутное, но страстное чувство человеколюбия довело его до самых суровых крайностей нигилизма и бунтарства. Впоследствии оптимизм его пошатнулся. Он усомнился, запутался. Вы, должно быть, слышали о новообращенных атеистах. Часто именно они становятся опасными фанатиками, при этом суть остается прежней. После того, как он познакомился с нашей барышней, в дневнике стали появляться весьма странные любовно-политические пассажи. Ее величественные ужимки он принял за чистую монету и относился к ним со всей серьезностью. Он мечтал обратить ее в свою веру. Но все это едва ли вам интересно. Что же касается финала, не знаю, помните ли вы — с тех пор прошло довольно много лет, — была такая сенсационная статья „Тайна Гермионовой улицы“. В подвале пустующего дома обнаружен труп мужчины. Расследование. Аресты. Многочисленные версии. Далее — тишина. Характерный финал

для безвестных страстотерпцев и мучеников. Все дело в том, что ему не хватило оптимизма. Чтобы стать настоящим бунтарем и непримиримым борцом с социальным строем, нужно, подобно Хорну, быть свирепым, деспотичным, беспощадным, негибаемым оптимистом».

Он встал из-за стола. Официант поспешил к нему с пальто, второй уже держал наготове цилиндр.

«А что случилось с юной леди?» — спросил я.

«Вы и вправду хотите знать? — удивился он, аккуратно застегивая пальто. — Я, признаться, отправил ей дневник Севрина, и не без умысла. Она отошла от дел, потом уехала во Флоренцию, потом уединилась в монастыре. Не знаю, что она придумает в следующий раз. Да и не все ли равно? Жеманство! Пируэты! Обычные ужимки ее сословия». Тщательно примерившись, он увенчал себя высоким блестящим цилиндром, быстрым взглядом окинул зал, где хорошо одетые люди безмятежно вкушали свой ужин, и процедил сквозь зубы: «И ничего более! Вот почему все они обречены».

Это была моя последняя встреча с мистером Икс. Я стал ужинать в клубе. В свой следующий приезд в Париж я встретил друга, который с нетерпением ждал рассказа о впечатлении, произведенном на меня столь редким образчиком его коллекции. Я поведал ему все, что узнал, и он просиял, гордясь исключительностью своего экземпляра.

«Согласись же, Икс — весьма стоящее знакомство! — взхлеб говорил он, не скрывая восхищения. — Уникальный, изумительный, совершенно великолепный персонаж!» Меня покорило от его восторгов. Я резко возразил, что цинизм этого человека просто омерзителен.

«Да-да, омерзителен! Чертовски омерзителен! — рьяно согласился мой друг. — Но — каков шутник!» — добавил он, подмигнув.

Это последнее замечание меня смутило. Никак не могу взять в толк, над чем в этой истории можно посмеяться.

Граф

*Патетическая история
Vedi Napoli e poi mori*[•].

Впервые мы заговорили в Национальном археологическом музее Неаполя, в зале на первом этаже, где представлена выдающаяся коллекция бронзы из Геркуланума и Помпеев. Утонченное совершенство этого наследия античности дошло до наших дней благодаря смертельной ярости вулкана.

Он первым обратился ко мне у знаменитого «Отдыхающего Гермеса», которого мы рассматривали, стоя бок о бок. Ничего глубокомысленного, просто несколько точных комментариев по поводу этой потрясающей скульптуры. Его вкус был скорее природным, чем приобретенным. Безусловно, ему довелось видеть множество произведений искусства и научиться ценить их изящество. Однако его речь не выдавала в нем ни дилетанта, ни знатока. Ненавистное племя. Он говорил как образованный светский человек, непринужденно, как истинный джентльмен.

Мы столкнулись друг с другом через несколько дней. Нет ведь ничего необычного, что мы остановились в одной гостинице. Я не раз замечал его в холле отеля. Судя по всему, он был давним и ценным клиентом. Сердечность и почтительность чувствовались в поклоне управляющего отеля и принимались с привычной вежливостью. Для служащих он был «Граф». Забытый зонтик от солнца, по-моему желтого шелка с белой оторочкой, был обнаружен официантами у входа в обеденный зал. В возникшей неразберихе наш метрдотель в скюртуке с золотым позументом опознал его, и я слышал, как он отправил

• Увидеть Неаполь и умереть (итал.).

одного из посыльных, чтобы вернуть его — «Графу». Возможно, он был единственным проживавшим там графом или же удостоился этого звания главным образом за свою проверенную временем приверженность отелю.

После нашего общения в музее (в галерее мрамора, где он, между прочим, без восторга отзывался о бюстах и статуях римских императоров: их лица были слишком резкими и энергичными, по его мнению) мы перекинулись несколькими словами утром, в отеле. Поэтому я не думал показаться назойливым, когда вечером того же дня, обнаружив, что обеденный зал переполнен, я спросил разрешения занять место за его столиком. Судя по спокойной учтивости, с которой он согласился, он тоже так не думал. Он очень мило мне улыбнулся.

Граф ужинал в вечернем жилете, «смокинге» (как он называл его) и при бабочке. Гардероб отличался великолепным покроем, слегка поношен — такой, как и должен быть. Утром ли, вечером, он всегда был подобающе одет. Не сомневаюсь, все его существование было соответствующим — хорошо упорядоченное и привычное, не нарушаемое внезапными событиями. Седые волосы, причесанные назад над высоким лбом, придавали ему облик идеалиста, человека с богатым воображением. Кустистые, но аккуратно подстриженные седоватые усы были приятно золотистыми в середине. Легкий запах очень хорошего одеколона и отличных сигар (аромат которых довольно удивительно было встретить в Италии) доносились до меня через стол. Если что-то и выдавало его возраст, так это глаза. Немного уставшие, с морщинистыми веками. Ему должно было быть около шестидесяти или немногим более. Граф оказался довольно общителен. Я бы не решился назвать его болтливым, но общительным — определенно.

Он рассказал, что много путешествовал, и, перебрав различные климатические зоны, среди которых были и Опатия, и Ривьера, и много других мест, он понял, что больше всего ему подходит климат Неаполитанского залива. Древние римляне, говорил Граф, отлично разбирались в красивой жизни и не зря строили свои виллы на берегах Байи, Вико, на острове Капри. Они перебрались на это побережье ради здорового климата,

в сопровождении свиты мимов и флейтистов для услаждения досуга. Он полагал, что знатные римляне были особенно предрасположены к ревматическим болезням.

За все время это было единственное частное мнение, которое позволил себе Граф. И оно не было основано на каких-либо специальных знаниях. О древних римлянах он знал не больше обычного образованного человека. Он рассуждал, исходя из личного опыта. Именно в этом уголке Южной Европы он нашел облегчение от болезненного и опасного ревматического недуга.

Случилось это три года назад. С тех пор он обосновался на берегах залива и останавливался в одном из отелей Сорренто, либо снимал небольшую виллу на острове Капри. У него было пианино, несколько книг, а из потока путешественников со всей Европы он выхватывал себе мимолетных приятелей на день, неделю или месяц. Представляю, как он отправлялся на прогулку по улицам и дорогам, его узнавали попрошайки и владельцы магазинчиков, дети и сельские жители. Граф мог дружелюбно поболтать через забор с крестьянами, а затем вернуться обратно в свой номер или виллу, чтобы, встряхнув седой шевелюрой, усесться за пианино — «так, помузицировать для себя». Ну и конечно, если хотелось чего-то нового, Неаполь был неподалеку — жизнь, движение, вдохновение, опера. Немного развлечений, говорил он, полезно для здоровья. Мимы и флейтисты фактически. В отличие от древнеримских магнатов ему не нужно было отвлекаться от умеренных удовольствий, чтобы ездить в метрополию по делам. Дел у него вообще не было. Вероятно, ему никогда не приходилось решать серьезные проблемы. Это было беззаботное существование с удовольствиями и печальми, подчиняющимися законам природы — женитьбы, рождения, смерти, — соответствующее устоявшимся традициям высшего общества; и защищенное государством.

Он был вдовцом. Но каждые июль и август он пересекал Альпы на шесть недель, чтобы навестить свою замужнюю дочь. Он назвал мне ее имя. Это была известная аристократическая фамилия. У нее был замок в Богемии, я полагаю. Это было все, что мне удалось установить по поводу его национальности. Довольно странно, но свое имя он так никогда и не

назвал. Возможно, он считал, что я видел его в списке постояльцев. По правде сказать, я никогда в него не заглядывал. В любом случае он был образцовым европейцем, говорил на четырех языках и обладал изрядным состоянием. Состоянием не слишком большим, что было очевидно и соответственно. Полагаю, огромное богатство было для него чем-то неуместным, эксцентричным и в целом — вульгарным. Также было очевидно, что состояние заработано не им. Чтобы сколотить состояние, нужна некоторая жесткость. Да и темперамент нужен соответствующий. Он был слишком добродушен для борьбы. Свое имение он упомянул лишь мимоходом, в связи со своим застарелым ревматизмом. Задержавшись однажды по неосторожности севернее Альп до середины сентября, он слег на три месяца в этом одиноком загородном поместье с одним слугой и семейной парой смотрителей, которые за ним ухаживали. Граф пояснил, что не держал в этом имении штат прислуги, необходимый для нормальной жизни. Он заскочил туда всего на пару дней, чтобы пообщаться с земельным агентом. Тогда он дал себе обещание не проявлять такого безрассудства. Впредь с первых недель сентября его можно будет застать только на берегах любимого залива.

Путешествуя, порой встречаешь таких одиночек, чье единственное занятие — ожидание неизбежного. Смерти и женьитьбы привели их к уединению. Сложно обвинить их в стремлении сделать это ожидание приятным, насколько это возможно. Как он заметил: «В моем возрасте свобода от физической боли весьма важный фактор».

Но не нужно думать, что это был занудный ипохондрик. Граф был слишком хорошо воспитан, чтобы быть кому-то в тягость. Он отлично примечал в людях их маленькие слабости, но делал это без злорадства. Его общество после ужина было легким, приятным и умиротворяющим. Три вечера мы провели вместе. Затем мне пришлось отправиться из Неаполя в Таормину, чтобы присмотреть за серьезно заболевшим другом. Не имея других занятий, Граф пошел проводить меня на вокзал. Я был слегка расстроен, а его праздность частенько принимала довольно милые формы. Но он отнюдь не был бездеятельным.

Он шел вдоль поезда, заглядывая в купе, чтобы найти мне местечко поудобнее. Потом остался побеседовать со мной с перрона. Граф заявил, что начнет скучать по мне уже сегодня вечером. Поэтому он намеревается пойти в городской сад — Villa Nazionale — слушать выступление оркестра, наслаждаться отличной музыкой и разглядывать сливки общества. Как обычно ожидается море народу.

Эта картинка как будто стоит у меня перед глазами: его обращенное ко мне лицо с дружеской улыбкой под пышными усами и добрые усталые глаза. Когда поезд тронулся, он обратился ко мне на двух языках, сначала по-французски, пожелав: «Bon voyage», а затем на своем отличном английском, по обыкновению акцентируя каждое слово, произнес, желая развеять мое беспокойство: «Все — еще — будет — хорошо!»

Я вернулся в Неаполь через десять дней, как только мой друг уверенно пошел на поправку. Не скажу, что я много думал о Графе во время моего отсутствия, но, входя в ресторан отеля, я надеялся увидеть его на привычном месте. Я предполагал, что он мог вернуться в Сорренто к своему пианино, книгам и рыбалке. Он приятельствовал со многими рыбаками и частенько удил с ними. Но среди множества других я разглядел его седую голову и даже издали заметил, что с ним что-то не так. Вместо того чтобы сидеть прямо, разглядывая окружающих с вежливым любопытством, он склонился над тарелкой. Некоторое время я стоял напротив него, пока он не поднял на меня глаза. Взгляд его был немного диковат. Конечно, если такое слово можно употребить в отношении его безупречной облика.

— Ах, мой друг! Это вы? — приветствовал он меня. — Надеюсь, все в порядке?

Граф проявил учтивость, поинтересовавшись здоровьем моего друга. Он и всегда был любезен, той любезностью, что присуща людям по-настоящему благородным. Но в этот раз это стоило ему усилий. Попытки продолжить общий разговор ни к чему не привели. Возможно, Граф был просто не в духе. Но прежде чем я смог сформулировать вопрос, он пробормотал:

— Вы застали меня сильно опечаленным.

— Очень сожалею, — сказал я, — надеюсь, с близкими все в порядке?

— Спасибо, что спросили. Но дело в другом. Слава богу, трагических новостей нет. — И он замер и даже, казалось, затаил дыхание. Затем, подавшись немного вперед, он странным тоном, выдающим сильное душевное смятение, сделал признание: — Дело в том, что я попал, как бы это сказать, в отвратительную историю.

Для уравновешенного человека, чья речь всегда отличалась сдержанностью, сила такого эпитета была довольно пугающей. Мне казалось, что слово «неприятная» вполне описывает худшее, что может случиться с людьми его типа. А тут еще и «история». Невероятно! Но такова природа человека: иногда мы склонны верить в худшее. Признаюсь, я украдкой наблюдал за ним, размышляя, что же могло произойти. Однако мои худшие подозрения тут же рассеялись. Присущий ему аристократизм заставил меня отбросить мысли о каких-либо сомнительных или порочащих Графа ситуациях.

— Это очень серьезно. Очень серьезно, — продолжил он нервно, — я расскажу все после ужина, если не возражаете.

Я выразил свое полное согласие легким кивком и ничем более. Хотелось, чтобы Граф понял, что я не стану настаивать, если он вдруг передумает. Мы продолжили болтать о посторонних вещах, но в разговоре чувствовалась напряженность, весьма нехарактерная для наших вечерних бесед. Я заметил, что, когда он подносил ко рту кусочек хлеба, рука его слегка дрожала. Насколько я разбирался в Графе, такой симптом был по меньшей мере настораживающим.

В курительной комнате он не медлил ни минуты. Как только мы заняли наши привычные места, он облокотился на поручни кресла и посмотрел мне прямо в глаза.

— Помните, — начал он, — тот день, когда вы уехали? Я еще сказал, что собираюсь вечером в Villa Nazionale послушать музыку.

Конечно, я помнил. Красивое стареющее лицо, удивительно свежее для его возраста, не омраченное никакими невзгодами, на мгновение показалось осунувшимся

и изможденным. Будто тень пробежала по его лицу. Выдержав пристальный взгляд, я отхлебнул кофе. Граф рассказывал, не упуская ни малейших подробностей, наверное для того, подумал я, чтобы справиться с волнением.

Покинув вокзал, он зашел в кафе съесть мороженого и просмотреть газету. Затем вернулся в гостиницу и, переодевшись, поужинал с большим аппетитом. После ужина он переместился в холл, выкурить сигару. Там поболтал с дочерью ведущего тенора театра Сан-Карло и его супругой — «милой дамой». В тот день оперы не давали, и они тоже собирались вечером в Villa. Вскоре они туда и направились. Вот и славно.

Собравшись последовать их примеру — а уже была половина десятого, — Граф вспомнил, что у него при себе довольно крупная сумма денег. Поэтому он решил зайти в офис и внести большую ее часть в кассу отеля. Сделав это, он взял пролетку и отправился на набережную. Расплатившись, он немного прогулялся и вошел в парк со стороны Ларго ди Витторио.

Граф посмотрел на меня очень пристально. По его взгляду я понял, насколько он на самом деле восприимчив. Мельчайшие детали того вечера сохранились в его памяти, будто бы исполненные какого-то мистического смысла. И если он не упомянул цвет лошади и внешность извозчика, то только по причине излишнего волнения, с которым, кстати, мужественно боролся.

Как я уже упоминал, Граф вошел в парк со стороны Ларго ди Витторио. Villa Nazionale — это городской парк отдыха со множеством лужаек, кустов и цветочных клумб. Он раскинулся между домами, стоящими вдоль Ривьера ди Чиаджа, и берегом залива. Во всю его длину тянутся почти параллельные аллеи деревьев — это стоит отметить особо. Со стороны Ривьера ди Чиаджа, совсем рядом с оградой парка, проходит трамвайная линия. Сад и море разделяет довольно широкая набережная, в хорошую погоду здесь прогуливается модная публика, а за невысокой каменной оградой с мягким шелестом плещется Средиземное море.

Набережная — важная часть ночной жизни Неаполя. По вечерам на ней всегда полно экипажей, чьи фонари словно ройдвигающихся парами светлячков. Одни еле тащатся,

другие быстро мчатся под тонкой неподвижной линией электрических фонарей, очерчивающих берег. Высоко над землей, над гулом голосов, громадами домов и блеском огней, завис, простираясь над безмолвной чернотой моря, еще один сверкающий рой — из звезд.

Сам сад освещен не очень хорошо. Наш друг двигался в теплом полумраке в направлении светящегося в отдалении пространства, чье холодное голубоватое сияние разливалось во всю ширину парка. Сквозь темные стволы деревьев и чернеющую массу листвы это волшебное место дышало мелодичными звуками, которые перемежались порывами духовых, внезапным грохотом железа и глухим дрожащим гулом.

По мере приближения все эти звуки сливались в замысловатую какофонию, в которой музыкальные фразы уверенно прорывались сквозь приглушенный шум голосов и шарканье по гравию танцевальной площадки. Огромная толпа, погруженная в облако электрического света, будто в ванну с легкой светящейся жидкостью, изливаемой из сияющих сфер, колыхалась вокруг оркестра. Еще несколько сотен сидели поодаль в расставленных почти ровными кругами креслах, подставляя себя волнам благозвучия, уходящим дальше в темноту. Граф слился с толпой, предавшись вместе с ней безмятежному блаженству. Он наслаждался музыкой и рассматривал окружающих. Все из приличного общества: матери с дочерьми, родители с детьми, юные дамы со своими кавалерами. Все они болтали, улыбались, кивали друг другу. Множество очаровательных лиц и красивых нарядов. Попадались, конечно, и более оригинальные персонажи: седовласые, седоусые старики и офицеры в форме, толстяки и невероятно худые. Но больше всего было, сказал Граф, итальянских юношей южного типа, с бесцветными гладкими лицами, маленькими черными как смоль усиками и влажными черными глазами. Глазами, которые прекрасно могут излучать как вождение, так и угрозу.

Выбравшись из толпы, Граф присел за столик на террасе кафе и заказал лимонад. За столиком уже сидел молодой человек именно такого типа. Юноша угрюмо смотрел на стоящий перед ним пустой стакан и, подняв взгляд лишь однажды,

быстро опустил глаза и нахлобучил шляпу. Вот так — тут Граф изобразил жест человека, надвигающего шляпу на самые брови, и продолжал:

— Я подумал про себя, он, видимо, чем-то опечален, что-то у него не так. У молодых людей ведь свои проблемы. Я не особо его рассмотрел. Заплатив за лимонад, я удалился.

Пока Граф прогуливался неподалеку от оркестра, ему показалось, что он дважды видел этого юношу в толпе. Один раз их глаза встретились. Вполне вероятно, это все-таки был его недавний сосед по столику. Но вокруг было так много похожих молодых людей, что Граф не был до конца уверен. Однако он не придал этому особого значения, разве только его поразило нескрываемое раздражение и досада на лице юноши.

Вскоре, устав от ощущения несвободы, которое случается испытать в толпе, Граф стал понемногу удаляться от оркестра. В отличие от суеты концертной площадки, мрачные аллеи манили обещанием одиночества и прохлады. Он пошел по одной из них, шагая неспешно, пока звук оркестра не стал еле слышен. Тогда он пошел в обратном направлении. Спустя некоторое время он опять повернулся. Так он проделал несколько раз, пока не заметил, что на одной из скамеек кто-то сидит.

Скамейка располагалась как раз между двумя фонарными столбами, в полумраке.

На краю сиденья, откинувшись на спинку, сидел человек. Ноги его были вытянуты, руки сложены, голова поникла на грудь. Он не шевелился, будто уснул. Но когда Граф проходил мимо в следующий раз, поза его изменилась: теперь он сидел, наклонившись вперед, локти упирались в колени, пальцы раскатывали сигарету. Поглощенный этим занятием, он не поднимал глаз.

Граф продолжал свой неспешный моцион, удаляясь от оркестра. Нетрудно представить себе, как он предается наслаждению (хотя и с присущей ему сдержанностью) благоуханием южной ночи и смягченными расстоянием звуками музыки.

Спустя некоторое время Граф приблизился к человеку на скамейке в третий раз. Он по-прежнему сидел в той же позу, упершись локтями в колени. Высокий воротник

и манжеты его рубашки были единственными светлыми пятнами в полутьме. Граф сказал, что заметил, как человек вскочил, будто бы собираясь уйти. Но не успел он и подумать, как мужчина уже стоял перед ним и спрашивал низким вежливым голосом, не будет ли сеньор так любезен дать ему прикурить.

Граф ответил на просьбу учтивым: «Конечно», — и опустил руки с намерением исследовать карманы брюк в поисках спичек.

— Я опустил руки, — сказал он, — но до карманов так и не добрался. Я почувствовал давление вот здесь. — Граф указал пальцем на точку под грудной костью — то самое место, откуда самураи начинают харакири, ритуальное самоубийство, совершаемое вследствие позора, оскорбления, несовместимого с тонкой душевной организацией.

— Я взглянул вниз, — продолжил Граф голосом с нотками благоговейного ужаса, — и что я вижу? Нож! Длинный нож...

— Вы же не хотите сказать, — воскликнул я в изумлении, — что вас вот так запросто ограбили в парке Вилла в пол-одиннадцатого вечера, в двух шагах от тысяч людей!

Он кивнул несколько раз, глядя на меня в упор.

— Кларнет, — добавил он задумчиво, — как раз заканчивал свое соло, и могу вас заверить, я слышал каждую ноту. И когда оркестр грянул фортиссимо, этот тип закатил глаза и сквозь зубы прошипел с величайшей яростью: «Молчать! Ни звука, или...»

Я не мог справиться со своим изумлением.

— Что это был за нож? — спросил я весьма не к месту.

— Довольно длинный. Возможно, стилет, а может, кухонный нож. Лезвие длинное и узкое. Оно блестело. И глаза его блестели. И зубы тоже. Я их видел. Вид у него был абсолютно свирепый. Я подумал: «Если я его ударю, он меня убьет». Как я мог с ним сражаться? У него нож, а я безоружен. Мне ведь около семидесяти, знаете ли, а он молодой мужчина. Мне показалось даже, что я узнал его — мой угрюмый сосед по столику. Но не могу утверждать наверняка — ведь таких, как он, здесь очень много.

Весь трагизм момента отразился на лице Графа. Вероятно, он был просто физически парализован от неожиданности.

Мозг его, однако, работал необычайно живо, перебирая все возможности подать сигнал тревоги. Среди прочих возникла идея отчаянными криками позвать на помощь. Но он не сделал этого по причине, которая дала мне прекрасную возможность оценить его самообладание. Ничего ведь не мешает нападавшему так же позвать на помощь — промелькнуло у него в голове.

— Молодой человек мог мгновенно отбросить нож и заявить, что нападавшим был я. Почему бы и нет? Он мог сказать, что это я на него напал. Так ведь? Мое слово — против его! Он ведь мог заявить что угодно, выдвинуть самые нелепые обвинения. Откуда мне знать? Судя по одежде, он был не рядовой грабитель, а рангом повыше. Что б я сказал в свое оправдание? Он был местный — я иностранец. Конечно, у меня с собой был паспорт и возможность обратиться к консулу, но быть арестованным и доставленным в полицейский участок ночью, как преступник? Нет уж, увольте!

Он содрогнулся. Это было в его стиле — страшиться скандалов больше, чем самой смерти. Действительно, принимая во внимание некоторую нетрадиционность неаполитанских нравов, все это может показаться чертовски подозрительной историей. Граф был не дурак. Его вера в спокойное respectable существование была в корне подорвана, теперь, думал Граф, он ни от чего не застрахован. При этом его посетила мысль: вдруг этот юноша всего лишь буйнопомешанный?

В этой фразе я разглядел первый намек на то, в каком свете Граф предпочел бы видеть это приключение. При всей избыточной деликатности его чувств, он считал, что выходки душевнобольного не могут уязвить достоинства джентльмена. Увы, но Графу пришлось отказаться от такой утешительной интерпретации событий. Далее он пустился в описание того, как нападавший закатывал сверкающие глаза и скрежетал белыми зубами. Оркестр перешел на торжественное анданте, и рев тромбонов сопровождался нарочито ритмичными ударами большого барабана.

— Ну, и что же вы сделали? — воскликнул я.

— Совершенно ничего, — ответил Граф, — просто стоял, опустив руки. Я спокойно сказал ему, что не стану поднимать

шум. Он рыкнул как пес, а затем сказал обычным тоном: «Портмоне...»

— Ну, и естественно, — продолжил Граф и с этого момента перешел на пантомиму. Не отрывая от меня взгляда, он повторил все движения: опустил руку в нагрудный карман, достал портмоне и протянул его грабителю. Но молодой человек, не опуская нож, даже к нему не прикоснулся. Он велел Графу вынуть деньги, взял их свободной рукой, после чего распорядился положить портмоне обратно в нагрудный карман. Все это происходило под сладкие трели флейт и кларнетов, им гулко вторили взволнованные гобой. Затем «молодой человек», как продолжал называть его Граф, произнес: «Здесь слишком мало».

— Там действительно было не много, всего 340 или 360 лир, — продолжал Граф, — как вы понимаете, я оставил большую часть денег в отеле. Я сказал, что это все, что у меня есть при себе. Он нетерпеливо кивнул: «Часы...»

Граф изобразил, как отстегнул и протянул ему часы. Но незадолго до этого Граф сдал свой ценный золотой хронометр мастеру на чистку. В тот вечер на нем были пятидесятифранковые Waterbury на кожаном ремешке, которые он обычно брал с собой на рыбалку. Оценив стоимость этой добычи, франтоватый грабитель пренебрежительно отмахнулся и цыкнул вот так: «Тц-ц, а-а». Пока Граф убирал отвергнутые часы в карман, грабитель, для убедительности сильнее надавив на нож, потребовал: «Кольца...»

— Одно из колец, — продолжал Граф, — было подарено мне женой много лет назад, другое кольцо — с печаткой — принадлежало еще моему отцу, и я ответил: «Нет! Их вы не получите!»

Здесь Граф воспроизвел жест, сопровождавший его отказ: он сцепил ладони вместе и прижал их к груди. Кротость этого жеста умиляла. «Этого вы не получите», — твердо повторил он и закрыл глаза, ни секунды не сомневаясь, — здесь, преодолевая смущение, я вынужден повторить вульгарное слово, вырвавшееся у Графа, — что будет выпотрошен одним движением этого длинного острого лезвия, хищно уткнувшегося в его солнечное сплетение — место, где в людях скрывается чувство тоски.

Оркестр продолжал изливать чарующие волны мелодий.

Неожиданно Граф почувствовал, что парализующее давление ножа исчезло. Открыв глаза, он увидел, что остался один. Никакого движения вокруг слышно не было. Похоже, «молодой человек» беззвучно удалился, но жуткое ощущение, что нож приставлен, оставалось еще некоторое время. Граф почувствовал слабость. Он едва успел добраться до скамейки. Он как будто долгое время сдерживал дыхание. Рухнув на скамью, он не мог отдышаться после перенесенного потрясения.

Тем временем оркестр чрезвычайно бравурно исполнял замысловатый финал, завершившийся потрясающим крещендо. Все это Граф слышал как во сне, издалека, будто у него заложило уши. Затем, словно набежавший ливень, прокатились бурные аплодисменты тысяч рук. Наступившая полная тишина привела его в чувство.

Трамвай, напоминающий длинный стеклянный ларец, промчался в шестидесяти ярдах от того места, где Граф был ограблен. Пассажиры сидели освещенные, как на сцене. За ним проследовал еще один трамвай, потом другой — в обратном направлении. Слушатели оркестра начали расходиться. Они заходили в аллею небольшими группами, болтая на ходу. Граф уселся и пытался спокойно осмыслить, что же с ним произошло. Отвращение к случившемуся опять сдавило грудь. Насколько я понял, Граф испытывал отвращение к самому себе. И должен заметить, совершенно не из-за своего поведения. В действительности, если верить его пантомиме, Граф вел себя безупречно. Нет, причина не в этом. Ему не было стыдно. Граф был травмирован не столько ограблением, сколько тем, что именно ему довелось стать жертвой оскорбительного унижения. Его спокойствие было беспардонно нарушено. Утонченное и доброжелательное мировосприятие, которое он пестовал всю свою жизнь, было грубейшим образом попорчено.

Тем не менее на этой стадии, прежде чем «клинок вошел глубже», ему удалось вернуть себе относительное спокойствие. Возбуждение немного улеглось, и Граф почувствовал, что ужасно голоден. Да, голоден. Буря пережитых эмоций

возбудила просто зверский аппетит. Он покинул скамейку и побрел, пока не обнаружил, что вышел из парка и находится на остановке перед стоящим трамваем. Не вполне понимая, как здесь очутился, Граф сел в трамвай, словно подчиняясь неведомой инстинкту. Все это было как во сне. К счастью, в карманах нашлась мелочь, чтобы оплатить проезд. Потом трамвай остановился, все стали выходить, Граф тоже вышел. Он узнал площадь Сан-Фердинанда. Странно, но ему не пришлось в голову взять такси и вернуться в отель. Он стоял на площади, как потерянный пес, и в его затуманенном сознании билась одна отчетливая мысль — как бы побыстрее что-нибудь съесть.

Граф вдруг вспомнил о двадцатифранковой монете. Он объяснил, что французский золотой у него уже около трех лет. Он привык иметь его при себе, так, на всякий случай. Любой может стать жертвой карманника, но дерзкое, унижительное ограбление — совершенно другое дело.

Он увидел перед собой монументальную арку галереи Умберто на вершине знаменитой лестницы. Не теряя времени, Граф поднялся по ней и зашагал в направлении кафе Умберто. Все столики на улице были заняты — посетители выпивали на свежем воздухе. Но поскольку Граф хотел есть, он зашел в кафе. Помещение было разделено рядами квадратных колонн, облицованных высокими зеркалами. В ожидании ризотто Граф уселся в красное плюшевое кресло напротив одной из колонн. Мысли его опять вернулись к ужасному приключению.

Он думал о мрачном хорошо одетом молодом человеке, с которым он встретился взглядом в толпе у оркестра. Граф был уверен, что это и был грабитель. Мог ли он узнать его при встрече? Едва ли. Да он и не хотел встретить его снова. Лучше просто забыть это гнусное происшествие.

Граф беспокойно огляделся вокруг — где же его ризотто? И вдруг! Слева, напротив стены, — тот самый молодой человек. Он был один, на столе стояла бутылка какого-то вина или ликера и вода со льдом. Гладкие оливковые щеки, красные губы, черные как смоль усики галантно загнуты вверх. Блестящие черные глаза, слегка навывкате и затененные длинными

ресницами, оставляли странное впечатление властного недовольства, которое можно увидеть лишь на бюстах некоторых римских императоров — несомненно, это был он. Ну точно, его тип. Граф торопливо отвел взгляд. Молодой офицер, читающий газету неподалеку, выглядел так же. Тот же тип. Два молодых человека, игравшие в шашки в другом конце зала, имели похожие черты...

Граф опустил голову, в глубине сердца страхась, что образ этого парня станет преследовать его вечно. Он приступил к ризотто. Вскоре он услышал, как молодой человек слева от него позвал официанта раздраженным голосом.

На его зов бросился не только его официант, но и двое других, обслуживавших соседние ряды. Вообще-то такое подобострастное рвение было несвойственно официантам кафе Умберто. Молодой человек буркнул что-то, и один из официантов понесся к ближайшей двери, крича в галерею: «Паскуале! Паскуале!»

Все знают старину Паскуале. Потрепанный старикашка вечно сует между столиками кафе, предлагая посетителям сигареты и спички, сигары, почтовые открытки. В общем, тот еще прохвост. Граф увидел, как седовласый небритый прохиндей вошел в кафе. Стекланный сундучок на кожаном ремне висел у него на шее. По слову официанта он с неожиданной прытью рванул к молодому человеку, огибая столики. Молодому человеку понадобилась сигара, и она была предоставлена с величайшей услужливостью. Когда старый пройдоха уже ковылял к выходу, Граф вдруг подозвал его.

Паскуале приблизился с угодливо-почтительной улыбкой, которая плохо гармонировала с алчно бегающими глазами. Оперев сундучок на стол, он, не говоря ни слова, открыл стеклянную крышку. Граф выбрал пачку сигарет и, исполненный жгучего любопытства, спросил как можно более небрежно:

— Скажи мне, Паскуале, кто этот молодой сеньор?

Пройдоха заговорщически склонился над коробкой.

— Это, сеньор Граф, — не поднимая глаз, он деловито перекладывал свои вещички, — это молодой кавалер из очень знатной семьи, родом из Бари. Здесь он учится в университете.

И еще он старший — капо, в компании молодых людей — очень хороших молодых людей.

Он сделал паузу, напыжился, гордый своей осведомленностью, и осторожно пробормотал поясняющее все слово:

— Каморра, — и захлопнул крышку, — могущественная каморра, — выдохнул он, — даже преподаватели относятся к ней с уважением... одна лира и пятьдесят центезимо, сеньор Граф.

Наш друг расплатился золотой монетой. Пока Паскуале искал сдачу, Граф обратил внимание, что молодой человек, несколько слов о котором так многое прояснили, тайком следил за платежом. Когда старый бродяга удалился со своим скарбом, Граф рассчитался с официантом и остался сидеть. Какое-то ощущение, сказал он, нашло на него.

Наш «молодой человек» тоже расплатился по счету и, пересекая ряды столов, направился к зеркалу на ближайшей к Графу колонне. Он был во всем черном, и только бабочка была темно-зеленой. Граф оглянулся, и зловещий блеск в глазах другого испугал его. Молодой кавалер из Бари (если верить Паскуале, хотя он известный лгун) поправлял перед зеркалом бабочку и шляпу, приговаривая так, что было слышно только Графу. Он цедил сквозь зубы с тем оскорбительным ехидством, что порождается полнейшим презрением, при этом рассматривая себя в зеркале:

— Ха! Так у тебя было с собой золото, старый ты плут, жулик, старый негодяй! Но я еще с тобой поквитаюсь!

Злоба на его лице погасла, как гаснет вспышка молнии, и с мрачно-бесстрастной физиономией он вразвалочку вышел из кафе.

Рассказав этот последний эпизод, бедный Граф, дрожа, обмяк в кресле. Лоб его покрылся испариной. В самой сути этой злобы была какая-то беспредельная дерзость, которая потрясла даже меня. Представляю, каково было Графу при его чрезмерной чувствительности. Уверен, только природная утонченность помешала Графу вульгарно умереть от апоплексического удара прямо в кафе. Скажу без иронии, мне даже пришлось скрыть от него глубину моего сострадания. Он избегал всего чрезмерного, а мое сочувствие было поистине безграничным.

Я не удивился, узнав, что неделю он пролежал в постели. Едва поправившись, он начал приготовления, чтобы покинуть Южную Италию навсегда.

И это при его твердом убеждении, что в другом климате он не протянет и года!

Мои аргументы не возымели ни малейшего эффекта. Его бегство было вызвано не страхом, хотя он как-то обмолвился: «Вы, видимо, не знаете, что такое каморра, мой дорогой друг. Теперь я для них мишень». Он не боялся того, что может произойти с ним. Однако его обостренное чувство собственного достоинства подверглось унижительному поруганию. Этого Графа не мог перенести. Ни один самурай с самым притязательным кодексом чести не готовился бы к хакакири с большей решимостью. Для бедного Графа возвращение домой было равносильно самоубийству.

Есть такая формула неаполитанского патриотизма, предназначенная, я полагаю, для иностранцев: «Vedi Napoli e poi morì — увидеть Неаполь и умереть». Это выражение бьющего через край тщеславия, а все чрезмерное претило изысканной умеренности бедного Графа. И все же, когда я провожал его на вокзале, я поймал себя на мысли, что он, как это ни удивительно, поступает в полном соответствии с пафосом этой фразы. Vedi Napoli!.. Он увидел его, увидел во всей полноте — и теперь отправляется умирать. Он отбывает в свою могилу на шикарном поезде Международной компании спальных вагонов, через Триест и Вену.

Когда четыре длинных мрачных вагона двинулись от перрона, я снял шляпу со скорбным чувством, что отдаю дань уважения похоронному кортежу. Основательно постаревший, каменно-неподвижный профиль Графа уплывал от меня в освещенном окне — vedi Napoli e poi morì.

Компаньон

— Чушь собачья! Тут в Вестпорте лодочники эту байку который год курортникам травят. Нужно же как-то развлекать остолопов, что катаются на лодках за шиллинг с носа и задают дурацкие вопросы. Нет, ну надо такую глупость придумать — на лодке вдоль берега таскаться!.. Знай себе толкут воду в ступе. Понять не могу, зачем им это нужно! Их там даже не укачивает.

Рядом стояла забытая кружка пива. Сидели мы в небольшой respectable сигарной небольшой respectable гостиницы, а засидеться с ним допоздна меня заставила любовь к случайным знакомствам. Широкие, изборожденные морщинами бритые щеки; остриженный по линейке клочок седых волос на подбородке — шевелясь при разговоре, он придавал словам еще больше весомости. Неизменно нахлобученная широкополая шляпа черного фетра выражала его презрение ко всему человечеству с его ханжеством и суетой.

Он походил на старого искателя приключений, остепенившегося после многочисленных передряг в самых мрачных уголках земли; однако у меня были все основания полагать, что он никогда не покидал пределов Англии. Из случайного разговора я сделал вывод, что в прошлом он был как-то связан с судоходством — точнее, с кораблями в порту. Это был незаурядный персонаж, что сразу привлекло мое внимание. Но дать ему четкую характеристику было не так-то просто, и ближе к концу недели я бросил эту затею, наделив его размытым определением «валяжный старый грубиян».

Как-то дождливым днем, томимый беспросветной скукой, я зашел в сигарную. Он сидел там совершенно неподвижно,

словно уличный факир. Это производило сильное впечатление. Я стал представлять себе, каким могло быть окружение такого человека, его личные связи, взгляды, нравственные принципы, его друзья и даже его жена — его, так сказать, среда, когда, к моему удивлению, он заговорил глубоким, глухим голосом.

Должен сказать, что с тех пор, как он прослышал, что я пишу рассказы, мое появление к завтраку отзывалось в нем невнятным ворчанием. Обычно он молчал, а немногие рубленные фразы его звучали грубовато. Я не сразу понял, что он желает поговорить о сочинительстве, что его интересовало, откуда берутся сюжеты для газет и журналов. Ну что такому скажешь? Но я умирал от скуки, погода на улице установилась несносная, и я решил проявить любезность.

— Выходит, ты сам придумываешь эти рассказы. Как они вообще тебе в голову приходят? — пророкотал он.

Я пояснил, что почти у каждого рассказа есть некая зацепка.

— Какая еще зацепка?

— Ну, например, — продолжил я, — я решил посмотреть на скалы и нанял лодку. Мой лодочник поведал мне о крушении, которое произошло в том месте около двадцати лет назад. За это вполне можно зацепиться и использовать для описательной части рассказа под названием, скажем, «В проливе».

Тут-то он и набросился на лодочников и курортников, внимающих их рассказам. Не изменившись в лице, он выдал громогласное «Брехня!» — казалось, звук идет откуда-то из глубин его груди — и продолжил бурчать хрипло и отрывисто.

— Пялятся на эти дурацкие камни, кивают своими дурьями бóшками (это он, вероятно, о туристах). Что они вообще себе думают? Человек — он что, раздутый бумажный пакет, что ли? Ударится об камни и лопнет к черту? Чуть собачья... Хороша зацепка! А может, вранье это все?!

Нужно представлять себе этого монументального грубияна с черным нимбом широкополой шляпы; и как он прорычал это, словно старый пёс, вскинув голову и уставившись в пустоту.

— Может и так! — воскликнул я. — Но даже если и вымысел, все-таки это зацепка, позволяющая увидеть скалы, бурю,

о которой все толкуют, сильные волны и прочая, и прочая в человеческой перспективе. Борьба с силами природы и в итоге одна, скажем так, возвышенная...

— Тебе совсем до правды дела нет? — грубо перебил он.

— Не сказал бы, — ответил я уклончиво. — Говорят, что правда невероятней вымысла.

— Кто говорит? — пробурчал он.

— Да так, люди.

Я отвернулся к окну, мне тяжело было смотреть на это заносчивого прохвоста, рука которого неподвижно лежала на столе. Полагаю, моя бесцеремонность спровоцировала его сравнительно длинную речь.

— Ты только посмотри на эти дурацкие камни! Как изюм в куске холодного пудинга.

И я посмотрел: целое поле черных точек, разбросанных по стальной глади моря, покрытых полупрозрачной пеленой серого тумана, сквозь который приглушенным белым пятном проглядывал утес, отливающий рассеянным, таинственным сиянием. Изящная и чудесная картина, нечто выразительное, вдохновляющее и пустынное, симфония в темных тонах — полотно Уистлера. Но слова, произнесенные в следующую секунду за моей спиной, заставили меня обернуться. Он прорычал что-то о своем презрении ко всем мифам о ревущем море и продолжил...

— Я — без всякой ерунды вот этой — гляжу на эти камни — скорей контора на память приходит — было дело, заглядывал когда-то — в Лондоне контора — переулочек там один на задворках вокзала Кэннон-Стрит.

Он говорил, подбирая слова, не то чтоб сбивчиво, скорее отрывисто, то и дело переходя на просторечие.

— Связь весьма неочевидная, — заметил я, приближаясь к нему.

— Связь? Какая, к дьяволу, связь! Это несчастный случай был.

— И все же, — говорю, — у всякого случая есть свои причины и следствия, и если их прояснить...

Оставаясь недвижим, он как будто наострил уши.

— Ага, прояснить. Уж ты бы прояснил. Разбежался. Нет тут никакой морской романтики. Но ты-то из головы сможешь по-выдумать — если охота.

— Смогу, если понадобится, — парировал я. — Иногда имеет смысл повыдумать из головы, а иногда — незачем. В этой истории и придумывать ничего не надо. В ней и так все есть.

Меня забавляло говорить с ним в такой манере. Он принялся размышлять вслух о том, что писатели жадны до денег, как и все, кому приходится вертеться, чтобы заработать себе на кусок хлеба; и на что только люди не пойдут ради денег... Есть такие.

Затем он прошелся по морской профессии. Дурацкая профессия, сказал он. Ни возможностей, ни опыта, ни разнообразия — ничего в ней нету. Он признал, что среди моряков есть достойные мужи, но на берегу они тонут. Беспомощны как дети. Вот, например, капитан Гарри Данбар: хороший моряк, и шкипер уважаемый. Здоровяк; короткие седеющие баки, лицо благородное, голосистый. Хороший мужик, но наивный, как ребенок.

— Это вы о капитане «Сагамора», — сказал я со знанием дела.

На мою реплику он отозвался пренебрежительным «само собой» и уставился на стену, где ему как будто рисовалась та самая контора в городе, «на задворках вокзала Кэннон-Стрит». Затем, отрывисто бормоча, то и дело нервно вздергивая подбородок, начал он свое разрозненное описание.

По его словам, это было скромное предприятие, вполне благонадежное, но не проходное, на маленькой улочке, где сей-час ни дома с тех времен не осталось.

— Семь домов от паба «Чеширский кот» под железнодорожным мостом. Я там обедал, когда надо было в город по делам. Клути захаживал перекусить и посмешить хозяйку. Тут слов особо не надо. Одного вида его поблескивающих очков да кривящихся толстых губ было достаточно, чтобы расхохотаться еще до того, как он заведет одну из своих баек. Забавный мужичонка этот Клути. К-л-у-т-и — Клути.

— Кто он вообще — голландец? — спросил я, силясь понять, какое это все имеет отношение к вестпортским лодочникам,

вестпортским курортникам и к раздражению моего примечательного собеседника, который в одних видел лжецов, в других — дураков.

— Черт его знает, — проворчал тот в ответ, глядя на стену, будто боясь упустить хоть кадр своей фильмы, — говорил только по-английски. Первый раз его вижу — в порту сходит с корабля из Штатов — пассажир. Спрашивает, где найти гостиницу поблизости. Остановиться в тихом месте на пару дней — осмотреться. Отвел его в одно местечко — к другу моему... В другой раз — в Сити — здраасьте! Выручили вы меня — давайте выпьем. Понарассказывал про себя всякого. В Штатах много лет. Всякие дела обделывал там и сям. Даже патентованными пилюлями занимался. Разъезжает. Сочиняет рекламу и все такое. Рассказал мне много смешного. Высокий такой, подвижный. Волосы черные, стоят как щетка; лицо длинное, ноги длинные, руки длинные, очки поблескивают, шутливо так говорит, тихим голосом... Представил?

Я кивнул, но он на меня не смотрел.

— В жизни так не смеялся. Эдакий брехун — расскажет тебе, как с родного отца кожу сдирал, и то расхохочешься. А с него станется. Кто связан с патентованными пилюлями, готов на все — и в орлянку сыграть, и человека порешить. Это так, чтобы ты знал. Такие за что ни возьмутся — думают, все у них выгорит, все с рук сойдет — весь мир ни во что не ставят. А Клути еще и делец. Несколько сотен фунтов с собой привез. Присматривался, чем бы заняться без лишнего шума. Все ж таки с родной ничто не сравнится, говорит... На том и расстались, а накачал он меня порядочно. Через какое-то время, полгода, может, спустя, я снова сталкиваюсь с ним в конторе мистера Джорджа Данбара. Да-да, в той самой конторе. Я вообще не то чтобы часто... Но на судне в порту был кое-какой груз, о котором я хотел мистера Джорджа расспросить. И тут Клути выходит из задней комнаты с какими-то бумагами. Компаньон. Ты понимаешь?

— Ага! — отозвался я. — Несколько сотен фунтов.

— Ох уж этот его язык, — пророкотал он. — Про язык-то не забывай. Уж он-то напелл Джорджу Данбару баек, объяснил ему, как дела делаются.

— Умел внушить доверие, — предположил я.

— Ну-у! Понимай как знаешь. В общем. Компаньон. Джордж Данбар надевает цилиндр и просит меня немного подождать... Джордж всегда выглядел так, будто делал несколько тысяч в год — пижон... Пойдем, старина! И вот они с капитаном Гарри выходят вместе — по небольшому дельцу к поверенному за углом. Капитан Гарри, когда бывал в Англии, приходил в контору брата около полудня. Сидел в углу, как пай-мальчик, читал газетку и покуривал свою трубочку. И вот, стало быть, выходят... Образцовые братья, — говорит Клути, — неразлучники — я-то в этом детском саду за фруктовые консервы отвечаю... — и все в таком духе. Потом слово за слово: а что за посудина этот «Сагамор»? Ах, во всем флоте лучше не сыщешь? Так поглядеть, вам все суда хороши. Это ваш хлеб. Я вам так скажу: все равно что положить деньги в старый чулок; хотя нет — в чулок и то лучше!

Он глубоко вздохнул, и я заметил, как его рука, до того спокойно лежавшая на столе, медленно сжимается в кулак. При всей его монументальной неподвижности такой жест вселял страх, подобно знаменитому кивку Командора.

— Так что заметь, уже тогда, — проворчал он, — уже тогда...

— Постойте, — перебил я, — мне говорили, что «Сагамор» принадлежал «Манди и Роджерс».

Он презрительно фыркнул.

— Чертовы лодочники, язык — что помело. Ну ходили под их флагом, так это другое. По уговору. А дело вот как было: когда старик Данбар умер, капитан Гарри уже на них работал. Джордж бросил банк, в котором служил, и на свою долю наследства начал дело. А Джордж толковый был. Сперва склад открыл, потом древесиной занимался, консервированными фруктами, ну и тому подобное. А капитан Гарри дал ему свою долю в оборот... У меня корабль — не пропаду. Но тут Манди и Роджерс решают перейти на пар и начинают продавать старые суда иностранцам. Капитан Гарри загрустил: распрощаться с командой, с любимым судном — скверное дело. И тут вдруг братьям опять привалило — старуха, что ли, померла или вроде того. Нормальное так привалило. А Джордж и говорит:

«У нас с тобой как раз хватит, чтобы выкупить „Сагамор“...»

Тебе ж для дела деньги нужны, горячится капитан Гарри, а второй только смеется: да дела-то идут. Старина, да я пригоршню соверенов заработаю быстрее, чем ты трубку раскуришь... Манди и Роджерс и рады: разумеется, капитан. Можем даже взять судно в управление, как будто и не продавали... Ну, при таком раскладе судно было хорошим вложением. Ага, хорошим — на тот момент.

Тут он слегка повел головой, что в его случае было равнозначно проявлению сильнейшего чувства.

— Имей в виду, что Клути тогда еще и в помине не было, — грозно пробормотал он.

— Как скажете, — отозвался я. — В таких случаях пишут — прошли годы. И вся недолга.

Он смотрел на меня некоторое время отсутствующим взглядом, будто погружившись в мысли о годах, которые я с такой легкостью пропустил; а ведь это были и его годы — и до, и после появления Клути (последних прошло не так уж много). Когда он снова заговорил, в его сумбурной, но выразительной речи я уловил желание донести до меня, как повлияло на Джорджа Данбара длительное общение с Клути — этим беспринципным, ушлым пройдохой, обезоруживающее обаяние которого (забавный мужичонка) питало его бесшабашный авантюризм.

— Он настаивал на том, чтобы я все подробно расписал, и я заверил его, что это вполне в моих силах. Потом упорно втолковывал мне, что у Джорджа были взлеты и падения (брат же тем временем безмятежно ходил туда-сюда под парусом); что временами он садился на мель — и это весьма его тревожило, поскольку у него была молодая жена с запросами. В общем, дела шли не очень гладко; а тут Клути повстречал в городе человека, который продвигал патентованные пилюли (чем Клути в Америке занимался), и не без успеха, но если как следует вложиться в рекламу — тысяч так на несколько, — то дело выгорит почище золотой жилы. Такие перспективы увлекли Клути, тем более что он в этом разбирался. Ясно было, что когда подвернулась такая уникальная возможность, новый компаньон Джорджа буквально загорелся этой идеей.

И вот каждый день около одиннадцати он приходит в кабинет Джорджа и поет ему эту песню, пока тот не начинает скрежетать зубами от ярости. Заткнись! Какой толк? Денег все равно нет. Едва хватает на плаву удержаться, какое там вкладывать тысячи в рекламу. А предложить Гарри продать судно он никогда не осмелится. Об этом и думать нечего. Брат до смерти расстроится. Это будет для него конец света. И уж точно не ради такого дела!.. «Афера, думаешь?» — кривит губы Клути... Джордж идет на попятный: «Да нет, это ж каким чистоплюем надо быть, чтоб после стольких лет в торговле такое подумать». Клути смотрит на него пристально так: «А речь-то вовсе не о продаже. Уверен, что старое корыто уже и на половину страховой стоимости не потянет». И тут Джордж на него как набросится: «Так что ж ты все зубы скалишь над нашей посудинкой, три недели уже? Мне, кстати, надоело».

Злится, что Клути ему голову морочит, понимаешь. А Клути спокойно так, медленно ему говорит: «Меня чистоплюем тоже не назовешь. Старину „Сагамора“ не на продажу надо. Томагавкнуть бы эту рухлядь». Сагамор — вроде как вождь у индейцев. Рострой на судне был полуголый дикарь с пером за ухом и топориком на поясе. Томагавкнуть, говорит.

«О чем это ты?» — спрашивает Джордж... «Крушение — можно повернуть совершенно гладко, — продолжает Клути, — тогда и брат твой вложится деньгами из страховки. А во что вложится — говорить не обязательно. Ты для него величайший коммерсант на земле. Заодно и ему состояние сколотим...» Джордж в ярости хватается за стол... «Думаешь, мой брат способен корабль свой ради денег потопить?! Рядом с ним и подумать о таком невозможно — благороднейший человек на земле... Давай-ка потише, на улице слышно». Клути говорит, что брат, конечно, образчик всех добродетелей, хоть в музей выставляй, его бы только уговорить на берегу остаться — отпуск взять — отдохнуть немного — почему бы нет?.. «На самом деле, — шепчет Клути, — есть у меня на примете человечек для такого дельца».

Джордж аж поперхнулся... «Ты что думаешь, я из этих — думаешь, я на такое способен — ты за кого меня принимаешь?» Он чуть с ума не сходит, а Клути тем временем спокоен,

побледнел только... «Я тебя принимаю за того, кто не ровен час по миру пойдет...» Он идет к двери и выпроваживает конторских на обед — их там всего двое. Возвращается... «А ты чего так возмущаешься-то? Я тебе что, вдову обокрасть предлагаю? Или сироту? Ты чего? Ллойд — это ж корпорация, ей голодать не придется. Там, наверное, страховщиков сорок, кто корабль твой дурацкий страховал. Никто из них без еды и крова точно не останется. Все риски просчитаны. Все учтено, говорю тебе...» — ну и все в таком духе. Так-то! Джордж слишком взволнован, чтобы продолжать разговор — только хрипит что-то и руками машет; не ожидал он такого, понимаешь? А тот знай себе греет спину у камина и дальше о своем. Дела твои с древесиной на ладан дышат, с фруктами консервированными тоже не идет... Ты боишься, говорит, но закон на то и нужен — дураков пугать. И разъясняет, какое беспроигрышное это дельце — корабль на дно пустить. Столько лет исправно за страховку платили. И тени подозрения не возникнет. И, черт подери, не вечно же плавать этой посудине!

«Я не боюсь. Я возмущен», — говорит Джордж Данбар. Внутри у Клуты все кипит от злости. Вот он — шанс всей его жизни! А сам ласково так: «Жена твоя похлеще возмутится, когда ты попросишь ее перебраться из вашего красивого дома в каморку под крышей. А может, еще и с детьми...» Детей-то у Джорджа не было. Женат уже пару лет, мечтал о ребенке или даже двух. Тут он совсем раскис. Стал говорить, мол, детям нужен честный отец, и все такое. Клуты ухмыляется: «Так подсуетись до их появления, и у них будет богатый отец — и всем только лучше. В том-то и прелесть».

Джордж чуть не плачет. Думаю, иногда он и вправду плакал. И так неделя за неделей. Разругаться с Клуты он не может. Не может вернуть его несколько сотен; да и привык он к нему. Слабодушный он, Джордж. А Клуты щедрый такой... Про мою скромную долю, говорит, не думай. Будем закрываться — она, конечно, пропадет. Но, говорит, и ладно... А еще эта молодая жена Джорджа. Пригласят они Клуты на обед, так этот пройдоха всегда во фраке приходит; женушке это нравилось... «Мистер Клуты, компаньон моего мужа; такой умница, такой светский, такой обаятельный!» Останутся они вдвоем за обедом:

«Ох, мистер Клути, вот бы Джордж позаботился, наконец, о нашем будущем. Положение у нас уж очень скромное...» Клути улыбается, но удивляться тут нечему, он же сам и поселил эти мысли в ее пустую головку... «Мужу вашему побольше бы деловой хватки, решительности. Вот вы бы его и вдохновили, миссис Данбар...» Она была бестолковая, расточительная дуручка. Убедила Джорджа поселиться в Норвуде. А уж там-то люди куда побогаче живут. Я ее как-то видел: шелковое платье, прелестные башмачки, все духи да перья, розовое личико. По мне, так на променады перед Альгамброй^{*} наряжаются, а не в приличном районе ходят. Но, знаешь, бывают такие женщины — из мужиков веревки вяют.

— Бывают, — согласился я. — Иногда даже из собственных мужей.

— Моя супруга, — неожиданно серьезно и как-то глухо заговорил он, — как хотела, так мной и вертела. А я и не понимал, пока она жива была. Да уж. Но она была женщина благо-разумная, а этой фифе самое место на панели, вот и весь сказ... Ну подумаешь там из головы. Знаешь таких.

— Да уж справлюсь, — ответил я.

— Хм, — буркнул он с сомнением и вернулся к своему на-смешливому тону. — Месяц или около того спустя прибывает «Сагамор». Поначалу все рады... Здорово, братец Джордж! Здорово, Гарри, старина! Но вскоре капитан Гарри стал замечать, что его башковитый брат выглядит неважнецки. А Джордж и вправду мрачнеет день ото дня. Никак не может избавиться от этой мысли, что ему Клути напел. Втемяшилась она ему. А Гарри не может понять, что не так. Дела идут? Вполне себе. Дел невпро-ворот. Все в порядке... Ну, Гарри, ясное дело, с легкостью этому поверил. Начинает подтрунивать над братцем в своем разве-селем духе, дескать, мы тут деньги лопатой гребем. А у Джорд-жа аж рубашка от пота к спине прилипла. В общем, осерчал он на капитана. Вот дурень, думает. Деньги лопатой гребем, ага! И тут его осеняет: а почему бы и нет? А все потому, что идея эта крепко засела у него в голове.

* Лондонский театр, открылся 1858 году.

Но на следующий день он дал слабину и говорит Клути... «Может, все-таки лучше продать. Потолкуешь с моим братом?» Клути опять, в сотый раз, объясняет, что продажа — не вариант, как ни крути. «Сагамора» надо — как он это называл, щадя чувства Джорджа, — томагавкнуть. Но Джорджа от этого слова всякий раз передергивало. «У меня на примете подходящий человек имеется, готов повернуть это дельце за пять сотен, да с превеликим удовольствием», — Клути говорит... От такого поворота Джордж аж зажмурился, а сам думает: «Чепуха! Быть не может такого человека. А если вдруг найдется, кто знает, может, дело и выгорит».

А Клути все хохмит. Уж такая манера — про что ни заговорит, все у него в шутку оборачивается. «Ты, — говорит, — Джордж, у нас гражданин добропорядочный. А добропорядочность — она для трусов, а трусливей тебя я во всем мире не встречал. Да ты даже с братом своим поговорить боишься и рта при нем не можешь раскрыть, когда нам всем тут такая удача прямо в руки плывет». Джордж пришел в ярость: ничего я не боюсь, поговорю. И кулаком по столу. Клути похлопал его по спине: скоро, говорит, выйдемся с тобой в люди.

Но только Джордж собрался с капитаном поговорить — сразу сердце в пятки ушло. Над предложением посидеть на берегу капитан только смеется. Никаких отпусков ему не нужно, спасибо, увольте. А вот Джейн не прочь в этот раз в Англии остаться. Погулять там и сям, со знакомыми повидаться. Джейн была жена капитана: круглолицая, приятная такая дама. В тот раз Джордж отступил, но Клути настаивал. И вот он снова заводит. А капитан только брови хмурит. Потому хмурит, что в недоумении полном. Не понимает ничего. Он жизни себе не представляет без «Сагамора»...

— А, теперь понял! — воскликнул я.

— Ни черта ты не понял, — гаркнул он, обратив на меня презрительный всесокрушающий взгляд.

— Прошу прощения, — пробормотал я.

— Хмм. Ну да ладно. Вид у капитана Гарри очень суровый, Джордж аж съеживается весь внутри... «Да он насквозь меня видит...» Ничего он не видел, конечно, но Джордж к тому времени

уже от тени своей шарахался. С Клути тоже юлит. Напускает компаньону, что, мол, брат уж почти решил пересидеть рейс на берегу и все такое. Клути ждет, ногти грызет от нетерпения. Он таки нашел человечка на это дело. Веришь — нет, в своей же гостинице — где-то неподалеку от Тоттенхэм-Корт-Роуд. Приметил одного — вроде постоялец, а вроде и нет, — слоняется по темным углам. Вроде как «хозяин дома», скользкий такой типчик. Глаза темные. Лицо белое. Хозяйка — вдовой представлялась — только и твердит про мистера Стаффорда; мистер Стаффорд то, мистер Стаффорд се... В общем, Клути зовет его выпить. Вечерами-то он все по барам рассиживал. Не то чтоб пьяница, так — компании ради; любил поболтать с разными людьми... Привычка такая, американская манера.

И вот Клути зовет этого малого на стаканчик — раз, другой, третий. Так себе компания, надо заметить. Хвастаться ему особо нечем. Сидит тихонько да пьет, что нальют, глаза прикроет, вроде как застенчивый... «Не повезло мне», — говорит. А по правде, вышибли его из крупного пароходства за недостойное поведение; но корочки-то при нем осталась, как ты понимаешь; а он покатился по наклонной, и, похоже, не без удовольствия. Лишь бы не работать. Сел вот на шею вдовушке, что держала пансион.

— Да быть того не может, — решил я вставить слово. — Капитанские корочки, говорите?

— Еще как может. Знавал я таких, что и кондукторами устраивались, — прорычал он с презрением. — Ну. Уцепятся за ремень на приступочке, болтаются и вопят: «Два пенса до конечной». Все от пьянства. Но этот Стаффорд был другого сорта. В аду таких вот Стаффордов полно. Клути, случалось, над ним посмеивался, и тогда его полуприкрытые глазки злобно эдак поблескивали. Но вообще Клути был с ним добр. Клути из тех, что и шелудивого пса не обидит. Ставил этому фрукту выпивку да, бывало, выкатывал полкроны — вдовушка-то мистера Стаффорда карманными деньгами не баловала. Почти каждый день грызлись у себя внизу...

Клути потому и пришла эта идея разделаться с «Сагамором», что Стаффорд этот моряком был. Присмотрелся к нему,

решил, что на такую авантюру ему пороуху хватит, и как-то вечером говорит... «Думается, вы не прочь были бы выйти в море еще разок...» Тот, не поднимая глаз, отвечает, мол, на это и времени жалко, тем более за такие гроши... «А что если жалование капитанское на рейс, да пара сотен сверху, если вдруг случится вернуться без корабля. Тонут суда, случается...» А Стаффорд этот: «И не говорите!» — и дальше прихлебывает из своего стакана, будто его это не касается.

Клути на него малость поднажал, а тот в ответ ему дерзко так говорит, позевывая: «Не вижу перспективы, а вы?» — «Да нет, — говорит Клути, — какие перспективы! В любом случае вас это не коснется. Дело-то разовое. Так во сколько вы оцениваете свои перспективы?» — спрашивает... Тот уже совсем заскучал, чуть не спит. Ленивый был прохвост для таких дел. В карты по мелочи облапошить, женщину взять в оборот, чтоб деньги вымогать или выпрашивать — вот это больше по его части. Клути прошипел страшные проклятья — все это в баре «Подкова» на Тоттенхэм-Корт-Роуд. В конце концов за вторым стаканом Горячего Тодди по шесть пенсов они сошлись на том, что за пятьсот фунтов можно «Сагамора» и томагавкнуть. И вот теперь Клути ждет — дело за Джорджем.

Проходит неделя, другая. Этот тип слоняется по дому, как будто ничего и не было, и Клути начинает сомневаться, возьмет-ся ли он взаправду за это дело. Но тут он, как обычно потупив взор, останавливает Клути у двери: «А что слышно о той работенке, что вы предлагали?» — спрашивает... Он, видишь ли, обошелся с хозяйкой сквернее прежнего и теперь ждет, что поднимется дикий скандал и ему наверняка дадут отставку. Клути и рад радешенек. Джордж так юлил перед ним, что он и взаправду решил, что дельце, считай, на мази. И он говорит: «Да. Настало время представить вас моему другу. Берите шляпу, и пойдем...»

Заходят эти двое в контору, а Джордж за своим столом, в панике — глаза вытарачил и сидит. Видит долговязого парня — лицо смазливое, взгляд тяжелый, веки опущены; короткое засаленное пальцецо, котелок потрепанный, весь осторожный такой — по всякому движению видно. И думает про себя: так вот он какой из себя эдакий-то человек! Нет, не бывать этому...

Клуту их друг другу представляет, а парень этот оборачивается — стул проверит, только потом сядет... А Клуту свое: человек в высшей степени компетентный... Тот сидит молча, ни слова не проронит. Да и Джорджу говорить невмоготу — в горле совсем пересохло. И тут выдавливают: «Хм. Хм. Ах, да — сожалею, не хотел вас расстраивать, но братец мой — планы у него переменились — он сам пойдет в рейс».

Человечек, значит, встает, глаза в пол, как у кисейной барышни, и плавно выходит кабинета, и слова не проронив. Клуту за подбородок схватился и все пальцы разом прикусил... Джордж приходит в себя и говорит. Не дело это. Как можно? Вот только корабль сгинет, Гарри поймет, в чем дело. Он же сам к страховщикам пойдет, если что-то заподозрит, ты ж его знаешь. Это ж родному брату в душу плюнуть. Как я могу такую штуку с ним провернуть? Ведь нас с ним двое на всем белом свете — он да я...

Клуту изрыгает страшное ругательство, вскакивает, бросается в свой кабинет, и Джордж слышит, как он там все крушит. Немного погодя он идет к двери и дрожащим голосом говорит: «Ты меня о невозможном просишь...» Клуту, как тигр в клетке, вот-вот выскочит и разорвет его в клочья, но лишь приоткрывает дверь и спокойно произносит: «Раз уж о душе заговорили, твоя-то не больше мышинной будет, вот что я тебе скажу...» Но Джорджу все равно — с души камень как-никак. А капитан Гарри тут как тут... «Здорово, братец Джордж. Я припозднился чуток. Как насчет перекусить в „Чеширском“, а?..» — «Конечно, старина...» И отправляются на обед. Клуту же в тот день так ничегошеньки и не поел.

Какое-то время Джордж чувствует себя так, будто заново родился; но тут Стаффорд этот начинает крутиться поблизости. Первый раз Джордж подумал, что обознался. Но нет — только он за порог — снова видит, этот тип притулился на другой стороне улицы. Джордж нервничает, но ему нужно ехать по делам; и пока тот переходит дорогу, Джорджа уж и след простыл. Он уворачивается раз, другой, третий, но в конце концов тот припер его прямо у двери... «Что вам нужно?» — спрашивает он, пытаясь напустить на себя свирепый вид.

Видать, скандал таки грянул в том пансионе, и вдовушка эта, пылая ревностью, так на него взъелась, что грозилась в полицию заявить. Этого мистер Стаффорд не мог допустить; потому и слинял, что твой испуганный олень, и вот оказался, можно сказать, на улице. Клуты с таким зверским видом ходит, что и подойти к нему страшно; а Джордж вроде помягче будет. Полсоверена его бы выручили, ну или сколько не жалко... Не повезло мне, говорит он робко так, и вкрадчивость эта Джорджу горше самой крепкой ругани. Примите во внимание глубину моего разочарования, говорит...

Вместо того чтоб послать его ко всем чертям, Джордж теряет голову... Знать вас не знаю. «Что вам угодно?» — кричит, а сам опрометью к Клуты... Вот, полюбуйся, что из этого вышло, говорит, задыхаясь; теперь мы во власти этого проходимца... Клуты пытается убедить его, что человек безобидный; но Джорджу кажется, что при желании ославить их он сможет. А жить в постоянном страхе ему нелегко. Клуты бы расхотелся, если б все это ему не обрыдло. Но тут его осенило, и он по-другому запел... «Весьма вероятно! Пойду вниз и для начала спроважу его восвоися...» Возвращается... «Ушел. Но ты, может, и прав. Крепко его прижало, такие на все готовы. Лучше всего будет отослать его на время за границу».

«Работа нужна бедолаге этому, вот что. На сей раз я прошу совсем немного: держи язык за зубами; а я постараюсь уговорить твоего брата взять его старшим помощником». Джордж при этих словах роняет голову и руки на стол, так что Клуты даже жалко его стало. Но в общем-то Клуты скорее рад, что удалось ему из Стаффорда эдакое пугало соорудить. В тот же день он покупает ему синий костюм и говорит, что теперь ему придется поработать. «Отправитесь в море на „Сагаморе“ помощником капитана». Мерзавцу это не особо понравилось, но под угрозой судебных разбирательств, без стола и крова, выбор у него невелик. Клуты приютил его на несколько дней... «Наша сделка все еще в силе, говорит. Корабль направляется в Порт-Элизабет, а на рейде там стоять ой как небезопасно. Случись при сильном северо-восточном ветре судну сорваться с якоря и сесть на мель, как это часто бывает, пятьсот фунтов в кармане

и быстрое возвращение домой вам гарантированы. Мы же договорились, верно?»

Наш мистер Стаффорд слушает все это, потупив взор... «Я моряк опытный», — говорит, с таким плутоватым видом, скромный, мол. «У помощника капитана, масса возможностей подправить цепи или якоря нужным образом, спору нет...» Тут Клутти хлопнул его по спине: «Справишься, мой благородный мореход. Иди и побеждай...»

Гарри, конечно, огорошил брата, когда сообщил, что подвернулся случай услужить компаньону. Сам весь довольный такой. Уж так ему компаньон симпатичен. Надо взять приятеля старшим помощником. Жизнь у него не сахар, провел год на суше, за умирающей женой ходил, что ли. Сейчас на мели... Джордж упирается: о парне ничего не известно. Заходил один раз. На вид так себе... А капитан Гарри, как всегда, добродушен: «Так-то оно так, но надо ж дать шанс бедолаге», — говорит.

В общем, корабль в порту, мистер Стаффорд заступает на службу. И похоже, ему удалось-таки наколдовать что-то с одной из якорных цепей — подготовил, значит, судно к Порт-Элизабет. Такелажники выложили цепи на палубу, прочистили ящики. Новоиспеченный старпом провожает их взглядом на берег — час-то обеденный — и отсылает вахтенного за бутылочкой пива. Затем принимается за работу: обстругивает штифт скобы на глубину в сорок пять саженей и обстукивает его пару раз молотком, чтоб не так плотно сидел, — ясное дело, цепь после такого надежной уже не назовешь. Такелажники возвращаются — ну ты представляешь, что это за народ: лодырь да бездельник — им праздник и в понедельник. Ну цепь в ящик так и отправилась — форман их на эти скобы даже не взглянул. Ему-то что? Он в море не собирался. А через два дня корабль уходит в плаванье...

Тут я, потеряв бдительность, снова выдохнул: «Понятно...» — чем снова вызвал раздражение и получил в ответ: «Ничего тебе не понятно». Но, сделав передышку, он вспомнил про пиво, отхлебнул с полкружки, вытер усы и хмуро продолжил: — Если ты думаешь, что дальше пойдет морская романтика, то уж извини. Коли собирался додумывать что-то из головы — вот

тут и валяй... Небось, знаешь, каково это, десять дней болтаться по Ла-Маншу в непогоду. Я-то не в курсе. В общем, прошло полных десять дней, и как-то в понедельник Клутти является в контору чуть позже обычного, слышит — женский голос в кабинете Джорджа, заглядывает. Газеты на столе, на полу; жена капитана Гарри сидит зареванная, и сумка рядом на стуле... Глянь-ка, говорит Джордж, а сам волнуется и в газету тычет. У Клутти сердце аж екнуло. Ха! Крушение в Веспортском заливе. „Сагамор“ сорвался с якоря рано утром в воскресенье, так что у газетчиков было время настроичить колонок. Спасательная шлюпка вышла дважды. Капитан и экипаж остаются на корабле. Буксиры спешат на помощь. Если погода наладится, это хорошо известное судно еще можно будет спасти... Ты-то знаешь, как газетчики умеют все преподнести... Миссис Гарри едет на Кэннон-Стрит — к поезду. Час до выхода».

Клутти отводит Джорджа в сторону и шепчет: «Корабль еще можно спасти! Черт! Не бывает этому, слышишь?» Джордж только смотрит на него ошарашенно, а миссис Гарри продолжает тихонько всхлипывать... «Надо было мне с ним пойти. Но я еду, еду к нему сейчас...» — «Едем все вместе», — вдруг выпалил Клутти. И пулей на улицу, заказывает даме чашку горячего бульона в лавке напротив, покупает ей плед, все продумал. В поезде укутывает ее, болтает без умолку всю дорогу, лишь бы ее подбодрить, так сказать. А на самом деле — потому что не сидится ему, его от радости аж распирает. И дельце разом провернули, и взятки гладки. Свершилось. На самом деле. Ему аж голову кружит, как подумает. Вот так удача! Даже не по себе как-то. Ему орать и петь охота. Джордж Данбар всю дорогу сидит в своем углу, как побитая собака. Даже бедной миссис Гарри захотелось как-то привести его в чувство, ну а заодно и себя взбодрить разговорами о том, какой ее Гарри благоразумный. Не станет он рисковать командой или собой без надобности. Ну и все в таком духе.

Прибывают они на станцию Вестпорт и слышат: спасательная шлюпка снова вышла к кораблю, подобрала второго помощника капитана, пострадавшего и нескольких моряков. Капитан и остальные члены команды, человек пятнадцать

в общей сложности, остаются на борту. Буксиры ожидаются с минуты на минуту.

Заселяют миссис Гарри в гостиницу, аккуратно напротив скал; она пулей вверх, к окну, и, только увидев крушение, разревелась, что есть мочи. Не уймется, пока не взойдет на борт к своему Гарри. Клути как только ее не успокаивал... Ну же, поешьте немного, и пойдем разузнаем, что да как.

Он вывел Джорджа из комнаты: понимаешь, нельзя ей на борт, а вот я должен туда попасть. Прослежу, чтобы он уж слишком на судне не задерживался. Давай-ка найдем, кто тут главный на спасательной шлюпке... Джордж плетется за ним, а самого то и дело дрожь пробирает. Волны омывают старый причал; не слишком ветрено, над заливом штормовое, мрачное небо. Во всем мире один только буксир устремляется в открытое море, каждую минуту то вздымаясь на волнах, то пропадая из виду, размеренно, как исправный часовой механизм.

Они идут к старшине шлюпки, и тот говорит: да! Они вот-вот выйдут. Нет, команде пока ничего не угрожает. А вот у корабля шансов мало. Однако если ветер снова не разыграется и море будет спокойно, то можно будет что-то предпринять. После уговоров он согласился взять Клути на борт; вроде как срочное сообщение от владельцев капитану.

Всякий раз, когда Клути смотрит на небо, ему становится легче — такое оно грозное. Джордж Данбар бродит за ним весь бледный и молчит. Клути выводит его на пару рюмок, и мало-помалу тот начинает приходить в себя... «Так-то лучше, — говорит Клути, — а то прям ходячий мертвец, черт меня дери. Тебе бы ликовать да шляпу подбрасывать. Мне самому хочется выйти на улицу и веселиться. Брат твой в безопасности, с судном покончено, и мы, наконец, заживем».

«Уверен, что покончено? — спрашивает Джордж. — Если судно спасут, это будет катастрофа после всех мучений, которые я испытал с тех пор, как мы впервые заговорили о этом, и — и — и снова это искушение... Мы же здесь ни при чем, или как?»

«Ни при чем, конечно, — успокаивает Клути. — Твой же брат сам командовал. Это само провидение!» Джордж только охнул... «Ну хорошо, будем считать, это дело рук самого

дьявола, — говорит Клутти бодро. — Ради бога! Ты в этом замешан не больше, чем нерожденный младенец, старый ты тюфяк...» Клутти так распирало, что он уже почти полюбил Джорджа Данбара. Ну, да. Так и было. Не то чтобы он уважал своего компаньона. Но проникся к нему.

Они возвращаются чуть не вприпрыжку в гостиницу и видят: жена капитана стоит у распахнутого окна, смотрит на судно, будто готова выпорхнуть и перелететь к нему через всю гавань... «Послушайте, миссис Данбар, — кричит Клутти, — вам туда нельзя, зато я отправляюсь. Что-нибудь передать? Не стесняйтесь. Я все слово в слово донесу. А если захотите ему поцелуй передать, так я готов, доставлю в лучшем виде, черт меня дер!».

Его болтовня рассмешила миссис Гарри... «Ах, любезный мистер Клутти, вы человек спокойный, рассудительный. Образумьте там его. Он бывает неуступчив, а ведь этот корабль ему так дорог. Передайте ему, что я здесь — и не свожу с него глаз...» — «Можете на меня положиться, миссис Данбар. Только вот окошко прикройте, вот и умница. А то ведь наверняка простудитесь. И какая тогда капитану радость, если, покинув тонущий корабль, он вернется, а вы со своим кашлем и насморком не сможете даже сказать, как вы счастливы. И если вы найдете мне кусочек пластыря покрепче, приклеить дужки очков к ушам, то я сразу и пойду...»

Даже не знаю, как он до туда добрался. Но весь мокрый, растрепанный, аж дух от волнения перехватывает, он таки добрался. Судно накренилось, волны бьют через борт, но почти не раскачивают — так, нервишки пощекотать. Матросы сгрудились на носовой рубке — штормовки блестят, лица изможденные. Как! Мистер Клутти! Откуда, черт возьми?.. «Ваша жена тут, на берегу, глаз не сводит», — выпалил Клутти. Потом они еще перекинулись парой фраз, капитан Гарри под впечатлением, экий у брата компаньон отважный, и как мило с его стороны вот так к нему броситься. Рад, что есть с кем поговорить... Дело плохо, мистер Клутти. А Клутти прям возликовал, такое услышав. Капитан Гарри сделал все что мог, но когда попытался встать на якорь, цепь и порвалась. Потерять корабль — такое испытание.

Но придется смириться. Капитан то и дело вздыхает. Клути уже и не рад, что приплыл, он на этом тонущем корабле ни жив ни мертв. Они спрятались от ветра под шлюпкой, немного в стороне от остальных.

Спасательная шлюпка высадила Клути и уплыла. Должна была вернуться с ближайшим приливом, чтобы забрать команду, — если снять судно с мели возможности не представится. Сумерки сгущались; день-то зимний; небо черное; ветер поднялся. Капитан Гарри в унынии. На все воля Божья. Если суждено судну остаться на этих камнях — значит, так тому и быть. Человеку должно стойко принимать все, что Бог ему посылает... Вдруг голос у него задрожал, и он сжал Клути руку. Шепчет: «Не думал, что так трудно будет с ним расстаться...» Клути оглядывает команду — люди сбились, словно стадо овец, — и думает: «Нет, эти-то не останутся...» Тут вдруг корабль приподняло — и треснуло о камни. Вода поднимается. Все давай высматривать шлюпку. Кто-то разглядел ее вдалеке, а за ней два буксира. А буря снова разыгрывается, и всем уже ясно, что никакой буксир подойти не рискнет.

«Ну все, приплыли», — тихо-тихо говорит капитан Гарри. Клути думает, что за всю жизнь, кажется, ни разу не вымерзал, как сейчас... «А мне кажется, — бурчит капитан Гарри, — что жизнь для меня сейчас всякий толк потеряла...» — «Ваша жена на берегу сейчас, смотрит на нас», — говорит Клути... «Да. Да. Бедная моя старушка смотрит на то, что осталось от нашего корабля. Это же дом наш».

Клути-то главное, что судну кранты, остальное побоку, только бы еще оказаться подальше от этого места. Чуть судно шелохнется, у него дух в глотке перехватывает. Ну и весело ему от страха тоже немного. Капитан его отводит в сторонку... Нам тут спасательной шлюпки ждать не меньше часа. Послушай, Клути, раз уж ты тут и такой прыткий, сделай для меня кое-что... Говорит, что в капитанской кабине на корме есть один такой ящичек с важными бумагами и шестьдесят соверенов в маленьком холщовом кошельке. Просит Клути за этим делом сходить. Он вниз не спускался с того момента, как наехали на скалы, думает, что все судно на щепки развалится, стоит ему

от него глаз оторвать. И команда вся перепугана — оставит он их, так те, стоит судно тряхнуть как следует, запаникуют, начнут спускать шлюпки, кто-то обязательно потонет. Если нужен свет, у меня на полке два-три коробка спичек, говорит капитан Гарри. Только руки свои мокрые вытри перед тем, как их выщупывать.

Клути от поручения не в восторге, но и праздновать труса тоже не хочется — пошел, короче. Вся палуба залита, от шагов аж брызги разлетаются; а тут еще и стемнело. Вдруг возле грот-мачты кто-то хватя его за руку. Стаффорд. А он и думать забыл о Стаффорде. Капитан Гарри говорил, что помощник, мол, не ахти, но не более того. Сперва Клути и не признал его в штормовке-то. Видит: лицо белое, глаза вытарачил... «Довольны, мистер Клути?» Клути подмывает посмеяться над этим нытиком, он отдергивает руку. Но парень тащится вслед за ним на корму, потом увязывается вниз в кают-компанию тонущего судна. И вот они, два сапога пара, стоят, едва друг друга видят... «Уж не хочешь ли ты сказать, что это твоих рук дело?» — говорит Клути...

Обоих бьет дрожь, оба немного не в себе: жутко на борту тонущего судна. Оно ухаает и кренится на волнах, качает до тошноты. Клути снова смеется над Стаффордом: такое-то ничтожество — и решилось на столь отчаянный поступок?! А тот вдруг кричит: «С чего это ты решил, что эдак вот со мной можно?»

Волна ударяет в корму, корабль трянуло, все вокруг стонет, со всех сторон море грохочет, Клути еще больше растерялся. И тут Стаффорд как заорет, словно обезумевший: «Так ты не веришь мне! Пойди взгляни на цепь! Порвалась? А? Пойди сам посмотри, где она там порвалась. Пойди — найди. Не найдешь! Все звенья целы. Моя, значит, тысяча. Ни пенсом меньше. В двадцать четыре часа, как на берег сойдем. Я, мистер Клути, ждать не стану, пока потонет. Пойду к страховщикам, даже если придется босиком на своих двоих до Лондона. Цепь! Пойдите взгляните на эту цепь, скажу я им. Я поработал с ней по поручению судовладельцев, мошенник по имени Клути меня подговорил!»

Клути в деталях не разбирается. Видит только, что парень не шутит и точно дурное задумал. А тогда беды не

миновать... Ты меня пугать собрался? Ты! Жалкое ничтожество! Но Стаффорд перед ним не пасует — оба за стол схватились: «Да что мне тебя пугать — бродягу эдакого; а вот того, в черном плаще, можно и припугнуть...»

Это он про Джорджа Данбара, конечно. От этой мысли в голове у Клути зашумело. Что Стаффорд может и правда все-рез навредить, он не верит, но и Джоржа он не первый день знает — выдаст с потрохами; испортит все, а ведь он в это дело душу вложил. Сам ничего не говорит, все слушает, как тот, напрыгавшись весь от страха и возбуждения, дышит, тяжело, как собака, и вдруг как зарычит: «Тыщу на бочку! В двадцать четыре часа как на берег сойдем, послезавтра, мистер Клути! Я все сказал!» — «Тыщу фунтов, к послезавтрему, — повторяет Клути. — Да ради бога! А сегодня вот тебе, пес ты шелудивый...» И врзал ему со всего маху, взбесился-то, видать, не на шутку. Стаффорд отлетает, крутанувшись, вдоль переборки, а Клути, глядя на это, делает шаг и отвешивает ему второй, куда-то в область челюсти. Мужичонка, шатаясь, пятится прямо в открытую дверь капитанской каюты. Клути за ним и, услышав, как тот рухнул и покатился по полу, захлопывает дверь и поворачивает ключ... «Так-то! — говорит сам себе, — отсюда сложнее пакостить будет».

«Боже милостивый», — прошептал я.

Старик вышел из состояния монументальной неподвижности, повернул голову с лихо нахлобученной шляпой и взглянул на меня стариковскими потухшими глазами.

«Он его запер там, — мрачно проговорил он и уставил-ся обратно в стену. — Клути не позволил бы никому, и уж тем паче такой гниде, как Стаффорд, встать на пути его большой мечты — выбиться им с Джорджем в люди, а заодно и капитана Гарри вывести. И последствия его особо не беспокоили. Те, что промышляют патентованными пилюлями — что хотят, то и воротят. Им думается, все им с рук сойдет... Он постоял, послушал немного. Слышит — глухой удар в дверь капитанской каюты, сдавленные вопли. Тут старину „Сагамора“ подбросила волна, и сквозь ужасный грохот как будто донеслось его имя. От такого удара и жуткого грохота ему пришлось из кают-компания

убраться поскорее. На корме очухался немного. Как сердце екнуло-то — ночь страшная, хоть глаз выколи. Того и гляди сам ко дну пойдешь. Приложил ухо к крышке сходного люка. Сквозь ветер и шторм до него доносится, как Стаффорд колотится в дверь и чертыхается. Он вслушивается и говорит себе: „Нет. Нет ему теперь веры...“»

Когда он вернулся к капитану Гарри на рубку, тот спросил про свои вещи. Клути говорит, что очень сожалеет, но с дверью что-то не так — не открывается. «По правде говоря, не очень-то хотелось задерживаться в трюме, — говорит, — трещало так, будто корабль вот-вот на части развалится». Капитан Гарри думает: мандраж; с дверью-то все в порядке. А вслух говорит: «Спасибо, ничего-ничего...» Вся команда высматривает спасательную шлюпку. Тут уж каждый сам за себя. Клути думает, хватятся ли Стаффорда? Но дело в том, что мистер Стаффорд в море никак не отличился, так что после кораблекрушения никто о нем и не вспомнил. Где он, что он — никого не волновало. К тому же не видно ни зги, по головам не пересчитаешь. Приближался свет фонаря — это подходил буксир со спасательной шлюпкой, и капитан Гарри спрашивает, все ли в сборе? Кто-то ответил: «Все здесь, сэр!» — «Тогда готовься покинуть корабль, — говорит, — а вы двое поможете сперва джентльмену спуститься...» — «Есть, есть, сэр...» Клути хотел было просить капитана позволить ему сойти последним, но тут со шлюпки бросили абордажный крюк, крюк зацепился за фок-мачту, матросы подхватили Клути, примерились и сбросили в шлюпку — и всего делов.

Он совсем выбился из сил — с непривычки-то. Сидит на корме шлюпки, глаза закрыты, чтоб не видеть бурную пенящуюся воду вокруг. Сквозь шум ветра слышит голос капитана Гарри — тот просит старшину подождать минутку, и еще что-то неразборчивое; старшина кричит в ответ: «Только недолго, сэр...» — «Что там такое?» — спрашивает Клути. Ему аж дурно стало. Какие-то корабельные бумаги, отвечает старшина. Он нервничает. Неподходящее время болтаться тут, понимаешь. Они немного отводят шлюпку и ждут. Волны перехлестывают. Клути почти без чувств. Весь онемел. Вдруг вопль: «Вот он!»

На палубе кто-то есть — они подтягивают шлюпку кошкой и без осложнений берут его на борт. Слышатся еще какие-то крики, но все перекрывает шум моря. Клути чудится, что где-то совсем рядом раздается голзос Стаффорда. Ветер ненадолго стихает, и голос Стаффорда тараторит старшине: он был, конечно, рядом с капитаном, все время рядом с ним, пока тот не заявил в последний момент, что должен забрать какие-то бумаги на корме; настаивал, что сам сходит; а ему сказал садиться в шлюпку... Он хотел подождать капитана, но тут море поуспокоилось, и он решил воспользоваться этой возможностью.

Клути раскрыл глаза. И правда, рядом с ним в переполненной шлюпке этот Стаффорд. Старшина нависает над Клути, кричит ему: «Сэр, вы слышали, что сказал помощник капитана?» А у Клути лицо словно заштукатурено, губы и все вообще, говорить тяжело: «Так точно, слышал». Старшина помолчал немного. «Не нравится мне это», — говорит... Повернулся к помощнику, сетует, что не попытался пробежаться по палубе, поторопить капитана, когда волны притихли. Стаффорд и тут нашелся: он-то об этом подумал, но только побоялся разминуться с ним в темноте. «Ведь, — говорит, — капитан мог бы выбрать сразу, решив, что я уже в шлюпке, и вы бы, может, отошли без меня...» — «Так-то это так», — соглашается старшина. Минута где-то прошла, старшина пробухтел: «Не дело это». Вдруг Стаффорд лживеньким таким голосом начал: «Я там неподалеку был, когда капитан говорил Клути, что не знает, как вообще ему храбрости хватит это старое судно оставить; говорил ведь?..» А Клути чувствует, как его руку тихонько сжимают в темноте... «Говорил? Мистер Клути, мы же стояли с ним вместе как раз до вашего появления?» И тут старшина прокричал: «Я на борт, надо осмотреть...» Клути высвободил руку: «Я с вами...»

Взбираются они на борт, и старшина говорит Клути, чтоб тот шел по одному борту, а сам он по другому пойдет — чтоб капитана не проглядеть... «И руками там тоже пошарьте, — говорит, — он, может, упал и лежит без чувств где-нибудь на палубе...» Когда Клути добрался до кают-компании на корме, старшина уже там, вглядывается, принюхивается. «Чувствую, дымом оттуда тянет, — говорит. И как закричит: — Вы

здесь, сэр?» — «Тут криком делу не поможешь», — говорит Клути, а у самого сердце в пятки уходит... Спускаются вниз. Темно, хоть глаз выколи. Крен такой, что старшина по дороге в каюту капитана поскользнулся — и кубарем вниз. Клути слышит, как тот вскрикнул, будто расшибся сильно. Что случилось, спрашивает. А старшина тихо так отвечает, что упал он на капитана, а лежит тот без чувств. Клути, ни слова не говоря, давай шарить по полкам — спички ищет. Нашел, чиркнул и видит, как старшина в своем пробковом жилете склонился над капитаном Гарри... «Кровь», — говорит старшина, и тут спичка догорает.

Погодите-ка, говорит Клути, я фитильки из бумаги скручу... Он нащупывает корешки книг на полках. И вот он стоит и поджигает один фитилек от другого, а старшина меж тем переворачивает бедного капитана Гарри. «Мертв, — говорит. — Застрелился. Вот револьвер...» Протягивает Клути, который осматривает его, прежде чем положить в карман, и замечает табличку на рукоятке «Г. Данбар»... «Его собственный», — бормочет. «А чей же еще?!» — рявкнул старшина. «Глядите, он и штормовку свою длинную в каюте оставил, прежде чем войти. Но что это за груда сожженных бумаг? Зачем ему понадобилось жечь корабельные документы?» Клути все это видит, ящички выдвинуты, и просит старшину хорошенько все осмотреть... «Нет ничего, — говорит тот. — Все вычистил. Кажется, вытащил все, что мог, и сжег. Спятил, вот что. С ума сошел. А теперь и в живых его нет. Вам придется сообщить жене...»

«Да я будто сам рехнулся», — выпалил Клути, и старшина взмолился, чтобы он, ради Христа, собрался, а сам вытаскивает его из каюты. Им пришлось оставить тело, и, как оказалось, они как раз успели до яростного шквала. Клути загасили в спасательную шлюпку, старшина следом запрыгивает. «Поднять якоря! — кричит. — Капитан застрелился...»

Клути сам как мертвый — ничего не чувствует. Стаффорд ушипнул его раз, другой, но тот и виду не показал. Почти весь Вестпорт собрался на старом пирсе посмотреть на спасенных, и когда шлюпка причалила, их встретил радостный гвалт, но старшина крикнул что-то, и голоса стихли, все примолкли. Как только Клути встал на твердую землю, он вновь стал самим

собой. Старшина пожал ему руку: «Бедная женщина, ох бедняжка, может, сами ей скажете?»

«Где помощник?» — спрашивает Клути. Он последний, кто разговаривал с капитаном... Кто-то бежит вперед — команду в миссию повели, где их ждали тепло и постель, — и вот кто-то бежит вперед по причалу и нагоняет Стаффорда... Вот он! Вас спрашивает агент судовладельца... Клути берет того под руку и уходит в сторону рыболовной гавани... «Полагаю, я вас верно понял. Вы хотите, чтоб я о вас позаботился», — говорит. А тот весь обмяк, едва на ногах держится, но мерзко так осклабился: «Это в ваших интересах, — бормочет, — но без фокусов, мистер Клути, без фокусов — мы ведь уже на берегу».

«Тут в пятидесяти ярдах полицейский участок», — говорит Клути. Он заворачивает в трактир, вталкивает Стаффорда внутрь. Из-за стойки выбегает хозяин... «Это помощник капитана севшего на мель судна, — объясняет Клути. — Прошу вас позаботиться о нем сегодня». — «А что с ним?» — спрашивает хозяин. Стаффорд стоит, прислонившись к стене, выглядит погано. «Ничего особенного, — отвечает Клути, — вымотался, конечно... Все расходы беру на себя, я агент судовладельца. Загляну проведать его через часок-другой».

Клути идет в гостиницу. Новости сюда уже добрались, и у двери его поджидает Джордж, белый как простыня. Клути молча кивнул ему, и они зашли. Жена Гарри стояла на лестнице и, как увидела, что зашли только эти двое, всплеснула руками и метнулась в свой номер. Сказать ей никто не отважился, но мужа с ними не было, и она, конечно, все поняла. Клути слышит жуткий крик... «Пойди к ней», — говорит он Джорджу.

Оставшись один в своей гостиной, Клути наливает бренди и думает, как быть. Тут приходит Джордж... «С ней хозяйка», — говорит. И давай по комнате круги наворачивать, руками машет, бормочет что-то бессвязное, а лицо у самого каменное, таким Клути его и не видал никогда прежде... «Мы должны, должны. Погиб — единственный брат. Что ж, отмучился. Но мыто живы», — говорит и сверкает на Клути сухими глазами горячечными. «Надеюсь, ты не забудешь отбить с утра телеграмму моему приятелю, что мы прибудем по некоторому...» Это

он про того, с патентованными пилюлями. «Смерть смертью, а дела надо делать, — не умолкает Джордж. — Да и руки у меня чистые — посмотри». — И протягивает Клути ладошки. Спятил, думает Клути. Хватает его за плечи, и давай трясти: «Черт тебя подери! Да если б ты умел поговорить со своим братом, если б у тебя духу хватило хоть раз с ним поговорить, нравственное ты животное, он бы жив сейчас был!» — кричит.

Джордж тарашится на него и вдруг как разревется. Падает на кушетку, лицо в подушку, и рыдает, как ребенок... Так-то лучше, думает Клути, и оставляет его, а хозяйину говорит, что, мол, пойдет он, дела у него кое-какие вечером. Супруга хозяйская, сама вся зареванная, ловит его на ступенях: «О, сэр, бедная леди сойдет с ума...» Клути отбрехался кое-как, а сам думает: «Ну уж нет! Она справится. Если кто тут и может с ума сойти, так это я. Не от горя люди с ума сходят, а от треволнений». Тут-то Клути как раз и ошибся. Миссис Гарри здорово подкосило, что муж свел счеты с жизнью, считай, прямо у нее на глазах. Так эти мысли ее замучили, что через год пришлось несчастную свезти в желтый дом. Тихая была, тише воды — незлобивая такая хандра. Довольно долго прожила еще, кстати.

И вот шлепает Клути по улице, дождь льет, ветер завывает. Вокруг — ни души, все уже по домам угомонились. Трактирщик выбегает встретить его в передней и говорит: «Не сюда. Он в другой комнате. Никак нам его не уложить было. Он там, в маленькой гостиной. Мы ему огонь зажгли...» — «И налить не забыли, — говорит Клути. — Я за выпивку платить не обещался. Много уже?» — «Два стакана, — отвечает, — но это ничего, мне для моряка после кораблекрушения не жалко...» Клути на это только ухмыляется: «Да ладно тебе. Он сам заплатил». Трактирщик только глазами моргает. «Выдал он тебе золотой, а? Признавайся!» — «Ну и что такого? — взвизгнул тот. — Тебе-то что? Всю сдачу получил он со своего соверена, как положено».

«То-то же», — говорит Клути. Проходит в гостиную и видит нашего Стаффорда: волосы дыбом, рубашка и штаны хозяйские, босые ноги в шлепанцах, сидит у огня. Как увидел Клути, так глаза и опустил.

«Вы думали, что мы уж больше никогда не встретимся, мистер Клути», — говорит Стаффорд весь из себя такой неприязнительный... Этот тип, когда ему наливали чего его душевнее угодно — пьяницей-то он не был, — надевал на себя личину такого скромника... «Но капитан покончил с собой, — говорит, — а я сижу здесь и думаю обо всем этом. Чего только не произошло. Кораблекрушение, подстроенное по предварительному сговору, покушение и, наконец, это самоубийство. Потому что если это не самоубийство, мистер Клути, тогда мне, значит, известна жертва самого жестокого, самого хладнокровного покушения; этому человеку пришлось пережить такое, что сравнимо с тысячью смертей. И тогда сумма в тысячу фунтов, о которой мы когда-то толковали, выглядит весьма незначительной. А ведь самоубийство-то в самый раз пришлось...»

И он смотрит на Клути, а тот смеется и подходит к столу все ближе.

«Ты убил Гарри Данбара», — шепчет он... Стаффорд смотрит на него и скалит зубы: «Да, убил, конечно! Промаялся в этой каюте полтора часа, как мышь в мышеловке... Ведь я бы так и пошел ко дну вместе с этой развалюхой. Тут уж любые средства хороши, лишь бы выжить. Конечно, я его застрелил! Я ведь думал, что это ты, гнусный убийца, вернулся, чтобы прикончить меня. Он распахивает дверь и идет прямо на меня, у меня в руках револьвер, я и выстрелил. Я обезумел. С ума сошли и от меньших потрясений».

Клути смотрит на него не моргая. «Ага! Такая твоя версия...» И он в ярости ударяет кулаком по столу. «А вот тебе моя: Какой сговор? Как докажешь? Ты пришел туда воровать. Ты мародерствовал в его каюте; капитан застучал тебя, когда ты шарил в ящике, и ты застрелил его. Ты убил его ради денег! Его брат и вся контора знают, что он взял с собой в море шестьдесят фунтов. Шестьдесят фунтов золотом в холщовом мешочке. Он сказал мне, где они лежат. Старшина шлюпки под клятвой засвидетельствует, что ящики были пусты. А ты — полчаса не прошло, как сошел на берег, — разменял соверен, чтобы заплатить за выпивку; ну надо быть таким идиотом! Слушай сюда. Если послезавтра ты не явишься в контору поверенного Джорджа

Данбара, чтобы дать правильные показания об обстоятельствах гибели судна, я заявлю на тебя в полицию. Послезавтра...»

И что ты думаешь? Этот Стаффорд давай волосы на себе рвать. Прямо так. Обеими руками дерет и не пискнет. Клути так стол толкнул, что тому пришлось за каминную решетку хвататься, чтобы со стула не упасть прямо в огонь.

«Ты меня знаешь, — говорит Клути свирепо так, — я до точки дошел, и мне уже плевать, что со мной дальше будет. Я тебя ни за грош порешу».

Тут шавка под стол и спряталась. Клути вышел и как только повернул на улицу — ну ты знаешь, ряд маленьких рыбацких домишек, темно, да и льет как из ведра, — Стаффорд распахнул окно гостиной и давай голосить: «Гнусный ты янки — однажды я отплачу тебе сполна!»

Клути идет себе дальше и только горько так усмехается, потому что тот и не знает, что уже отплатил ему сполна.

Пока мой вальяжный грубиян допивал свое пиво, его запавшие черные глаза глядели на меня поверх кружки.

«Вот тут я не до конца понимаю, — признался я, — чем отплатил?»

Он немного выправился и объяснил, что со смертью капитана Гарри его половина страховки отошла его вдове, а ее поручители, разумеется, распорядились деньгами по-своему — купили облигаций. На жизнь ей хватало. Половины Джорджа оказалось недостаточно, чтобы раскрутить лекарство как следует; в дело вошли пайщики побогаче, а этим двум пришлось продать свои доли, считай, за бесценок.

«Интересно было бы узнать, что послужило движущей силой всей этой трагедии? Вам известно, что это за патентованное лекарство?»

Услышав название, я присвистнул. Ни много ни мало — Пилюли Паркера от поясничной боли! Это ж миллионное дело! Вы наверняка о них слышали. Да они по всему миру известны. Каждый второй житель нашей планеты хоть раз да принимал эти таблетки.

«Вот это да! — воскликнул я. — Какое состояние из рук ушло!»

«Да, — буркнул он, — и все за одну револьверную пулю».

Еще он рассказал, что Клути в итоге вернулся в Штаты, пассажиром на грузовом судне из Альберт-дока. Когда вечером накануне отплытия Клути бродил по набережным, он встретил его и привел к себе домой пропустить стаканчик. «Забавный мужичонка этот Клути. Всю ночь просидели, грог пили, до самого его отправления».

Тогда-то Клути и поведал ему эту историю с той совершенно бессознательной прямоотой человека, промышляющего патентованными лекарствами, а значит — равнодушного к моральным принципам. Он не озлобился, просто устал. Напоследок Клути сказал, что «хватил родины сполна». Джордж Данбар в конце концов тоже стал против него. Ясно, что никаких иллюзий у Клути уже не осталось.

Что до Стаффорда, то он так и помер бродягой в одном из приютов Ист-Энда. Уже стоя одной ногой в могиле, он потребовал себе священника: совесть его мучила за невинноубиенного.

«Хотелось ему, чтоб кто-то его успокоил, сказал, что ничего страшного, — презрительно прорычал старик мой неотесанный. — Он сказал священнику, что, мол, знает того Клути, что пытался его убить, и священник — его паства в основном из докеров и состояла — однажды мне об этом рассказал. Оказавшись в западне, этот мерзавец стал молить о прощении... Я, мол, исправлюсь, буду хорошим и все такое... Затем слетел с катушек, вопил, бросался на стены, ну это ты, поди, можешь себе представить... пока не вымотался. Сдался. Упал на пол, закрыл глаза, осталось только молиться. Так он рассказывал. Пытался вспомнить какую-нибудь молитву о быстрой кончине — настолько голову от страха потерял. Говорит, что был бы у него нож или еще что, перерезал бы себе глотку — и дело с концом. А потом — нет, думает! Лучше попытаться замок из двери вырезать. Но ножа в кармане не оказалось... Он опять давай рыдать и молить Бога, чтобы тот послал ему какое-нибудь орудие, как вдруг осенило: топор! В каюте капитана в одном из ящиков обычно держат запасной топорик... Он аж подскочил... Темно, хоть глаз выколи. Стал обшаривать ящики в поисках спичек, а нашел револьвер капитана Гарри. Заряженный к тому же.

Замер весь. Мог бы разбабахать дверь в щепки, а? Спасен! Провидение господне! Спички тоже нашлись. И он думает: а не осмотреться ли мне тут как следует?»

Чиркнул спичкой, глядит — а в глубине ящика холщовый мешочек припрятан. Сразу понял, что за мешочек, и выстрелю его в карман. Ага, говорит, тут побольше света понадобится. Швыряет стопку бумаги на пол, поджигает, и давай шарить, искать чего поценнее. Представляешь? Он этому истэндскому пастору сказал, что это, мол, дьявол его искушал. То у него провидение господне, то проделки дьявола. То так, то этак...

Все они, мерзавцы изворотливые, такие песни поют. Он так увлекся с этими ящиками, что услышал уже только окрик — святые небеса! Поднимает глаза и видит, в открытой двери (Клуты-то в замке ключ оставил) — капитан Гарри, нависает над ним в ярости, в свете полыхающих бумаг. У него аж глаза на лоб полезли. «Воровать?! — гремит капитан. — Моряк! Офицер! Не допущу! Такого негодяя следовало бы оставить на тонущем судне!»

Стаффорд на смертном одре говорил священнику, что, услышав эти слова, он снова спятил. Вырвал руку с револьвером из ящика и выстрелил не целясь. Капитан Гарри рухнул на пол, поверх горящих бумаг, пламя под ним стихло. Вокруг темнота. Ни звука. Он прислушался, бросил револьвер и выкарабкался на палубу, как угорелый.

Старик грохнул по столу внушительным кулаком.

«Больше всего меня бесит, что эти лодочники заливают про самоубийство капитана. Чушь! Капитан Гарри готов был встретить Создателя в любой момент, что на том свете, что на этом. Он не из тех, кто пасует перед жизнью. Не такой он был человек! Достойнейший человек до мозга костей. Он первым дал мне работу в порту через три дня после моей женитьбы».

Поскольку ничего, кроме доброго имени капитана Гарри, которого следовало избавить от обвинений в самоубийстве, его не заботило, я не стал рассыпаться перед ним в благодарностях за поведенную мне историю. В любом случае тут и благодарить-то особо не за что.

Подумать только, какие ужасы происходят у нас в старом добром Ла-Манше, под носом, так сказать, у роскошных лайнеров, следующих из Швейцарии в Монте-Карло. Такая история была бы более уместна где-нибудь в южных морях. Но пытаться состряпать из нее что-то более удобоваримое для читателей наших журналов — дело слишком хлопотное. Поэтому передаю ее в сыром, так сказать, виде, какой услышал сам, — лишенной разве что мощного впечатления, производимого самим рассказчиком — самым вальяжным старым грубияном из всех, кто когда-либо выбирал для себя лишенную всякой романтики стезю лондонского портового грузчика.

Октябрь, 1910

Всё из-за долларов

Глава I

Мы бродили вдоль берега — так проводят время скучающие в порту моряки. Когда мы проходили через широкую площадь перед зданием Управления огромного Восточного порта, со стороны торговых домов, выходящих на набережную, появился человек. Он выделялся среди белых холщовых роб: на нем был мундир и брюки светло-серой фланели. Он шел по направлению к пирсу.

У меня было время разглядеть его поподробнее. Полный, но не корпулентный. Лицо круглое и гладкое, кожа очень светлая. Когда он подошел ближе, я рассмотрел усики, едва видневшиеся из-за их седины. Для грузного человека у него было довольно выдающийся подбородок. Проходя мимо нас, он кивнул моему приятелю и улыбнулся.

За плечами Холлиса — так звали моего приятеля — было множество приключений и странных знакомств в этой части (более или менее) великолепного Востока. «Вот идет хороший человек, — сказал он, — и я не говорю о его уме или профессионализме. Он просто по-настоящему хороший человек».

Я тут же обернулся посмотреть на это чудо. У «по-настоящему хорошего человека» была очень широкая спина. Я увидел, как он подал знак сампану^{*} подплыть поближе, запрыгнул в него и направился к пароходам, стоящим на якоре недалеко от берега.

— Он ведь моряк? — спросил я.

— Да. Капитан парохода «Сисси-Глазго», вон того темно-зеленого, что побольше. Он всю жизнь ходит на «Сисси-Глазго»,

* Распространенная в Юго-Восточной Азии плоскодонная лодка.

судно меняется — название остается. Первое было вполуполовину меньше нынешнего. Мы шутили, что бедняге Дэвидсону оно на размерчик мало. Он и тогда уже был масштабный. Мол, «Сисси» так плотно на нем сидит, что того и гляди он натрет себе плечи и локти. На наши подтрунивания Дэвидсон отвечал спокойной улыбкой. И не мудрено: на этой посудине он делал приличные деньги. Она принадлежала пузатому китайцу, похожему на мандарина из детской книжки, — в очочках, с обвисшими усами и достоинством настоящего жителя Поднебесной.

Лучшее в работодателях-китайцах — это их врожденное благородство. Однажды убедившись в вашей честности, они готовы облечь вас безграничным доверием. Вы уже просто не можете их подвести. А человека они распознают сразу. Китаец Дэвидсона, основываясь на известной только ему теории, первым понял, чего стоит его капитан. Однажды в своей конторе в присутствии нескольких белых он заявил: «Капитан Дэвидсон — хороший человек». И все. С тех пор кто кому служит — Дэвидсон китайцу, или китаец Дэвидсону, — было уже не различить. А незадолго до смерти китаец заказал в Глазго новую «Сисси». Для Дэвидсона.

Мы зашли в тень Управления и облокотились на парапет причала.

— И все только чтобы утешить бедного Дэвидсона, — продолжал Холлис. — Можете ли вы представить более трогательный и простодушный сюжет: старый мандарин, который тратит несколько тысяч фунтов на утешение своего белого друга? И тем не менее — так и было. Сыновья старого китайца унаследовали судно и Дэвидсона в придачу. Он так им и командует и с его жалованием и торговыми привилегиями зарабатывает очень хорошо. Все идет по-прежнему, Дэвидсон даже улыбается, вы видели? Разве только улыбка не та, что раньше.

— Скажите, Холлис, — спросил я, — что же в нем такого хорошего?

— Есть люди, которые рождаются хорошими, как другие рождаются остроумными. Это у него в крови. Нет на свете души более бесхитростной, тонкой, в такой, э-э-э, просторной оболочке. Как мы смеялись над его щепетильностью! В общем, есть

в нем та самая человечность — а важнее добродетели я и представить себе не могу. А поскольку в нем она сочетается с ноткой особой утонченности, у меня есть основания называть его «по-настоящему хорошим человеком».

Я давно знал, что Холлис твердо верит в решающее значение подобных ноток.

— Понятно, — сказал я, потому что в располагающем к себе полном мужчине, который прошел мимо нас немногим ранее, я действительно увидел Дэвидсона, каким его описал Холлис. Но я запомнил, что в тот момент, когда он улыбнулся, по его спокойному лицу пробежала тень меланхолии — своего рода призрак душевных переживаний.

— Кто же так отплатил ему за доброту, что его улыбка померкла? — спросил я.

— О, это целая история, и я расскажу ее, если пожелаете. Черт возьми! История меж тем удивительная! Удивительная во всех отношениях. Но главным образом тем, как она подкосила бедного Дэвидсона, — и все из-за его добродетели. Он рассказал мне об этом буквально пару дней назад. Когда он увидел этих четырех, склонившихся над столом лоб ко лбу, ему это сразу не понравилось. Ой как не понравилось. Не подумайте, что Дэвидсон — мягкотелый дурачок. Эти четверо...

Но лучше начать сначала. Помните, когда старые доллары стали обменивать на монеты нового образца? Я как раз покинул эти края и надолго отправился домой. Все торговцы на островах хотели побыстрее отправить сюда свои старые доллары, и спрос на пустые ящики из-под французского вина — те, что на дюжину бутылок вермута или кларета, — был просто невероятным. Монеты раскладывали в мешочки — по сто долларов в каждый. Я не знаю, сколько таких мешков вмещал один ящик. Порядком. Кругленькие суммы переправлялись тогда по морю. Но давайте укроемся от солнца. Что толку жариться. Куда бы нам... Знаю! Пойдемте вон в ту столовую!

Туда мы и двинулись. Наше появление в длинной пустой комнате в столь ранний час вызвало заметный переполох среди китайской прислуги. Холлис уверенно проследовал к одному из столиков меж окон, завешанных ротанговыми шторами.

Переливающиеся блики играли на потолке, на выбеленных стенах, на множестве незанятых стульев и столиков, сливаясь в некое таинственное марево.

— Так. Мы закажем что-нибудь, когда будет готово, — сказал он, отсылая взволнованного официанта.

Он сжал тронутые сединой виски и наклонился над столом, приблизив ко мне свои темные пронизательные глаза.

— В то время Дэвидсон ходил на пароходике «Сисси» — том, маленьком, из-за которого мы над ним подшучивали. Командовал он им в одиночку, помогал ему лишь один малаец в ранге вахтенного офицера. Чем-то навроде второго белого на борту был механик, португальский метис, тощий, как рея, и совсем еще юный. Во всем, что касается маршрута и управления, капитан распоряжался своей командой единолично, о чем, конечно, знали в порту. Я рассказываю вам это потому, что данный факт повлиял на развитие событий, о которых вы вскоре услышите.

Его пароход был столь мал, что ходил и по речушкам, и по мелководным заливам, и через рифы, и по песчаным отмелям. Это позволяло ему собирать товар там, где никакие другие суда, кроме местных, и не подумали бы промышлять. Зачастую это весьма выгодно. Все знали, что Дэвидсон добирался до мест, куда никто, кроме него, не заходил и о которых толком никто не слышал.

Судовладелец Дэвидсона полагал, что коль скоро доллары старого образца изымались, то собирать их с мелких торговцев в редко посещаемых частях архипелага удобнее всего будет как раз на «Сисси». И дело это прибыльное. Ящики с долларами сваливались на корме в кладовой, и вы получали приличный фрахт при малых хлопотах и грузовых габаритах.

Дэвидсон тоже считал это хорошей идеей, и вместе они составили список мест, куда он пойдет в следующем плавании. Тут Дэвидсон (он, ясное дело, держал карту своих перемещений в голове) добавил, что на обратном пути он мог бы заглянуть в одно поселение на берегу речушки, где в туземной деревне жил один белый горемыка. Дэвидсон сказал своему китайцу, что у этого малого обязательно найдется груз ротанга.

«Думаю, будет достаточно, чтобы заполнить нос, — сказал Дэвидсон. — Всяко лучше, чем возвращаться с пустыми трюмами. Днем больше, днем меньше — значения не имеет».

Это было разумное предложение, и китаец не мог не согласиться. Впрочем, он согласился бы и с неразумным. Дэвидсон делал, что хотел. Этот человек не мог поступить неправильно. Однако предложение Дэвидсона не было сугубо деловым. Отчасти оно было продиктовано тем самым дэвидсоновским добродушием. Да будет вам известно, что своей спокойной жизнью на берегу речушки тот белый был обязан именно Дэвидсону, который согласился время от времени туда заходить. И китаец это прекрасно знал. Поэтому он улыбнулся своей величавой, ласковой улыбкой и сказал: «Хорошо, Капитан. Делайте, как пожелаете».

Теперь я поясню, как сложились отношения между Дэвидсоном и тем малым. Я хочу рассказать ту часть истории, что произошла здесь незадолго до основных событий.

Вы не хуже меня знаете, что столовая, в которой мы сидим, существует уже много лет. Так вот, на следующий день, часов в двенадцать Дэвидсон зашел сюда, чтобы перекусить.

И тут в нашей истории наступает один единственный момент, когда важную роль сыграла чистая случайность. Если бы в тот день Дэвидсон пошел обедать домой, то и теперь, спустя двенадцать лет, на его лице была бы прежняя добродушная улыбка.

Но он пришел сюда; может быть, сидел за этим самым столом и в разговоре с моим приятелем упомянул о своей предстоящей поездке, связанной со сбором долларов. Он со смехом добавил, что жена его очень волнуется по этому поводу. Умоляет его остаться и найти кого-нибудь, кто мог бы отправиться в это путешествие вместо него. Она считала это предприятие с долларами небезопасным. Он отвечал, что в Яванском море давно уже нет пиратов, что они остались только в детских книжках. Он смеялся над ее страхами, хотя и жалел ее. Ему было известно: уж если ей взбредет что-то в голову, переубедить ее уже невозможно. Все равно она будет беспокоиться, пока его нет. С этим он ничего поделать не мог. Заменить его в этой поездке было некому.

С этим моим приятелем мы вскоре отправились домой на одном почтовом пароходе. Однажды вечером, когда, проходя по Красному морю, мы с большим или меньшим сожалением вспоминали о делах и людях, которых оставили не так давно, он упомянул тот разговор.

Не скажу, что Дэвидсон занимал какое-то особенно важное положение. Люди высокой нравственности редко пробираются наверх. Те, кто хорошо его знал, ценили его без лишних разговоров. В глазах других Дэвидсона отличала скорее не нравственность, а тот факт, что он был женат. Наша компания, если вы помните, была по преимуществу холостяцкой, во всяком случае по духу, если не по факту. Возможно, у кого-то и были жены, но их никто не видел, они были далеко, о них даже не говорили. Чего ради? И только Дэвидсон был заметно, прямо-таки ощутимо женат.

Узы брака хорошо ему подходили. Настолько хорошо, что даже самых разгульных из нас не возмутило это обстоятельство, когда оно раскрылось. Едва обустроившись, Дэвидсон послал за женой. Она прибыла из Западной Австралии на «Сомерсете», под опекой капитана Ричи — вы знаете Ричи Обезьяню-Морду, — который не мог нахвалиться на ее приветливость, обходительность и очарование. Казалось, она была идеальной парой для Дэвидсона. По прибытии она обнаружила прелестное бунгало на холме, готовое принять ее и их маленькую дочку. Очень скоро он раздобыл для жены двухколесную бричку и бирманского пони, и вечерами она спускалась вниз, чтобы забрать Дэвидсона с причала. Когда Дэвидсон, сияя, усаживался в бричку, там сразу становилось тесно.

Мы восхищались миссис Дэвидсон издалека. Мы видели прелестную барышню, как из девичьих альбомов. Но только издалека. Рассмотреть ее поближе у нас не было возможности, а она и не спешила их предоставлять. Мы бы и рады были заглянуть в бунгало Дэвидсонов, но нам каким-то образом дали понять, что гостей там не ждут. Не то чтоб она как-то неприветливо разговаривала. Ей и сказать-то было особо нечего. Мне случалось бывать у Дэвидсонов дома, пожалуй, чаще других. И сквозь ее блеклую кукольную миловидность мне таки

удалось разглядеть выпуклый, упрямый лоб и алые хорошенькие скупые губки. Впрочем, у меня предвзятый взгляд.

Многих из нас привлекала ее белая лебединая шея и невинный, потупленный взор. В то время у жены Дэвидсона было много тайных почитателей, это я точно могу сказать. Однако она отвечала нашему брату глубоким недоверием, и недоверие это временами распространялось, по-моему, даже на ее мужа. Мне казалось, что она его по-своему ревновала, хотя вокруг Дэвидсона не было женщин, к которым она могла бы его ревновать. Она была лишена женского общества. Трудно приходится жене капитана, если рядом нет других капитанских жен, а их как раз и не было. Известно, что к ней заживала жена управляющего портом, этим ее круг и ограничивался. У местных мужчин сложилось мнение, что миссис Дэвидсон — кроткая, застенчивая малышка. Должен признать, что такой она и казалась. Это мнение было настолько общепринятым, что мой приятель, о котором идет речь, запомнил разговор с Дэвидсоном только из-за фразы о его жене. «Представьте себе недовольную миссис Дэвидсон. По мне, так она совсем не похожа на женщину, которая способна устроить сцену».

Я тоже удивился, но не слишком. С таким-то упрямым лбом! Мне всегда казалось, что она глуповата. И я предположил, что Дэвидсона, наверное, рассердило женино беспокойство. «Нет, — сказал мой друг, — по-моему, он был, скорее, тронут и даже огорчен. Ему некого было попросить о замене. Ведь, кроме прочего, он собирался зайти в какую-то богом забытую бухту, проведать малого по имени Бамц, который там вроде как обосновался. Скажите на милость, — недоуменно воскликнул мой приятель, — какая может быть связь между Дэвидсоном и таким существом, как Бамц?»

Уже и не помню, что я ему ответил. Но чтобы выразить суть, достаточно было и двух слов: «доброта Дэвидсона». Она не чуралась недостойных, если был хоть малейший повод для сострадания. Не подумайте, что Дэвидсон был совсем неразборчив. Бамц ни за что бы не смог ему навязаться. Более того, все знали, кто таков этот Бамц. Бездельник с бородой. Вспоминая его, я всякий раз представляю длинную черную бороду и россыпь

добрых морщинок в уголках глаз. Такой бороды не найдешь отсюда до самой Полинезии, где борода сама по себе является завидным имуществом. Однако Бамц ценил свою бороду не за это. Вы же знаете, как впечатляет азиатов хорошая борода. Я помню, как много лет назад мрачный Абдулла, великий торговец Самбира, не смог сдержать удивления и восхищения при виде этой невероятной бороды. Всем известно, что на протяжении нескольких лет Бамц периодически приживал у Абдуллы. Это была особенная борода, и ее владелец был такой же особенный. Редкий бездельник. Это стало его искусством или, скорее, чем-то вроде ремесла и тайного знания. В городах, в крупных общинах легко представить себе типа, который живет подачками и мелким мошенничеством; но Бамцу удавалось бездельничать и в диких местах, на окраинах девственных лесов.

Он умел расположить к себе местных. Прибывая в прибрежную деревню, он одаривал Раджу, главу поселения, или главного торговца дешевым карабином, дрянным биноклем или чем-нибудь в этом роде, а взамен просил дать ему жилье, таинственными намеками давая понять, что он-де важный купец. Он оплетал их бесконечными байками, какое-то время жил припеваючи, а затем проворачивал какую-нибудь аферу или до того им надоедал, что его просили убраться. Он уходил безропотно, с видом оскорбленной невинности. Такая вот забавная жизнь. При этом он всегда выходил сухим из воды. Я слышал, что Раджа Донгала выдал ему товаров на пятьдесят долларов и оплатил проезд на прау, только чтобы от него избавиться. Такая история. Заметьте, ничто не мешало старику приказать, чтобы Бамцу перерезали горло и бросили труп в пучину за рифами, — никто на свете не стал бы его искать.

Известно, что в то время Бамц скитался по диким местам и доходил аж до севера Тонкинского залива. Однако время от времени он не брезговал и соблазнами цивилизации. Как раз в Сайгоне, где он слонялся и попрошайничал, выдавая себя за уважаемого счетовода, бородатый Бамц и повстречал Хохотушку Анну.

О ее прошлом я бы предпочел не распространяться, но кое-что рассказать надо. Можно смело предположить, что

к тому времени, когда Бамц впервые заговорил с ней в каком-то кабаке, ее знаменитый смех был уже не таким искренним. Ее выбросило на берег Сайгона почти без гроша, и больше всего она тревожилась о своем ребенке, мальчишке пяти-шести лет.

В эти края ее привез малый по прозвищу Гарри Ныряльщик, — кажется, из Австралии. Привез и бросил, а она осталась обивать пороги, и вскоре почти все знали ее в лицо. На всем архипелаге не было человека, который не слышал бы о Хохотушке Анне. Заливистый смех — это все, чем она располагала, но, скажем так, для счастья его явно было недостаточно. Бедное создание, она готова была повиснуть на любом мало-мальски приличном мужчине. Но в итоге, как и следовало ожидать, ее всегда бросали.

В Сайгоне ее бросил шкипер немецкого судна, с которым она почти два года ходила вдоль китайского побережья до самого Владивостока. Немец сказал ей: «Все кончено, mein Täubchen^{*}. Я уезжаю домой, чтобы жениться на девушке, с которой был помолвлен еще до того, как приехал сюда». На что Анна ответила: «Ну и ладно, езжай. Мы ведь расстанемся друзьями, верно?»

Она ни с кем не хотела ссориться на прощание. Немец сказал, что они, конечно же, останутся друзьями. В минуту расставания вид у него был довольно угрюмый. Она рассмеялась и сошла на берег.

На самом деле ей было не до смеха. Ей казалось, что это был ее последний шанс. Больше всего Анна волновалась за будущее ребенка. Уходя с немцем, она оставила сына в Сайгоне на попечении пожилой французской пары. Муж служил привратником в некоем правительственном учреждении, но его контракт истекал, и они собирались вернуться во Францию. Анна должна была забрать у них мальчика, и, получив его обратно, она уже не хотела с ним расставаться.

В таком положении пребывала Анна, когда познакомилась с Бамцем. Никаких иллюзий насчет этого проходимца она не питала. Связаться с Бамцем было падением даже для

* Мой голубочек (нем.).

нее, да и с материальной точки зрения это предприятие было не ахти. Она всегда сохраняла некоторые приличия, тогда как Бамц, сказать по правде, являл собой жалкое зрелище. С другой стороны, этот бородатый бездельник, больше похожий на пирата, чем на счетовода, не был груб. Он был по-своему вежлив даже в подпитии. В отчаянии, как и в несчастьи, с кем только не сойдешься. А она уже отчаялась вполне. Ее молодость была уже позади, знаете ли.

Пожалуй, со стороны мужчины объяснить эту связь было бы даже сложнее. Вот что, однако, еще важно знать о Бамце: к туземкам он не прикасался. И поскольку заподозрить его в высокой морали сложно, причиной тому был, скорее всего, здравый смысл. Да он и сам был уже немолод. К тому времени в его драгоценной черной бороде развелось немало седых волос. А может, ему попросту понадобился спутник в его странной и убогой жизни. Так или иначе, но Сайгон они с Анной покинули вместе. И никому не было дела, что с ними случилось.

Полгода спустя Дэвидсон подходил к поселку Мирра. Он в первый раз поднимался по этой речушке, где еще не видали европейского судна. Яванский пассажир предложил ему пятьдесят долларов, чтобы туда попасть — у него, надо думать, были на то какие-то особые причины, — и Дэвидсон согласился попробовать. Он говорил мне, что привлекли его, конечно, не пятьдесят долларов, а возможность побывать в новом месте. К тому же малышка «Сисси» проходила везде, где могла проплыть суповая тарелка.

Дэвидсон высадил там своего яванского магната и, поскольку до прилива оставалась еще пара часов, сошел на берег поразмять ноги.

Это был небольшой поселок, домов на шестьдесят — большая часть стояла на сваях над рекой, остальные были разбросаны среди высокой травы. От обращенных к лесу дверей вели тропинки. На очищенный участок со всех сторон наступали джунгли, превращая воздух в мертвенно горячее застойное марево.

Все поселение вышло на берег. Молча, как это принято у малайцев, уставившись на брошившую посреди реки якорь

«Сисси», они дивились пароходу, словно явлению ангела. Старики разве что слышали о таких судах, да и из молодых мало кто такие видел. В полном одиночестве Дэвидсон прогуливался по тропинке вдоль леса, но, почувствовав дурной запах, решил, что дальше идти не следует.

Пока он стоял, утирая лоб, до него донеслось восклицание: «Боже мой! Да это же Дэви!»

У Дэвидсона, как он потом рассказывал, от этого возбужденного голоса челюсть упала, что твой якорь. «Дэви» его называли товарищи его младых дней — уже много лет он не слышал этого обращения. Он изумленно оглянулся и увидел, как из высокой травы, в которой едва виднелась крыша маленькой хижины, вышла белая женщина.

Только представьте себе его удивление: в диком месте, которого даже на карте не найти, в поселении беднее самой нищей малазийской деревни, из зарослей травы выходит белая женщина, шурша причудливым чайным платьем из выцветшего розового атласа, с длинным шлейфом и потертой кружевной отделкой. Ее глаза чернели как угольки на болезненно бледном лице. Дэвидсону показалось, что это сон, бред. Из деревенской грязевой ямы (а именно ее отвратительный запах учуял Дэвидсон немногим ранее) с громким фырканием выскочила пара буйволов. Охваченные паникой от такого явления, они унеслись прочь, с треском ломая кусты.

Женщина подошла ближе и, протянув руки, положила их на плечи Дэвидсону. «Вот это да! Ты ни капли не изменился. Все тот же Дэви», — воскликнула она и безудержно рассмеялась.

Ее смех подействовал на Дэвидсона как гальванический удар на покойника. Каждый мускул его содрогнулся. «Хохотушка Анна», — произнес он, как заворуженный.

«Все, что от нее осталось, Дэви. Все, что от нее осталось».

Дэвидсон взглянул на небо; но воздушного шара, с которого она могла бы сюда свалиться, там не оказалось. Опустив глаза, он уперся рассеянным взглядом в ребенка, вцепившегося темной лапкой в розовое атласное платье — он выбежал за ней из травы. Увидь Дэвидсон перед собой живого чертенка, он не вытаращился бы на него так, как на этого мальчугана в грязной

белой рубашке и рваных штанишках. Круглая голова в густых каштановых кудряшках, очень загорелые ноги, веснушчатое лицо и веселые глаза. Когда мать сказала ему поприветствовать джентльмена, он добил Дэвидсона, обратившись к нему по-французски.

«Bonjour».

Придя в себя, Дэвидсон молча посмотрел на женщину. Она отослала ребенка обратно к лачуге. Когда тот скрылся в траве, она развернулась к Дэвидсону и попыталась заговорить, но после слов: «Это мой Тони», — разразилась долгими рыданиями. Ей пришлось опереться на плечо Дэвидсона. Одолеваемый глубоким сочувствием, он встал как вкопанный там, где она ему повстречалась.

Вот это встреча, да? Бамц послал ее посмотреть, что это за белый высадился на берег. А она узнала его, хоть и не видела его много лет с тех пор, как юный Дэвидсон сам занимался добычей жемчуга, водился с Гарри Нырляльщиком и прочими — самый спокойный в той компании изрядных дебоширов.

Перед тем как вернуться на борт парохода, Дэвидсон выслушал почти всю историю Хохотушки Анны, а по дороге к берегу пообщался даже с самим Бамцом. Она сбегала за ним в хижину, и тот вышел вразвалочку, руки в брюки, с невозможным и небрежным видом, под которым скрывал свою склонность к подобострастию. Да-а-а-а уж. Он подумывал осесть здесь, вместе с ней — и он кивнул на Хохотушку Анну, которая стояла рядом, простоволосая, изможденная и ужасно взволнованная.

«Мне не нужно ни румян, ни красок, Дэви, — вмешалась она, — только бы ты сделал то, что он хочет. Ты знаешь, я всегда была готова поддержать своего мужчину — просто никто не давал мне такой возможности».

Дэвидсон нисколько не сомневался в ее искренности. А вот в добросовестности Бамца сомнения были. Бродяге хотелось, чтобы Дэвидсон пообещал заходить в Мирру более или менее регулярно. Бамцу, как ему самому казалось, открылась возможность подзаработать на ротанге — если бы только было какое-нибудь надежное судно, чтобы доставлять товары на обмен и вывозить его продукт.

«У меня есть небольшая сумма, чтобы начать дело. Люди надежные».

На туземном прау он добрался до места, где его никто не знал, и своими мягкими манерами, а также искусством плести байки, от которых у местных дух захватывало, он сумел снизить расположение вождя.

«Совет Оранг-Кая дал мне пустой дом и сказал, что я могу оставаться здесь сколько захочу», — добавил Бамц.

«Соглашайся, Дэви! — внезапно взмолилась женщина. — Подумай о бедном ребенке».

«Видали этого типчика?» — спросил завязавший бродяга, и участие, которое послышалось в его голосе, заставило Дэвидсона смягчить взгляд.

«Да, я займусь этим», — сказал он. Он думал было выдвинуть условие, чтобы Бамц обращался со своей женщиной как подобает, но излишняя деликатность, а также убеждение, что слово людей его сорта ничего не стоит, остановили Дэвидсона. Анна прошла с ним немного по тропинке, и все время взволнованно говорила.

«Это для малыша. Думаешь, я могла бы оставить его при себе, если бы мне пришлось обивать пороги в городе? Здесь он никогда узнает, кем была его мать. К тому же Бамц его любит. Он правда к нему привязан. Мне остается только благодарить Бога за это».

От одной мысли, что есть существо, падшее настолько низко, чтобы благодарить Бога за благосклонность и расположение Бамца, Дэвидсон содрогнулся.

«А ты уверена, что сможешь здесь жить?» — заботливо спросил он.

«А что? Ты же знаешь, я всегда держалась за мужчин несмотря ни на что, пока сама им не надоедала. Теперь взгляни на меня! Но в душе я такая же, как прежде. Я была честна с каждым из них, но мужчины почему-то всегда от меня уставали. О, Дэви! Как же Гарри мог меня бросить! Это он сбил меня с пути».

Дэвидсон сказал, что Гарри Ныряльщик умер несколько лет назад. Может быть, она уже слышала.

Жестом она дала понять, что слышала, и в молчании дошла с Дэвидсоном почти до самого берега. Потом она сказала, что их встреча напомнила ей старые времена. Она не плакала уже много лет. Она вообще не из плаксивых. Но когда ее снова назвали Хохотушкой Анной, она разрыдалась, как дурочка. По-настоящему она любила только Гарри. Остальные...

Она пожала плечами. Анна была верна сменявшим друг друга партнерам ее печальных приключений и гордилась этим. Она никогда не обманывала никого из них. О таком друге можно только мечтать. Но мужчины действительно от нее уставали. Они не понимали женщин. Она считала, что это в порядке вещей.

Дэвидсон пытался аккуратно предостеречь ее относительно Бамца, но она прервала его. Ей известно, что такое мужчины. Она знает, что такое этот Бамц. Но с ее сыном он ладит очень хорошо. И Дэвидсон с готовностью ретировался, сказав себе, что теперь уж бедная Хохотушка точно не питает никаких иллюзий. Она крепко сжала его руку на прощанье.

«Это ради ребенка, Дэви, только ради ребенка. Он ведь у меня такой умница, правда?»

Глава II

— Все это произошло примерно за два года до того, как между Дэвидсоном и моим приятелем состоялся разговор в этой самой зале. Вскоре вы сами увидите, как людно здесь бывает. Каждый стул будет занят, и, как вы можете заметить, столы расставлены так близко, что спинки стульев почти соприкасаются. Ближе к часу здесь стоит гул от шумных бесед. Я не думаю, что Дэвидсон говорил очень уже громко, но, скорее всего, ему приходилось повышать голос, чтобы мой друг мог слышать его через стол. И здесь по чистой случайности пара чутких ушей оказалась прямо позади стула Дэвидсона. Вероятность того, что у обладателя этих ушей в карманах было достаточно мелочи, чтобы здесь пообедать, — один к десяти. Но пара монет у него оказалась. Скорее всего, накануне ему удалось ободрать кого-нибудь на несколько долларов в карты. То был колоритный персонаж по имени Фектор — худощавый, низенький, нервный человек с красным лицом и мутноватыми глазками. Он представлялся журналистом, подобно женщинам определенного толка, которые, оказавшись в участке, выдают себя за актрис.

Обычно он представлялся незнакомцам как человек, чье призвание — выслеживать и искоренять злоупотребления, где бы он их ни обнаружил. При этом он намекал, что за добрые дела ему приходится страдать. И действительно, его поколачивали, пороли плетью, сажали в тюрьму и гнали с позором отовсюду, от Цейлона до Шанхая, а все за профессиональный шантаж.

Для таких делишек, полагаю, нужен быстрый ум и острый слух. Вряд ли он подслушал все, что Дэвидсон говорил

о своей экспедиции по сбору долларов, но он услышал достаточно, чтобы напрячь извилины.

Он дождался, пока Дэвидсон уйдет, и затем поспешил к трущобам туземцев, где один заурядный португалец держал меблированные комнаты на паях с очень сомнительным китайцем. Все это называлось «Гостиница Макао», но больше походило на притон картежников, который вам бы посоветовали обходить стороной. Может, помните?

Накануне вечером Фектор встретил там расчудесную парочку, союз еще более сомнительный, чем португалец с китайцем. Одного из них, Никласа, вы знаете. Как же! Ну тот, с татарскими усами, желтым, как у монгола, лицом, только глаза у него не узкие, и лицо не плоское. Каких он кровей, понять было невозможно. Мутный типчик. Можно подумать, что это больной желтухой белый. Что, осмелюсь сказать, видимо, не далеко от правды. У него была малайская прау, и он величал себя «находа», иначе говоря, «капитан». Ага! Вот вы и вспомнили. Из европейских языков он владел только английским, но на своем прау ходил под флагом Голландии.

Вторым был безрукий француз. Да-да, тот самый, что в 1879-м держал табачную лавку в конце Джордж-стрит в Сиднее. Помните эту огромную тушу, сторбленную за прилавком, широкое белое лицо и длинные черные волосы, зачесанные над высоким лбом, как у барда? Своими обрубками он пытался крутить на колене сигареты и рассказывал бесконечные байки о Полинезии, то жалуясь, то проклиная «*mon malheur*»^{*}. Руки ему оторвало динамитной шашкой во время рыбалки в какой-то лагуне. Я думаю, что это происшествие обозлило еще больше, а он и до этого был не по-человечески свиреп.

Он постоянно говорил, что когда-нибудь «возобновит деятельность», чем бы он там ни занимался, лишь бы нашелся смысленный компаньон. Было очевидно, что магазинчик для этой самой деятельности не подходил и женщина болезненного вида с вечно подвязанной челюстью, которая иногда заглядывала через заднюю дверь, не была ему компаньоном.

* Мое несчастье (*франц.*).

И действительно, вскоре, когда акцизное ведомство предъявило ему претензии, он исчез из Сиднея. Он продавал краденый со склада товар или что-то в этом духе. Женщину он бросил, но, видимо, нашел себе другого спутника — один бы он не справился. Но с кем он ушел, и куда, и кого потом мог привлечь себе в компаньоны, даже предположить сложно.

Не могу сказать, почему он пришел именно в эти места. К концу моего пребывания здесь стали ходить слухи о французе-калеке, которого видели то тут, то там. Но никто тогда не знал, что он объединился с Никласом и жил в его прау. Осмелюсь даже сказать, что он подбил Никласа на одно-два дела. В любом случае это было сотрудничество. Никлас немного побаивался француза из-за его свирепого нрава. Когда он злился, он был похож на безрукого дьявола, но поскольку зарядить или держать оружие он был не в состоянии, в худшем случае француз мог попытаться пустить в ход зубы. Никлас был уверен, что уж от этой опасности он всегда сможет себя защитить.

Компаньоны просиживали штаны в пустой гостиной безвестного отеля, когда появился Фектор. Немного побродив вокруг да около из сомнений, можно ли доверять этим двум. Он повторил то, что подслушал в закускойной.

Его история не имела особого успеха, пока он не упомянул речушку и Бамца. Никлас, который ходил на прау, как туземец, был, как он сам выражался, «знаком с этой местностью». Огромный француз, который расхаживал взад-вперед по комнате, засунув культи в карманы пиджака, внезапно остановился. «Comment? Bamtz! Bamtz!»[•]

В прошлом они пересекались несколько раз. Француз воскликнул: «Bamtz! Mais je ne connais que ça!»^{••} И он наградил Бамца настолько презрительным и непристойным эпитетом, что потом, когда он назвал его *une chiffé* (просто тряпкой), это прозвучало как комплимент. «С ним можно делать все что угодно, — уверенно заявил он. — О, да. Конечно, мы должны поскорее навестить этого... — и он употребил еще один

- Как? Бамц! Бамц! (*франц.*).
- Да я его знаю! (*франц.*).

выразительный эпитет, который тоже лучше не воспроизводить. — Черт меня подери, если нам не удастся проверить дельце, которое обеспечит нас на много лет».

Он уже видел, как они переплавят все эти доллары в слитки и сбудут где-нибудь на китайском побережье. В том, что им удастся сбежать после ограбления, он не сомневался. Для того и была нужна прау Никласа.

В возбуждении он вытащил из карманов свои культи и стал ими размахивать. Затем, заметив это, он поднес их к глазам и принялся проклинать и ругаться, оплакивая свое несчастье и свою беспомощность, пока Никлас не успокоил его.

Но именно в его голове созрела эта затея, и именно его воля подняла на дело остальных. Никто из них не походил на бесстрашного пирата, а Фектор за свою полную приключений жизнь вообще никогда не использовал другого оружия, кроме клеветы и лжи.

В тот же вечер они отправились навестить Бамца на прау Никласа, которая после разгрузки кокосовых орехов вот уже пару дней стояла под мостом на канале. Они наверняка проходили мимо стоящей на рейде «Сисси» и, несомненно, с интересом разглядывали ее как свою будущую цель, свой крупный улов, *le grand coup!*

Жена Дэвидсона, к его великому удивлению, дулась на него еще нескольких дней, пока он не ушел в плаванье. Я не знаю, догадывался ли он, что, несмотря на свой ангельский профиль, она была упертой до одурения. Ей не нравились тропики. Мало того, что он привез ее сюда, где у нее нет друзей, так он еще и перестал к ней прислушиваться. Она предчувствовала несчастье и, несмотря на скрупулезные объяснения Дэвидсона, не могла понять, почему он пренебрегал ее чутьем. В последний вечер перед отъездом Дэвидсона она спросила его с подозрением:

«Почему тебе так приспичило пойти именно в этот раз?»

«Мне не приспичило, — возразил старина Дэвидсон. — Я ничего не могу поделать. Вместо меня пойти некому».

«Ах! Вот оно что, пойти некому», — сказала она, медленно отводя взгляд.

В тот вечер она была с ним так холодна, что Дэвидсон, из чувства деликатности, решил сразу с ней распрощаться и отправился спать на борт. Он чувствовал себя очень несчастным и, как ни странно, больше из-за себя, чем из-за жены. Ему казалось, что она скорее обиделась, нежели опечалилась.

Спустя три недели, набив старыми долларами порядочное количество ящиков (их хранили на корме, за железным засовом и висячим замком, в кладовке, люк в которую был расположен под столом в его каюте), так вот, собрав даже больше, чем он рассчитывал, Дэвидсон уже взял курс домой, когда оказался в устье той самой речушки, на берегу которой жил и даже, можно сказать, процветал Бамц.

Было уже поздно, и Дэвидсон, по правде говоря, не был уверен, стоит ли ему заходить в этот раз. Его мало заботил Бамц: он был человек падший, но не отчаявшийся. Ему было жалко Хохотушку Анну, но не более, чем она того заслуживала. Однако Дэвидсон был человек не просто добрый, но и очень деликатный. Он понимал, до какой степени эти люди завясят от него и как эта зависимость может проявить себя (если он не явится) в течение долгого месяца томительных ожиданий. Движимый отзывчивостью, в стужающихся сумерках Дэвидсон повернул «Сисси» в сторону едва видимого берега и осторожно повел ее через лабиринт отмелей. К тому времени, когда он добрался до истока, уже наступила ночь.

Узкая река темной просекой бежала через лес. Разглядеть ее вездесущие топляки было невозможно, так что Дэвидсон, разумно развернув судно и оставив достаточно пара в котлах, чтобы при случае его подтолкнуть, дал «Сисси» плыть кормой вперед по течению, бесшумному и невидимому в непроницаемой темноте и глухой тишине.

Плыть так пришлось долго, и, когда через два часа Дэвидсон подумал, что он, должно быть, уже поднялся до расчетного места, поселение уже заснуло, и весь край лесов и рек тоже спал.

В глубокой тьме на берегу Дэвидсон заметил одинокий огонек и понял, что горит он в доме Бамца. Увидеть свет в такой

поздний час было неожиданно, но это помогло ему сориентироваться. Аккуратно работая винтом и рулем, он подвел «Сисси» к пристани Бамца — хлипкому сооружению из десятка свай и нескольких досок, которым завязавший бродяга очень гордился. Двое калашей[•] спрыгнули на пирс, потянули за брошенные с борта канаты, и «Сисси» причалила тихо, без единого зычного слова или маломальского шума. Она встала как раз вовремя: отлив начался еще до того, как судно должным образом пришвартовали.

Дэвидсон перекусил, после чего, выйдя на палубу, чтобы сделать последний обход, заметил, что в доме все еще горит свет.

Это было очень странно, но раз уж они не спали так поздно, Дэвидсон решил зайти к ним, чтобы сказать, что спешит с отплытием, и попросить весь ратанг, что есть в наличии, прислать на борт с первыми лучами солнца.

Не горя желанием подвернуть ногу, он осторожно ступал по шатким мосткам и пробрался через пустырь к лестнице, приставленной ко входу в дом. Это была слегка приукрашенная хижина на сваях, неогороженная и на отшибе.

Как и многие тучные люди, Дэвидсон был весьма проворным. Забравшись по лестнице ступеней на семь, он бесшумно пересек бамбуковую площадку, но увиденное в дверном проеме заставило его резко остановиться.

За столом при свете одинокой свечи сидели четверо. Перед ними стояли бутылка, кувшин и стаканы, но никто не выпивал. Рядом лежали две колоды карт, но и играть тоже никто не собирался. Мужчины перешептывались друг с другом, не замечая Дэвидсона. Он же был настолько ошарашен, что не мог произнести ни слова. Все замерло, и лишь шепот склоненных над столом голов шелестел в застывшей тишине.

Дэвидсону, как я уже говорил, это не понравилось. Ой как не понравилось.

Его наблюдение прервал крик, донесшийся из темной глубины комнаты: «О, Дэви! Как ты меня напугал!»

• Калашы — небольшой дардский народ, населяющий две долины правых притоков реки Читрал (Кунар) в горах провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан).

Позади стола возле плетеной стены Дэвидсон разглядел очень бледное лицо Анны. В глубоком полумраке комнаты раздался ее немного нервный хохот: «Ха! Ха! Ха!»

Все четверо резко подняли головы, и четыре пары глаз не моргая уставились на Дэвидсона. Женщина вышла вперед, одетая лишь в просторный ситцевый халат и соломенные тапки на босу ногу. Голова была повязана на малайский манер красным платком, из-под которого выбивались ее пышные волосы. Некогда роскошный европейский туалет за два года буквально истлел на ней, но длинное янтарное ожерелье по-прежнему висело на ее непокрытой шее. Это было единственное украшение, которое у нее осталось: Бамц продал всю ее скромную бижутерию, когда они бежали из Сайгона, еще в самом начале их романа.

Минуя стол, она вышла на свет и, по обыкновению, протянула вперед руки, будто ее душа, бедняжка, уже давным-давно ослепла. Дэвидсон разглядел ее бледные запавшие щеки и поймал рассеянный взгляд ее диких глаз. Она стремительно подошла, схватила за руку и потащила за собой. «Сам Бог послал мне тебя! Мой Тони совсем плох — пойдём, взглянешь на него. Пойдем же!»

Раскрасневшийся ребенок лежал в убогой детской кроватке, сколоченной из ящичков из-под джина. Широко раскрытыми сонными глазами он уставился на Дэвидсона. Он явно проигрывал в бою с лихорадкой. Дэвидсон пообещал прихватить с корабля кое-какие лекарства и вообще старался как-то обнадежить Анну, однако ее странное поведение не давало ему покоя. Глядя с отчаянием в кроватку, она то и дело бросала быстрый, испуганный взгляд на Дэвидсона, потом так же быстро переводила его на соседнюю комнату.

«Да, бедная моя девочка, — прошептал он, расценив ее рассеянность по-своему, хотя и не имея в виду ничего конкретного. — Боюсь, это не сулит тебе ничего хорошего. Как они тут оказались?»

Она схватила его за руку и резко процедила: «Ах это мне ничего хорошего не сулит? А о себе ты подумал?! Они охотятся за долларами, что у тебя на борту».

Дэвидсон был ошарашен. «Откуда они знают, что там доллары?» — спросил он.

В отчаянии она всплеснула руками. «Так это правда! Они там, на борту? Тогда будь осторожен!»

Они стояли, не сводя глаз с лежащего на кровати мальчика, понимая, что за ними, возможно, наблюдают из другой комнаты.

«Важно, чтобы он как можно скорее вспотел, — сказал Дэвидсон своим обычным голосом. — Дай ему что-нибудь горячее. На корабле я заодно прихвачу спиртовку, — и добавил шепотом: — Думаешь, они готовы пойти на убийство?»

Она снова погрузилась в отрешенное созерцание ребенка. Дэвидсон уже было решил, что она не расслышала его, когда с застывшим выражением лица она зашептала:

«Французу — раз плюнуть. Остальные будут увиливать — пока ты не начнешь сопротивляться. Он дьявол. Он ими всеми погоняет. Без него они способны только на пустые разговоры. Я с ним на короткой ноге. А как быть, если у тебя такой муж? Бамц их ужасно боится, и они это знают. Он с ними только потому, что трусит. О, Дэви, уводи поскорее отсюда свою „Сисси“!»

«Слишком поздно, — сказал Дэвидсон, — она уже на мели».

«О, если бы ребенок не был бы в таком состоянии, я бы сбежала с ним к тебе, в леса, да куда угодно! О Дэви, он же не умрет?» — она вдруг зарыдала.

В дверном проеме Дэвидсон встретил трех мужчин. Они пропустили его, даже не удостоив взглядом. Бамц, в отличие от остальных, пристыженно потупил глаза. Француз по-прежнему сидел, развалясь в кресле, а свои культяпки держал в карманах.

«Какое несчастье, когда ребенок болеет! Мне очень жаль эту добрую женщину, но я никак не могу ей помочь. Я и подушку больному другу взбить не в состоянии. Я лишен рук. Не могли бы вы положить в рот несчастному безобидному калеке сигарету? Нервишки расшалились, клянусь честью».

Дэвидсон ответил присущей ему доброй улыбкой. Чем безмятежнее он казался, если бы он мог быть еще более безмятежным, тем больше было причин для волнения. Пока Дэвидсон напряженно размышлял над ситуацией, глаза его были

абсолютно спокойными, как будто даже сонными, и здоровенный француз мог убедиться в своем мнении, что мужчина этот безобиден, как ягненок, и готов к закланию. Прохрипев «тегсі біен», он поднял свою громадную тушу, чтобы прикурить от свечи, а Дэвидсон вышел из дома.

По дороге на корабль и обратно у него было время оценить свое положение. Сначала он склонялся к тому, что люди такого пошиба (Никлас — белый находа — был единственным, помимо Бамца, кого он знал в лицо) не из тех, кто готов пойти на крайности. Отчасти поэтому он даже не пытался организовать оборону на борту. О том, чтобы его мирные калашы подняли руку на белого человека, нельзя было и думать. А бедного инженера хватил бы удар от одной мысли о возможной стычке. Дэвидсон знал: случись что, рассчитывать ему придется только на себя.

Дэвидсон, разумеется, недооценил пробивной характер француза и силу движущего им мотива. Для этого безнадежно покалеченного человека доллары были настоящим шансом начать новую жизнь. На свою долю награбленного он мог бы открыть другой магазин во Владивостоке, Хайфоне, Маниле — где-нибудь подальше отсюда.

Дэвидсон был не робкого десятка, посмелее многих, но ему и в голову не приходило, что его подлинный характер оставался неизвестен широкому кругу, тем более этим бандитам, которые судили о нем только по его внешности. А им мужичок, вернувшийся с корабля с ворохом всяких вещей и свертков для больного мальчика, казался человеком неопасным, кротким и мягким.

Все четверо все еще сидели за столом. Бамц от страха и рта не мог раскрыть, поэтому Никлас выступил за хозяина. Он хрипло окликнул Дэвидсона и сказал, чтоб тот поскорее выходил и выпил с ними.

«Думаю, мне придется ненадолго остаться, надо помочь ей ухаживать за мальчиком», — на ходу ответил Дэвидсон.

Такой ответ мог отвести возможные подозрения. На самом деле Дэвидсон понимал, что надолго оставаться тут ему нельзя.

Он сел на старый пустой бочонок от гвоздей рядом с са- модельной кроватью и посмотрел на ребенка. Тем временем Хо- хотушка Анна, бегая туда-сюда, разогревая напиток, давая его ребенку с ложечки или неподвижно уставившись на его рас- красневшееся лицо, нашептывала разрозненные обрывки све- дений. Ей удалось подружиться с этим французским дьяволом. Не ему, Дэви, объяснять, что она умеет понравиться мужчине.

Дэвидсон кивнул, не глядя на нее.

Этот зверюга, должно быть, уже проникся к ней довери- ем. За игрой она держала его карты. А что же Бамц? О! Перепу- ганный Бамц был только рад, что француза есть кому ублажить. А тот пришел к выводу, что этой женщине все равно с кем быть и что делать. Вот так и вышло, что они стали говорить при ней в открытую. Довольно долго она не могла понять, что за игру они затевают. А поскольку никто не ожидал обнаружить у Бам- ца женщину, то поначалу новых гостей она либо раздражала, либо вводила в ступор.

Она занялась мальчиком, и никто, заглянув в эту комна- ту, не заметил бы ничего подозрительного в том, что эти двое шепчутся над постелью больного.

«А теперь они думают, что из меня поделник куда луч- ше, чем из Бамца», — произнесла она с тихим смешком.

Ребенок застонал. Она опустилась на колени и, скло- нившись над ним, печально на него посмотрела. Потом она подняла голову и спросила у Дэвидсона, поправится ли маль- чик. Дэвидсон в этом не сомневался. Она грустно пробормо- тала: «Бедный малыш. В этой жизни ничего не достается та- ким, как он. Ни малейшего шанса. Но я не могла его бросить, Дэви! Я не могла».

Дэвидсону стало по-настоящему жаль этого малыша. Она положила руку ему на колено и с искренностью прошепта- ла: «Дэви, ни за что не подпускай француза близко». Дэвид- сон, естественно, хотел узнать, почему ему следует опасаться безрукого человека — ему сложно было увидеть в нем серьез- ную угрозу.

«Просто помни, не подпускай его — вот и все», — волнуясь, настаивала она. Немного подумав, она призналась, что утром

француз отвел ее в сторону и велел привязать к правой культе семифунтовую гирию (из набора, который Бамц использовал при торговле). Ей пришлось это сделать: она опасалась его дикого нрава, и случись что, Бамц бы просто струсил за нее заступиться, а прочим было наплевать. Изрыгая страшные угрозы и проклятья, француз запретил ей сообщать остальным, что она для него сделала. Потом он пытался ее задобрить. Он пообещал, что если она поддержит его в этом предприятии, он возьмет ее с собой в Хайфон или в какое-нибудь другое место. Несчастному калеке требовалось, чтобы кто-нибудь о нем постоянно заботился.

Дэвидсон снова спросил, действительно ли они замышляют дурное. Потом он рассказывал мне, что поверить в это было почти невозможно: ничего менее похожего на правду он не встречал. Анна кивнула. Француз помешался на этом ограблении. Дэви следовало ждать их около полуночи: прокравшись на борт, они попытаются ограбить его во что бы то ни стало, возможно даже ценой убийства. Ее голос звучал утомленно, она не сводила глаз с ребенка.

Но Дэвидсон все никак не мог в это поверить; слишком велико было его презрение к этим людям.

«Послушай, Дэви, — сказала она, — когда они соберутся, я выйду вместе с ними, и нам с тобой крепко не повезет, если я не найду над чем посмеяться. Они привыкли к моим выходкам. Смеюсь я или плачу — какая разница. В такую тихую ночь ты сможешь услышать меня с борта. В такую-то темную... Ах! Темно, Дэви, как же сейчас темно!»

«Не вздумай рисковать», — сказал Дэвидсон и указал на мальчика. С его лица сошел болезненный румянец, и он крепко заснул. «Не бойся. Он поправится».

Она как будто хотела крепко прижать ребенка к своей груди, но сдержалась. Дэвидсон собрался идти. Она поспешно прошептала:

«И помни, Дэви! Я сказала им, что ты обычно спишь на корме, в гамаке, под навесом над кабиной. Еще они спрашивали меня о твоих повадках и о твоём корабле. Я рассказала им все, что могла. Я должна быть с ними заодно. Бамц все равно бы им все рассказал — ты же понимаешь».

Жестом он показал, что все в порядке, и вышел. Мужчины за столом уставились на него — все, кроме Бамца. На этот раз заговорил Фектор: «Не хотите ли присоединиться к игре, капитан?»

Дэвидсон ответил, что ребенку уже лучше и он думал пойти на борт и лечь спать. Фектор оставался последним из четырех, кого он, можно сказать, никогда не видел — Француз за он уже разглядел как следует. Он посмотрел в мутные глаза Фектора, на злой, ожесточенный изгиб его губ. Презрение Дэвидсона к этим людям росло с каждой минутой, в то время как его безмятежная улыбка, спокойный голос и безобидный вид поднимали их боевой дух. Они обменялись многозначительными взглядами.

«Мы будем играть допоздна», — сказал Фектор грубым низким голосом.

«Не шумите попусту».

«Да мы народ не шумный. Если больному станет хуже, она обязательно отправит одного из нас к вам, чтоб вы снова поиграли в доктора. Так что не стреляйте без предупреждения».

«Он вообще не стрелок», — встрял Никлас.

«Я никогда не выстрелю, не убедившись, что на то есть веская причина», — сказал Дэвидсон.

Бамц испустил болезненный смешок. На небрежный кивок Дэвидсона поклоном ответил только француз. Он поднялся, а его обрубки даже не шевельнулись в пустых карманах. Дэвидсон теперь понимал почему.

Дэвидсон пошел на корабль. Он напряженно размышлял. И был весьма зол. Он улыбнулся (должно быть, это была первая мрачная улыбка за всю его жизнь) при мысли о семи фунтах веса, привязанных к культе француза. Эту предосторожность негодяй учинил на случай ссоры из-за дележа добычи. Его первый смертоносный удар будет полной неожиданностью — с таким преимуществом он одолеет даже противников с револьверами, особенно если сам начнет драку.

«С такой штуковиной он готов схватиться с любым из своих дружков. Но она ему не понадобится. Повода для ссоры из-за долларов у них не появится», — думал Дэвидсон, тихо

поднимаясь на борт. Он даже не посмотрел, есть ли кто-нибудь на палубах. Большая часть команды была на берегу, остальные спали, забившись по темным углам.

Он уже составил план. И приступил к его методичному выполнению.

Он принес снизу целый ворох одежды и положил его в гамак так, чтобы было похоже на человеческое тело; затем он накинул на все это легкое покрывало из хлопка, которым он накрывался, когда спал на палубе. Закончив, он зарядил два револьвера и забрался в одну из шлюпок «Сисси» на корме, вешшую на своих шлюпбалках. И стал ждать.

И тут снова в душу закралось сомнение, что все это действительно с ним происходит. Ему было почти стыдно за этот нелепый дозор в лодке. Ему стало скучно. Потом его начало клонить в сон. Неподвижность черной Вселенной утомила его. Не слышно было даже плеска воды: наступил отлив, и «Сисси» легла на топкое дно. Вдруг сквозь душную, глухую, теплую ночь из джунглей за рекой послышался крик фазана аргуса. Дэвидсон вздрогнул, и все его чувства мгновенно обострились.

Свеча в доме все еще горела. Все стихло, но Дэвидсону больше не хотелось спать. Тревожное предчувствие беды угнетало его.

«И вовсе я не боюсь», — спорил он сам с собой.

Тишина будто залепила ему уши, нервное напряжение росло, становясь почти невыносимым. Он приказал себе сохранять спокойствие, но готов был выпрыгнуть из лодки, чуть только едва ощутимая дрожь воздуха, слабое журчание в бесконечной тишине, призрачный отзвук серебристого смеха достигал его слуха.

«Показалось!»

Он сидел не шелохнувшись, почти как мышка — суровая, решительная мышь. Его не покидало предчувствие беды, не связанное даже с опасностью, которой он подвергался. Ничего не произошло. Ему только показалось!

Ему стало интересно, как они все-таки приступят к делу. Он прокручивал у себя в голове эти мысли, пока все это не показалось ему полным бредом и нелепицей.

Он, как обычно, оставил в каюте зажженный светильник. Это было частью его плана. Все должно было быть как обычно. Вдруг в тусклом свете фонаря громоздкая тень бесшумно поднялась по лестнице, сделала два шага в сторону гамака (он висел прямо над иллюминатором) и замерла на месте. Француз!

Время сразу пошло быстрее. Дэвидсон догадался, что обязанностью француза (бедный калека!) было следить за его, Дэвидсона, сном, пока остальные отпирают дверь кладовой.

Никому уже не узнать, что они собирались делать с серебром, когда до него доберутся (всего было десять ящиков, каждый с легкостью могли тащить двое мужчин). Но пока Дэвидсон был прав. Они пробрались в каюту. Дэвидсон ждал, что с минуты на минуту до него донесутся звуки взлома. Однако один из них (возможно, Фектор, кому не раз в свое время доводилось красть бумаги с рабочих столов) умел взламывать замки и, судя по всему, имел при себе подходящий инструмент. Так что пока Дэвидсон ждал, что вот-вот услышит, как начинается ограбление, они уже успели снять засов и вытащить два ящика из кладовой в каюту.

В рассеянном блеклом свечении иллюминатора француз стоял как статуя. Дэвидсон мог бы с легкостью его подстрелить, но он не хотел никого убивать. Кроме того, прежде чем открывать огонь, он хотел убедиться, что остальные уже занялись делом. Не услышав то, что он ожидал услышать, Дэвидсон засомневался, все ли грабители уже на борту.

Пока Дэвидсон прислушивался, француз, за неподвижностью которого, вероятно, скрывалась внутренняя борьба, сделал шаг. Затем еще один. Дэвидсон в оцепенении наблюдал, как он сделал упор на одну ногу, вынул из кармана правую, вооруженную, культю и, чтобы нанести в удар как можно больше силы, всем телом обрушил семифунтовый груз на то место в гамаке, где должна была лежать голова спящего.

Дэвидсон признавался мне, что в тот миг у него волосы встали дыбом. Если бы не Анна, его ничего не подозревающая голова лежала бы там. Француз буквально осоловел от неожиданности. Он отшатнулся от слабо покачивающегося гамака и, прежде чем Дэвидсон смог что-либо предпринять,

исчез, скатываясь вниз по лестнице, чтобы предупредить по-дельников.

Дэвидсон мгновенно выпрыгнул из шлюпки, открыл иллюминатор и едва разглядел внизу согнувшихся над люком грабителей. Они испуганно взглянули наверх, и в тот же миг француз за дверью завопил: «Trahison — trahison!»[•] Они бросились из каюты, спотыкаясь друг о друга и ужасно сквернословя. Выстрелив сверху, Дэвидсон никого не задел; тогда он взобрался на крышу надстройки и оттуда снова открыл огонь по темным, мечущимся по палубе силуэтам. Послышались ответные выстрелы; пальба, беспорядочные вспышки и разрывы заставили Дэвидсона укрыться за вентиляционной трубой и вести огонь, пока не слышались щелчки затвора. Отбросив уже бесполезный револьвер, Дэвидсон взял в правую руку второй.

Сквозь грохот Дэвидсон различал разъяренные крики француза «Tuez-le! Tuez-le!»^{••}, перемежавшиеся жуткими проклятиями в адрес сообщников. Они, конечно, стреляли по Дэвидсону, но думали только о том, как бы побыстрее убраться. В свете последних выстрелов Дэвидсон увидел, как грабители перебираются через леера. Он был уверен, что попал в цель больше одного раза. Бандиты на два голоса завопили от боли, но, судя по всему, оба остались на ногах.

Дэвидсон облокотился на фальшборт и не спеша перезарядил револьвер. Он был абсолютно уверен, что они больше не вернуться. Преследовать же их по темному берегу у него не было ни малейшего желания. Что они там делали, он понятия не имел. Наверное, зализывали раны. Неподалеку от отмени невидимый в темноте француз поносил своих сообщников, судьбу и весь мир. Он замолчал на секунду, а затем издал страшный вопль: «Эта женщина! Это она нас сдала!», — и убежал в ночь.

От внезапного осознания у Дэвидсона перехватило дыхание. Он с ужасом понял, что его тактическая хитрость выдала Анну с головой. Он не сомневался ни секунды. Теперь его

- Измена — измена! (*франц.*).
- Убейте его! Убейте его! (*франц.*).

очередь ее спасти! Он спрыгнул на берег. Не успел он коснуться причала, как услышал леденящий кровь вопль, насквозь пронзивший его душу.

В хижине все еще горел свет. Дэвидсон с револьвером в руке уже направлялся к ней, но очередной вопль, раздавшийся слева, заставил его сменить направление.

Дэвидсон пошел на крик, но вскоре снова остановился в нерешительности. Эта нерешительность стоила ему дорого. Он догадался, что именно произошло. Хохотушке удалось выбраться из дома, и теперь по открытой местности ее преследовал разъяренный француз. Дэвидсон надеялся, что она попытается укрыться на «Сисси».

Все замерло вокруг Дэвидсона. Даже если Анна не добралась до корабля, тишина означала, что в темноте ей удалось ускользнуть от француз.

Дэвидсон выдохнул, но, по-прежнему пребывая в ужасном беспокойстве, направился к реке. Он не ступил и пары шагов, как крик разорвал тишину снова где-то неподалеку от дома.

Дэвидсон подумал, что француз наверняка потерял след бедной женщины. Потом воцарилась тишина. Но страшный головорез не оставил своего кровавого замысла. Француз рассудил, что Анна попытается проскользнуть обратно к ребенку, и решил притаиться за домом в ожидании жертвы.

Скорее всего, было так. Когда она вступила в косою луч света по приставленной к дому лестнице, жаждущий мести калека накинулся на нее. Увидев француз, Анна снова издала тот пронзающий душу вопль и бросилась бежать, спасаясь от смерти.

В этот раз она бежала к реке, но не по прямой. Ее крики и вопли кружили вокруг Дэвидсона. Он тотчас развернулся и побежал в темноту, ориентируясь только на звук. Он хотел закричать: «Сюда, Анна! Я здесь!» — но не мог. Горло у него пересохло, и пот проступил у него на лбу от этой погони, невидимой и оттого еще более жуткой. Последний и самый громкий крик Хохотушки внезапно оборвался.

Наступившая тишина пугала еще больше. Дэвидсону стало дурно. Он с трудом оторвал ноги от земли и пошел вперед,

вперив взгляд в темноту и не выпуская из руки револьвер. Внезапно в паре ярдов от него громоздкая фигура выскочила как из-под земли и скрылась во мраке. Он инстинктивно выстрелил и побежал вдогонку, но тут же растянулся на земле, споткнувшись обо что-то мягкое.

Еще в падении он понял, что он споткнулся о тело Хохотушки Анны. Дэвидсон приподнялся и, стоя на коленях, попытался взять ее на руки. Почувствовав, как обмякло ее тело, он оставил свои попытки. Анна лежала лицом вниз, ее длинные волосы рассыпались по земле. Некоторые локоны намокли. Дэвидсон ощупал голову и обнаружил место, где в проломленном черепе утопали пальцы. Он и без этого знал, что Анна мертва. Француз сбил ее с ног ударом сзади и, навалившись ей на спину, бил ее гирей по голове, той самой гирей, которую она сама привязала к его культе, пока вдруг не явился Дэвидсон и не спугнул его.

Дэвидсон склонился над забитой до смерти женщиной, его мучали угрызения совести. Она умерла за него. Он как будто утратил мужество. Впервые он почувствовал страх. В любой момент из темноты его мог атаковать убийца Хохотушки Анны. Он признавался мне, что у него промелькнула мысль просто бросить это несчастное тело и уползти от него на четвереньках к кораблю. Он признавался, что даже начал ползти...

Сложно представить себе Дэвидсона, ползущего на своих четырех от тела убитой женщины, — он был ошарашен и разбит, ведь в каком-то смысле она отдала свою жизнь за него. Но далеко уйти он не мог. Его остановила мысль о сыне Хохотушки, точнее ее слова, Дэвидсон запомнил их в точности, что ему в жизни не досталось ни малейшего шанса.

Жизнь маленького человека, которого эта женщина оставила одного, предстала в сознании Дэвидсона осененной священным долгом. Он встал на ноги и, все еще испытывая внутреннюю дрожь, повернулся и пошел к дому.

Несмотря на все ужасы этой ночи, Дэвидсон был настроен очень решительно; и все же раздробленный череп Анны так поразило его воображение, что он чувствовал себя беззащитным

в окружавшей его тьме. То тут, то там ему мерещились шаги безрукого убийцы. Но от цели он не отклонился. И все-таки добрался до мальчика. В доме было пусто. Полнейшая тишина сопровождала его на всем пути, и лишь когда он уже спускался по лестнице с Тони в руках, слабый стон достиг его ушей. Звук как будто доносился из темноты между сваями, на которых стоял дом, но проверять Дэвидсон не стал.

Нет нужды подробно рассказывать, как Дэвидсон взошел на корабль с бременем, которое злая судьба Анны бросила ему на руки; как на следующее утро его перепуганная команда издали наблюдала за положением дел на судне, прежде чем вернуться на борт; как Дэвидсон сошел на берег и вместе со своим до смерти перепуганным инженером замотал тело в хлопковую простыню и оставил на борту, чтобы позже похоронить в море. Занятый своими благородными делами Дэвидсон заметил большую кучу белого тряпья, что валялась возле угловой опоры дома. То, несомненно, был француз. Вспомнив ночной стон, Дэвидсон понял, что его наудачу выпущенная пуля стала для убийцы несчастной Анны смертельной.

Что до остальных, то Дэвидсону никто из них больше на глаза не попался. Они как сквозь землю провалились — может, укрылись в замершем от страха селении, удрали в лес или спрятались на прау Никласа, которая завязла в иле примерно в сотне ярдов выше по течению; Дэвидсону не было до них дела. С приливом он, не медля ни минуты, вывел «Сисси» в море. Удалившись от берега миль на двадцать, Дэвидсон (по его собственным словам) «предал тело воде». Он все сделал сам. Сам привязал пару колосников для веса, сам прочел молитву, сам опустил тело в воду и был на этих похоронах единственным скорбящим. И пока он отдавал последний долг умершей, ее разрушенная жизнь и страшная смерть громко зывали к его состраданию, исподволь внушая чувство вины.

Ему следовало серьезнее отнестись к ее предостережению. Теперь он был убежден: чтобы остановить эту гнусную трусливую шайку, достаточно было продемонстрировать свою бдительность. Но в тот момент он просто не верил, что они вообще на что-то решатся.

После того как Дэвидсон предал тело Хохотушки Анны воде примерно в двадцати милях к юго-юго-западу от мыса Салетан, перед ним встала еще одна задача: передать ее сына на попечение жене. И тут бедняга Дэвидсон совершил непоправимую ошибку. Он не хотел рассказывать ей эту жуткую историю во всех подробностях: слишком велика была опасность, которой ему удалось избежать. А ведь всего несколько дней до этого он лишь посмеивался в ответ на ее необоснованные опасения.

«Я думал, что если ей все рассказать, — объяснял он мне, — то впредь она не будет находить себе места, пока я в рейсе».

Он просто сказал, что мальчик — сирота, сын людей, которым он, Дэвидсон, очень многим обязан и имеет моральное обязательство поставить его на ноги. Придет время, и он расскажет ей все, а пока он рассчитывает на ее доброту, сердечную мягкость и естественное для женщины сострадание.

Он же не знал, что сердце у нее не больше сушеной горошины и теплоты в нем соответственное количество, а сострадание она способна испытывать разве что к себе. Однако его напугала и расстроила ее реакция на его далекую от совершенства историю — то было холодное удивление и подозрительный взгляд. Но она ничего не сказала. Ей и сказать-то было особо нечего. Безнадежная безмолвная дурочка.

Версия, которую разнесли по малайскому городу его матросы, не вписывается вообще ни в какие рамки. Сам Дэвидсон, помимо официального доклада начальнику порта, доверил эту историю нескольким друзьям.

Начальник порта был немало поражен этим происшествием. Тем не менее он предпочел не отправлять голландскому правительству официальную ноту, поскольку после длительной переписки и многих хлопот они, вероятнее всего, ничего не предпримут. Грабежа-то в итоге не случилось. А бродяги уже наверняка пошли своей дорогой ко всем чертям. Никакая суета не вернет к жизни несчастную женщину, а с ее убийцей по справедливости расправился Дэвидсон, выстрелив наугад. Правильнее будет это дело замять.

Как бы здраво ни рассуждал начальник порта, он был под большим впечатлением.

«Экая жуть, капитан Дэвидсон!»

«И не говорите», — согласился мучимый чувством вины Дэвидсон. Но самая жуть ждала его впереди, о чем он еще даже не подозревал: в мозгу его глупой женушки постепенно складывалась уверенность, что Тони — это сын Дэвидсона, а эту нескладную историю он придумал, чтобы вопреки всем приличиям привести бастарда в ее честный дом, поправ тем самым и нравственность, и ее самые сокровенные чувства.

Дэвидсон, конечно, отметил некоторую напряженность в семейных отношениях. Но она никогда не выражала своих чувств открыто. Возможно, для тихого Дэвидсона такая холодность отчасти и составляла ее очарование. Женщин ведь любят за разное и нередко за качества, которые иным покажутся отталкивающими. Она же наблюдала за ним и лелеяла свои подозрения.

И вот однажды к милейшей миссис Дэвидсон зашел Ричи Обезьянья-Морда. Она прибыла сюда под его крылом, и он считал себя приближенной особой, ее первым другом в этом тропическом крае и самым большим почитателем ее неоспоримых достоинств. Да и язык у него без костей. Не зная всех подробностей, он заговорил об этой истории, полагая, что уж она-то знает все. И в какой-то момент упомянул Хохотушку Анну.

«Хохотушка Анна? — миссис Дэвидсон аж вздрогнула. — Это что такое?»

Ричи тут же пустился в многословные и уклончивые объяснения, но она довольно быстро его оборвала. «Оно мертво — это создание?» — спросила она.

«Полагаю, — заикаясь ответил Ричи. — Так говорит ваш муж».

«Но наверняка вы не знаете?»

«Нет! Откуда мне знать, миссис Дэвидсон!»

Когда Дэвидсон пришел домой, она уже была готова обрушиться на него, но не с многоречивым негодованием, как это обычно бывает. Ее недовольство больше походило на пытку, когда на темя каплет холодная вода. Она стала говорить о его гнусной интрижке с этой падшей женщиной, о том, как он ее дурачил, как оскорбил ее достоинство.

Дэвидсон умолял выслушать его и рассказал ей все как было, рассчитывая, что история тронет ее каменное сердце. Он старался объяснить ей, почему он чувствует свою вину. Она дослушала, произнесла: «Да уж!» — и повернулась к Дэвидсону спиной.

«Ты что, мне не веришь?» — в ужасе спросил он.

Она не сказала ни да ни нет. Только процедила: «Немедленно отошли это отродье подальше».

«Я не могу выбросить его на улицу, — вскричал Дэвидсон. — Ты шутишь?!»

«Меня это не волнует. Для таких детей существуют богоугодные заведения».

«Этому не бывать», — ответил Дэвидсон.

«Вот и хорошо. С меня довольно».

После этого разговора дом Дэвидсона стал похож на безмолвный ледяной ад. Недалекая женщина в праведном гневе — это хуже, чем спущенный с цепи чертяга. Он отправил мальчика Белым отцам в Малакку. Обучение там стоило не очень дорого, но она так и не простила ему, что он не смог избавиться от неугодного ребенка раз и навсегда. Она все пестовала в себе чувство обманутой жены и оскорбленной невинности и распалась до такого предела, что однажды, в ответ на мольбы бедного Дэвидсона проявить благоразумие и не отравлять существование им обоим, повернулась к нему и с холодной яростью заявила, что даже его вид вызывает в ней отвращение.

Дэвидсон с его деликатностью и шепетильностью и не думал предъявлять права на женщину, которая не могла выносить его присутствия. Он склонил голову. И вскоре сделал все, чтоб она вернулась к своим родителям. Чего и требовало ее попранное достоинство. Кроме того, тропики ей никогда не нравились, а людей, среди которых ей пришлось жить в качестве супруги Дэвидсона, она втайне презирала. И вот ее чистая, ранимая и скудная душонка отправилась в направлении Фримантла. Дочку она, разумеется, забрала с собой. Что бедняга Дэвидсон стал бы делать с малышкой на руках, даже если б она согласилась оставить ее, что само по себе немыслимо.

Такова история, из-за которой Дэвидсон утратил свою былую улыбку. Возможно, перемена в нем могла и не быть столь разительной, не будь он таким хорошим человеком.

Холлис закончил. Но, прежде чем подняться из-за стола, я спросил, знает ли он, что произошло с сыном Хохотушки Анны.

Тщательно пересчитав выданную китайским официантом сдачу, он поднял голову.

— О, да. Это вишенка на торте. Как вам уже известно, мальчуган он был смысленый и разговорчивый, и в его воспитании отцы особенно усердствовали. В глубине души Дэвидсон надеялся, что Тони станет ему утешением. При всей его сдержанности, он из тех людей, кому без любви и привязанности живется несладко. В общем, Тони вырос в прекрасного юношу — и вот те на! Решил стать священником и мечтает о миссионерской службе. Отцы уверяют Дэвидсона, что это — его призвание. И что он как раз обладает необходимыми для миссионера качествами. Так что вскоре мальчуган Хохотушки Анны заживет жизнью святого где-нибудь в Китае; а может, еще и мучеником станет. А бедняга Дэвидсон останется совсем один. И когда он встретит старость, подле него не будет ни единого любящего сердца. А все из-за чертовых долларов.

Январь 1914

Князь Роман

«Семьдесят лет — вероятно, слишком большой срок, чтобы события того времени прились к слову в обычной беседе. Но 1831 год вошел в нашу историю как один из тех роковых рубежей, когда под бездеятельный ропот и велеречивые причитания всего мира мы в который раз пробурчали „горе побежденным“ и принялись скорбно подсчитывать потери. Впрочем, счет нам никогда не давался, ни в радости, ни в печали. Этот урок мы так и не усвоили, к вящему негодованию врагов, окрестивших нас неисправимыми...»

Говорил поляк, то есть человек, принадлежавший к нации не столько живой, сколько выживающей, к народу, который продолжает мыслить, дышать, говорить, надеяться и страдать даже погребенный под спудом трех империй за оградой из миллионов штыков. Речь шла об аристократии. Каким образом разговор коснулся столь сомнительной в наши дни темы? С тех пор прошли годы, и воспоминания мои поблекли. Но я помню, что мы не рассматривали аристократию в практическом смысле, как часть социального состава. Скорее всего, на эту тему нас вывел разговор о таком неоднозначном явлении, как патриотизм, — чувстве, в котором наши утонченные гуманисты видят лишь пережиток варварства. Однако же ни великий флорентийский живописец, в смертный час вспоминающий свой город, ни Святой Франциск, последним дыханием благословляющий Ассизи, не были варварами. Чтобы понять патриотизм и оценить его по достоинству, нужна определенная ширина души — или же искренность, несовместимая с вульгарной изощренностью современной мысли — мысли, которая не

приемлет возвышенной простоты чувств, проистекающих из самой природы вещей и людей.

Мы говорили о самых благородных, о великих фамилиях Европы; не о тех, кто обнищал, осовременился или опростился, но о том исключительном и своеобразном классе, представители которого действуют и ведут себя без всякой оглядки на успех, выгоду и даже репутацию.

Мы рассудили, что лишённые неоспоримого права лидерства аристократы с их богатствами, широкими связями, простирающимися далеко за пределы одной страны, высоким статусом, в котором куда больше риска, чем преимуществ, оказались в сложном положении во времена политических смут и народных волнений. Рожденные повелевать и утратившие эту роль, составлявшую самую суть аристократии, теперь они только и могут, что держаться в стороне от великих проявлений народных страстей. К такому выводу мы пришли, когда речь зашла о 1831 годе и были упомянуты дела давно минувших лет. Рассказчик продолжил:

«Это было так давно, что я, конечно, не мог быть знаком с князем Романом лично. Временами я уже чувствую себя старцем, но всё же не настолько древним. На самом деле, когда князь Роман женился, мой отец только появился на свет. Дело было в 1828 году. Деятнадцатый век был молод, а князь и того моложе, хотя насколько именно, мне неизвестно. В любом случае это был ранний брак и во всех отношениях идеальный союз. Невеста была молода и красива; сирота, но при этом — наследница знатного имени и огромного состояния. Князь, в то время гвардейский офицер, выделявшийся среди сослуживцев некоторой задумчивостью и сдержанностью, был сражен наповал ее красотой и обаянием, серьезностью мыслей и глубиной чувств. Он был немногословен, но его взгляды, поведение, все его естество выражали абсолютную преданность даме сердца, преданность, на которую она отвечала взаимностью, в своейственной ей откровенной и обворожительной манере.

Пламя этой чистой молодой страсти, казалось, будет гореть вечно. И на несколько месяцев оно даже озарило чопорную, циничную атмосферу высшего петербургского света.

Император Николай, тот, что не пережил Крымской войны, дед нынешнего царя и, пожалуй, последний самодержец, свято веривший в свое божественное предназначение, проявил личный интерес к молодой супружеской паре. Хорошо известно, что Николай бдительно следил за жизнью польской аристократии. Молодые люди, хоть и вели подобавшую их положению жизнь, были совершенно поглощены друг другом. А общество, очарованное искренностью их чувства, которое безмятежно скользило меж светских условностей, ужимок и претенциозной ажитации, наблюдало за ними с доброжелательной снисходительностью и даже умилением.

Свадьба в столице стала одним из главных светских событий 1828 года. Спустя сорок лет я гостил в усадьбе брата моей матери, что в наших южных провинциях. Стояла глухая зима. Огромная лужайка перед домом была чистой и гладкой, как альпийский склон; белая пуховая равнина, сверкая под солнцем, будто посыпанная алмазной пылью, полого спускалась к озеру — длинной, извилистой полоске замерзшей воды, синеватой и казавшейся более твердой, чем земля. Холодное яркое солнце скользило низко над холмистым горизонтом, где в глубоких снежных складках скрывались, подобно веренице лодок среди морских волн, селения украинских крестьян. И все это было совершенно неподвижно.

Сейчас я и не припомню, как мне удалось ускользнуть из классной комнаты в одиннадцать часов утра. Мне было восемь, моя кухня была на несколько месяцев младше, и хотя по природе была горяча, рискованные затеи чаще приходили в мою голову. Так что убежал я один. И вот я очутился в огромной зале с каменным полом, отапливаемой белой изразцовой печью монументальных размеров. Там было намного приятнее, чем в классной комнате, которую по какой-то причине, возможно, из соображений гигиены, отапливали скверно.

Нам, детям, было известно, что в доме остановился гость. Он прибыл накануне, как раз когда нас пытались уложить. Мы прорвались через строй нянек и прилипли носами к черным окнам, но увидеть, как он высаживается, так и не успели. Видели только освещенный багряными всполохами большой

экипаж на полозьях, запряженный шестеркой лошадей. Чернея на белом снегу, он отъезжал к конюшне вслед за верховым, на длинной палке, притороченной к седлу которого, покачивался в железном ведре пылающий шар из просмоленной ветоши. Еще засветло двух мальчишек конюхов отправили санным путем встречать на закате ожидаемого гостя и освещать ему дорогу такими вот дорожными факелами. В те времена, как вы помните, в наших южных провинциях не было и мили железных дорог. Поезда и паровозы мы с кузиной видели только в книжках с картинками, для нас это было что-то смутное, очень далекое и представляющее интерес разве что для взрослых, которые ездят за границу.

О принцах, князьях и герцогах у нас, наверное, было более точное представление. Впрочем, почерпнутое из книжек, оно отражало очарование сказок, в которых принцы всегда были молоды, прекрасны, отважны и удачливы. При этом мы, как и все дети, умели безошибочно отличать реальность от выдумки. Нам было известно, что князья — это персонажи исторические. И в этом тоже таилось некое очарование. Но красться по дому, как сбежавший преступник, меня заставило другое; я рассчитывал повидать своего закадычного приятеля, главного лесничего, который обычно являлся с докладом примерно в это время; мне не терпелось услышать новости про некоего волка. В краях, где водятся волки, каждая зима выдвигает на авансцену новую особь, которая выделяется дерзостью своих злодеяний, совершенством своего, так сказать, сволочизма. Мне хотелось услышать новый захватывающий рассказ об этом волке, возможно драматичную историю его гибели...

Но в зале не было ни души. Обманувшись в своих надеждах, я вдруг очень загрустил. Вернуться в классную комнату ни с чем я не мог, поэтому предпочел уныло добрести до бильярдной, где никакого дела у меня, конечно же, быть не могло. Там тоже никого не было, и под высоким потолком, наедине с массивным столом для английского бильярда, который, казалось, в этой тяжелой прямолинейной тишине осуждал вторжение маленького мальчика, я почувствовал себя страшно растерянным и несчастным.

Я уже начал подумывать об отступлении, когда из прилегающей гостиной до меня донеслись шаги; прежде чем я успел, поджав хвост, ускользнуть, в дверях показались мой дядя и его гость. Сбежать, когда тебя уже заметили, было бы крайне невежливо, поэтому я решил принять удар. Дядя, увидев меня, явно удивился. Гость, худощавый мужчина среднего роста в наглухо застегнутом черном сюртуке, держался очень прямо, с солдатской выправкой. Из-под мягких складок шейного платка белого батиста выглядывали уголки воротника, подпиравшие выбритые щеки. Редкие пряди тонких седых волос были гладко зачесаны через лысую макушку. Его лицо, в молодости наверняка красивое, с годами сохранило гармоничную простоту черт. Меня изумила его ровная, едва ли не мертвенная бледность. Он показался мне эпическим старцем. От смущения я залился краской, на что он ответил почти неразличимой улыбкой, мимолетным движением тонких губ. Увидев, что он сунул руку в нагрудный карман сюртука, я стал следить за ним с большим интересом. Он достал свинцовый карандаш и отрывной блокнот и с едва заметным поклоном передал их дяде.

Я был сильно удивлен, но мой дядя воспринял это как нечто само собой разумеющееся. Он что-то написал, старец пробежал запись глазами и слегка кивнул. Худая морщинистая рука — она казалась старше, чем лицо, — потрепала меня по щеке и затем легко опустилась на мою голову. Глухой голос, бесцветный, как его лицо, донесся из впалого рта, в то время как глаза, темные и спокойные, добродушно смотрели на меня.

„Сколько же лет этому застенчивому малышу?“

Не успел я ответить, как дядя уже записал мой возраст в блокнот. Это произвело на меня невероятное впечатление. Что означает эта церемония? Неужели старец настолько велик, что никто не смеет с ним заговорить? Он снова заглянул в блокнот и снова кивнул, а я снова услышал этот бесстрастный механический голос: „Он похож на своего деда“.

Я помнил деда по отцовской линии. Он не так давно скончался. И тоже был эпически стар. Казалось вполне

естественным, что две столь почтенных и древних особы вели знакомство еще на заре мироздания, задолго до моего рождения. Однако для моего дяди это стало сюрпризом. Он не смог скрыть своего удивления, и механический голос пояснил: „Да-да. Мы были товарищами по 31-му. Он был одним из посвященных. Давно это было, мой дорогой пан, очень давно...“

Он махнул рукой, словно пытался отогнать навязчивое видение. И теперь оба смотрели на меня сверху вниз. Неужели они ждут чего-то от меня? — гадал я. Заметив вопрос в моих округлившись глазах, дядя пояснил: „Он ничего не слышит“. А безучастный, невыразительный голос сказал: „Дай мне руку“.

Стыдясь своих измазанных чернилами пальцев, я робко протянул ладошку. Никогда прежде не видал я глухого человека и был весьма поражен. Он сильно сжал руку и напоследок погладил меня по голове.

Дядя с важностью сообщил мне: „Ты пожал руку самому князю Роману С***. Когда вырастешь, еще будешь вспоминать об этом“.

Меня поразила его интонация. Из истории я смутно помнил, что князья С*** были одними из великих князей Рутении до присоединения всех рутенских земель к Королевству Польскому, и к началу XV века стали крупными польскими магнатами. Но больше всего меня взволновало несоответствие сказочной легенды и реальности. Знакомство с глухим, лысым, тощим, эпически старым князем обескуражило меня. Я и представить не мог, что этот солидный, обманувший мои ожидания старик был когда-то молодым, богатым, красивым; не знал я, и что он был счастлив в удачном браке, соединившем два юных сердца, две знатные фамилии и два огромных состояния; счастлив так, что счастьем его, казалось, предначертано, как в сказке, длиться вечно...

Но вечно оно не длилось. Оно оказалось кратким даже по меркам срока, отведенного человеку на этой земле, где долгое счастье случается только в финалах сказок. У пары родилась дочь, и вскоре после этого здоровье молодой княгини

пошатнулось. Некоторое время она переносила болезнь с улыбкой, и чувство, что теперь от ее существования зависит счастье двоих, придавало ей сил. В конце концов муж, глубоко обеспокоенный стремительными переменами в ее облике, получил бессрочный отпуск и увез ее из столицы в имение своих родителей.

Самочувствие любимой невестки крайне взволновало старого князя и княгиню. Тотчас же начались приготовления к поездке за границу. Но ехать, по-видимому, было уже слишком поздно — сама больная воспротивилась этому мягко, но решительно. Худая и бледная, она сидела в огромном кресле, а коварная и необъяснимая нервическая болезнь снедала ее, с каждым днем делая все слабее и меньше, но не могла ни погасить улыбку в ее взгляде, ни лишить изящества и очарования ее изможденное лицо; молодая княгиня цеплялась за родную землю и хотела дышать родным воздухом. Только здесь она могла быстро пойти на поправку, только здесь — легко принять смерть.

Она умерла, когда дочке не исполнилось и двух лет. Супруг погрузился в глубокую скорбь, он не промолвил ни слова, не проронил ни слезы, и это тревожило его родителей еще больше. После похорон, когда окружившая фамильную часовню толпа крестьян с непокрытыми головами начала расходиться, князь, распрощавшись с друзьями и родственниками, остался в одиночестве смотреть, как местные каменщики закладывают семейный склеп. Когда в стену лег последний камень, у князя вырвался стон — впервые за все эти дни он проявил свою боль. Поникнув головой, он удалился и заперся на своей половине.

Родители опасались за его рассудок. Его внешнее спокойствие пугало их. Им оставалось уповать только на его молодость, которой теперь и объяснялись его замкнутость и столь сильное, всепоглощающее отчаяние. Старый князь Ян, издерганный, встревоженный, повторял: „Бедного Романа надо как-то взбодрить. Он так молод“. Но они не могли придумать, чем его взбодрить. А старая княгиня лила слезы и в душе жалела, что он уже не так юн, чтобы прийти и поплакать у нее на коленях.

Со временем князь Роман стал иногда присоединяться к кругу семьи, хоть и не без усилий. Однако сердце его и разум, казалось, были погребены в семейном склепе рядом с женой, которую он потерял. У него появилась привычка бродить по лесу с ружьем, и по вечерам один из егерей, что тайком присматривали за ним, докладывал: „Его Светлость не сделал ни единого выстрела за весь день“. По утрам он иногда приходил в конюшню, приглушенным голосом приказывал седлать, ждал, постукивая хлыстом по голенищу, пока подведут, затем, не проронив ни слова, садился на лошадь, шагом выезжал за ворота и пропадал на весь день. Его видели в разных местах, он не смотрел по сторонам, был бледен и держался в седле неподвижно, словно каменный всадник на живом постаменте.

С полей — с необъятных, неогороженных пространств — за ним присматривали крестьяне. Бывало, исполненная сочувствия старуха, сидя на пороге крытой соломой хаты, осенит его спину крестным знамением, как если бы он был один из них — простой деревенский мужик, сраженный горьким несчастьем.

Он скакал, не глядя по сторонам, не замечая никого, — как будто вся земля враз опустела, погребя все человечество в могиле, так неожиданно разверзшейся на его пути и поглотившей его счастье. Что ему эти люди с их радостями, печальями, трудами и страстями, когда та, что была для него всем миром, ушла так скоропостижно? Их для него просто не существовало; и если бы не эти места, где он родился и провел счастливые мальчишеские годы, он бы чувствовал себя как в страшном сне: таким же безгранично одиноким и покинутым. А места эти он знал хорошо — каждый пригорок, каждую кучу дерев, возвышавшуюся среди пашен, каждую лощину, каждую деревушку, спрятанную в ней. Запруженные реки образовали в зеленых лугах цепь озер. Далеко на севере раскинулись навстречу солнцу обширные литовские леса, кромкой, отсюда — не выше плетней; а на юге, в сторону равнин, огромные бурые пространства земли соприкасались с голубым небом. Родной пейзаж напоминал о тех временах, когда князь

не знал печали и сомнений. Для того чтобы ощутить на себе целебное действие этой земли, ему даже не нужно было ее видеть. Она облегчала его страдания, как утешает в тяжелые часы жизни молчаливое присутствие старого друга, не требующего к себе внимания.

Как-то после полудня князь, направив коня к дому, заметил стелившееся по земле облако темной пыли, которое наискось пересекало пейзаж. Он остановился на пригорке, пригляделся. То тут, то там в облаке тускло мерцала сталь, в нем что-то двигалось, и вскоре он рассмотрел длинную вереницу деревенских телег с солдатами; они ползли по две в ряд под конвоем верховых казаков. Все это было похоже на ползущую по полям гигантскую гадюку; ее голова скрывалась из виду в неглубокой ложине, а хвост извивался и сокращался, пока монстр медленно прогрызал себе путь в самое сердце края.

Князь повернул к деревне, стоявшей слегка в стороне от большака. Придорожная корчма с конюшней, коровником и амбаром под одной гигантской соломенной крышей напоминала кривого, горбатого, косматого великана, развалившегося среди низеньких крестьянских хат. Корчмарь, грузный величавый еврей в атласном черном сюртуке до пят, подпоясанным красным кушаком, стоял в дверях, поглаживая длинную серебристую бороду.

Он проследил глазами за князем и, когда тот подошел, степенно поклонился в пояс, даже не рассчитывая быть замеченным — всем было хорошо известно, что молодой господин в горе и ему ни до чего нет дела. Так что он порядком удивился, когда князь приблизился и спросил:

„Что все это значит, Янкель?“

„Это, видите ли, ваше сиятельство, пехотные войска. Их перебрасывают на юг“.

Он осторожно осмотрелся и, не заметив никого, кроме детей, возившихся в пыли деревенской улочки, подошел к стремени.

„Разве ваше сиятельство не знает? Так ведь уже началось. Все помещики, крупные и мелкие, взялись за оружие, и даже

простые люди поднялись. Вот вчера проходил шорник из Гродека (это крошечный городок неподалеку), шел с двумя учениками, желает присоединиться. Вон даже подводу у меня оставил. Я дал ему провожатого. Вы знаете, ваше сиятельство, наши люди много путешествуют, они все подмечают, и все дороги им известны“.

Он пытался справиться с волнением: еврей Янкель, хозяин корчмы и арендатор всех мельниц в поместье, был польский патриот. И еще более тихим голосом он продолжил:

„Я уже был женат, когда французы и другие народы прошли здесь за Наполеоном. Ой-вей! Смерть собрала тогда хороший урожай! Может, на сей раз Бог нам поможет“.

„Может быть“, — кивнул князь. Впав в глубокие раздумья, он отпустил поводья, и лошадь повезла его домой.

Той же ночью он написал письмо и с самого утра отправил верхового на почту. Днем, к огромной радости родных, он оставил свою замкнутость и обсудил с отцом недавние события — варшавское восстание, бегство Великого князя Константина, первые ненадежные успехи польской армии (тогда еще была польская армия), мятежи в провинциях. Это встревожило и обеспокоило старого князя Яна. Отстаивая сугубо аристократическую точку зрения, он высказывал недоверие народному движению, не одобрял демократических устремлений и отказывался верить в возможность успеха. Его угрюмость скрывала внутреннее волнение.

„Давай рассуждать здраво. Это безрассудное предприятие нарушило все установления закона и порядка во имя пустых иллюзий. Бывают, конечно, патриотические порывы...“

Князь Роман слушал внимательно. Он воспользовался паузой и спокойно поведал отцу, что еще утром отправил в Петербург рапорт об отставке из гвардии.

Старый князь не отвечал. Он считал, что с ним непременно должны были посоветоваться. Его сын состоял офицером при императоре, и он знал, что царь никогда не простит польскому аристократу уклонение от службы. Он с недовольством указал сыну, что тот и так в бессрочном отпуске. Правильней всего было бы не высовываться. При дворе слишком хорошо

знают, что такое хороший тон, поэтому человека его положения не станут призывать на службу. В худшем случае он сможет попроситься служить подальше, где-нибудь на Кавказе, в стороне от этой злосчастной борьбы, ошибочной в самой сути и потому обреченной на поражение.

„Эдак вы останетесь без занятия и без всякого смысла в жизни. А вам нужно будет чем-то себя занять, мой бедный мальчик. Боюсь, вы поторопились“.

Князь Роман тихо проговорил: „Я все обдумал как следует“. Старый князь спасовал под его прямым взглядом.

„Что ж, возможно! Но как офицер при императоре, пользующийся расположением царствующей фамилии...“

„Об этой фамилии никто и не слышал, когда наш род был уже знаменит“, — пренебрежительно бросил молодой человек. Этими словами он задел нужную струну: старый князь был чуток к подобного рода замечаниям.

„Ну, может быть, все и к лучшему“, — наконец согласился он.

Отец и сын отправились ко сну, довольные друг другом. На следующий день, казалось, князь Роман вновь погрузился в пучину равнодушия. По обыкновению, он выехал на прогулку. Вспомнил, как за день до того глядел на ощетинившуюся штыками колонну солдат, ползущую подобно гадине по его земле. Женщина, которую он любил, тоже была его, но смерть отняла ее. Потеря любимой стала для него нравственным потрясением. Его сердце открылось для высшей скорби, ум — для более весомых мыслей; он стал иначе смотреть на прошлое и познал иную, наполненную горечью любовь, столь же загадочно неодолимую, как и прежнее чувство, на котором жижилось его счастье.

В тот вечер он ушел к себе раньше обычного и вызвал камердинера.

„Поди посмотри, горит ли свет у главного конюшего. Если он еще не лег, пригласи его ко мне на разговор“.

Отослав слугу с поручением, князь торопливо порвал какие-то бумаги, запер ящики письменного стола и повесил на грудь медальон с миниатюрным портретом жены.

Человек, которого дожидался князь, принадлежал прошлому, что ожило со смертью его любимой. Он происходил из семьи мелких дворян, которые из поколения в поколение были князьям С. верными сторонниками, преданными слугами и добрыми друзьями. Он еще помнил времена до последнего раздела и участвовал в борьбе до самого конца. Это был типичный поляк старой закалки, способный на подлинное чувство и слепую самоотверженность: боевой дух, простые убеждения и сверх того — старомодная привычка пересыпать речь латинскими выражениями. Добавьте к этому добрый проныцательный взгляд, красное лицо, высокий лоб и густые височные усы с проседью, и получите образцового представителя этой породы.

„Послушай, пан Франциск, — сказал князь просто, без церемоний. — Послушай, старый друг. Я собираюсь тихо исчезнуть отсюда. Я иду на зов, который заглушает мое горе, но при этом созвучен ему. Я открываюсь тебе одному. Когда настанет время, ты найдешь нужные слова“.

Старик все понял. Его распростертые руки задрожали немилосердно. Но стоило ему обрести дар речи, как он принялся в голос благодарить Бога, позволившего ему дожить до сего момента и увидеть юного отпрыска прославленной фамилии, подающего пример *согaм Gentibus*[•], как надо любить свою страну и отважно за нее сражаться. Нет никакого сомнения, что его дорогой князь добьется места, достойного его высокого происхождения, и в совете, и на поле брани; он уже видел как в *fulgore*^{••} фамильной славы *affulget patride serenitas*^{•••}. В конце речи он разрыдался и пал в объятия князя.

Князь успокоил старика и, усадив в кресло, дождавшись, пока схлынет волнение, продолжил:

„Не пойми меня превратно, пан Франциск. Тебе известно, как я любил свою жену. Такая потеря открывает глаза на истины, о которых ранее не задумывался. Речь не о том, чтобы возглавить борьбу или стяжать лавры. Я намерен пойти один

- Перед народами (*лат.*).
- В блеске (*лат.*).
- Воссияет благоденствием Родина (*лат.*).

и сражаться негласно, как простой солдат. Я готов отдать своей стране единственное, что у меня есть — свою жизнь, и сделаю это без всякой помпы, как шорник из Гродека, что проходил здесь вчера вместе с учениками“.

Старик громко возмутился. Этому не бывать. Он не позволит. Но ему пришлось уступить доводам и непреклонной решимости князя.

„А! Ну если вы говорите, что это дело убеждений и совести — тогда конечно. Но вам нельзя ехать одному. Увы, я слишком стар и ни на что не гожусь. *Stripit verba dolor*^{*}, мой дорогой князь, от мысли, что мне уже восьмой десяток и в бою я значу не более нищего на паперти. Похоже, мне остается лишь сидеть дома и молить Бога за страну и за вас. Но зато мой сын — младшенький, Петр, — станет вам достойным спутником. Так уж вышло, что он как раз сейчас здесь. Издавна повелось — ежели князь С*** рискует своей жизнью, то рядом с ним опорой ему всегда служит кто-нибудь из нашей фамилии. Вам обязательно нужен компаньон, который вас знает, чтобы мог хотя бы передать весточку родителям и старику-слуге. Когда же ваше сиятельство собирается выезжать?“

„Через час“, — ответил князь; и старик поспешил предупредить сына.

Князь Роман взял подсвечник и пошел неспешно по темному коридору спящего дома. Старшая гувернантка потом рассказывала, что, внезапно пробудившись, она увидела князя, склонившегося над детской кроваткой. Какое-то время он стоял и смотрел на дочь, рукой заслоняя свет пламени, затем поставил подсвечник на пол, наклонился и легонько поцеловал маленькую девочку, не прервав ее крепкого сна. Бесшумно он вышел из комнаты, свет скользнул вслед за ним. Она хорошо видела его лицо, но на нем не читались намерения. Он был бледен, но совершенно спокоен и, отойдя от кровати, больше уже не оборачивался.

Кроме старика и его сына Петра князь открылся только врею Янкелю. Когда тот осведомился, куда именно князь

* Не передать словами боль (лат.).

соизволил направиться, тот ответил: „К ближайшему отряду“. Внук еврея, долговязый малый, повел молодых людей тайными тропами через леса и болота и вывел к лощине, где были видны костры небольшого отряда на привале. Где-то заржали лошади, из темноты крикнули: „Кто идет?“ И молодой еврей спешно удалился, объяснив, что он должен успеть домой к шаббату.

Вот так, смиренно, в соответствии с простым представлением о долге, явившемся ему, когда смерть развеяла перед его глазами сияющую пелену счастья, князь Роман стал служить своей стране. Его спутник представился сыном главного конюшего князей С***, а князя назвал дальним родственником из тех же краев, и все решили, что и фамилия у него та же. В подробности никто не вдавался. В полку прибыло двое молодцов очевидно правильного толку. Ничего необычного.

На юге князь Роман не задержался. Однажды, отправившись с небольшим отрядом в разведку, он попал в засаду русской пехоты на въезде в деревню. Многие полегли от первого же залпа, остальные бросились врассыпную. Русские тоже отступили, опасаясь, что сейчас подтянется подкрепление. Некоторое время спустя крестьяне, пришедшие осмотреть место стычки, вытащили князя Романа из-под убитого коня. Он остался невредим, а вот его верный спутник пал одним из первых. Князь помог крестьянам похоронить его и других убитых.

Оставшись один и зная, что партизаны постоянно меняют позиции и найти их будет непросто, он решил примкнуть к основным силам польской армии, которая воевала с русскими на литовской границе. Две недели он брел, переодетый в крестьянскую одежду на случай встречи с мародерствующими казаками, пока не вышел к деревне, занятой сторожевым отрядом польской кавалерии.

На лавке перед крестьянской хатой видом почище сидел пожилой офицер, которого князь принял за полковника. Почтительно приблизившись, он обратился к нему, вкратце поведал свою историю и заявил о своем желании записаться в армию. Присмотревшись к новоприбывшему, офицер

спросил, как его зовут, и князь выпалил имя своего павшего товарища.

Пожилой офицер подумал: похож на сына деревенских помещиков из прогрессивных. Внешность Романа ему понравилась.

„А читать и писать ты умеешь, любезный?“ — спросил он.

„Умею, ваша благородие, обучен“, — ответил князь.

„Хорошо. Ступай в хату, там у нас полковая канцелярия. Адъютант запишет имя и приведет тебя к присяге“.

Адъютант долго смотрел на новичка, но ничего не сказал. Когда все бумаги были выправлены и рекрут вышел из хаты, адъютант повернулся к своему командиру.

„Знаете, кто это?“

„Кто? Этот Петр? Симпатичный малый“.

„Это князь Роман С***“

„Вздор“.

Но адъютант несколько не сомневался. Пару лет назад ему приходилось видеть князя в Королевском замке в Варшаве. Однажды он даже разговаривал с ним на офицерском приеме у великого князя.

„Он переменялся. Выглядит значительно старше, но я убежден, что это он. У меня хорошая память на лица“.

Два офицера молча переглянулись.

„Можно не сомневаться, что рано или поздно его узнают“, — пробормотал адъютант. Полковник пожал плечами.

„Какое нам дело до того, что ему вздумалось служить рядовым. И не факт, что его узнают. Все наши офицеры и солдаты родом из других краев“.

На некоторое время полковник впал в задумчивость, затем улыбнулся. „Он сказал, что умеет читать и писать. Ничто не мешает мне сделать его сержантом при первой возможности. За его продвижение по службе можно не беспокоиться“.

На должности младшего командира князь Роман превзошел ожидания полковника. Прошло совсем немного времени, и сержант Петр прославился своей находчивостью и отвагой. То была не безрассудная отвага доведенного до отчаяния человека, но неподвластная страху доблесть, за которой

чувствовалась осознанность и самообладание; то была безграничная, но сдержанная преданность, которую не могли поколебать ни время, ни превратности армейской жизни, ни разочарования бесконечных отступлений, ни горечь затухающих надежд, ни ужасы эпидемии, разразившейся вдобавок к обычным опасностям войны. Именно в тот год Европу впервые посетила холера. Она опустошала лагерь обеих армий, даже в крепчайшие умы вселяя ужас непостижимой смерти, бесшумно ползущей меж составленных в козлы ружей и бивачных костров.

Случалось, внезапный вопль будил изможденных солдат, и в свечении тлеющих углей они видели, как один из них корчится на земле, словно растоптанный невидимой ногой червяк. А к рассвету он уже лежал окоченевший и холодный. После такого, бывало, все вскакивали, бросали костер и в немом ужасе бежали в ночь. Или прямо на марше товарищ, который только что вышагивал рядом, вдруг запынчался посреди предложения, закатывал испуганные глаза и с искаженным лицом и синими губами падал, ломая судорожной агонией строй. Болезнь поражала людей в седле, в карауле, на линии огня, при выполнении приказа, во время стрельбы из оружия. Мне рассказывали, как в батальоне, который прямо под огнем противника с образцовым самообладанием готовился к штурму деревни, в самой голове колонны в течение пяти минут произошли три таких случая, и атака не состоялась, потому что передовые роты в беспорядке бросились врассыпную, словно мякина по ветру.

Среди солдат сержант Петр имел большой авторитет, несмотря на молодой возраст. Говорили, что в эскадроне, где он служил, дезертиров было меньше, чем во всей кавалерийской дивизии. Вероятно, настолько убедительным был его пример смиренного бесстрашия перед лицом опасности и ужаса. Как бы то ни было, в отряде его любили, ему доверяли. Когда дело уже шло к концу и оставшиеся части, теснимые со всех сторон, готовились пересечь прусскую границу, сержант Петр сумел сплотить вокруг себя группу солдат. Ночью ему удалось вырваться с ними из окружения. Двести миль

он вел свой отряд через заполоненные русскими войсками и разоренные холерой земли. Но все это не ради того, чтобы избежать плена, спрятаться и попытаться спастись. Нет, он привел их в крепость, которую все еще удерживали поляки и которой суждено было стать последним оплотом обреченной революции.

Это походит на чистый фанатизм. Но фанатизм свойственен человеку. Смертные всегда поклонялись беспощадным божествам. Эта беспощадность таится в любой страсти, даже в самой любви. Религия неугасимой надежды напоминает безумный культ отчаяния, смерти, уничтожения. Различие заключается в моральных побуждениях, проистекающих из тайных нужд и невысказанных стремлений приверженцев. Только для пустых людей все вокруг — тщета; и все — обман только для тех, кто никогда не был искренним с самим собой.

Как раз в этой крепости мой дед и оказался рядом с сержантом Петром. Семья деда жила по соседству с семьей С***, но сам он не был знаком с князем Романом, хотя тому, как выяснилось, его имя было прекрасно известно. Князь открылся ему однажды ночью, когда они сидели на крепостном валу, прислонясь к лафету.

Он хотел просить его об одной услуге — известить родителей, если его убьют.

Они говорили вполголоса, чтобы не разбудить спящих вокруг солдат. Дед пообещал выполнить просьбу, а затем спросил прямо, будучи весьма заинтригован внезапным признанием:

„Извольте, князь, но к чему такая просьба? У вас плохие предчувствия?“

„Вовсе нет. Просто не хочется оставлять родителей в неведении. Они понятия не имеют, где я, — ответил князь. — Если хотите, я могу оказать вам ту же услугу. Понятно, что как минимум половина из нас погибнет, так что наши с вами шансы пережить друг друга примерно равны“.

Тогда мой дед рассказал, где, по его представлениям, находились его жена и дети. С того момента и до конца осады они с князем держались друг друга. В ходе решающего штурма дед был серьезно ранен. Город пал. На следующий день сама

крепость, с переполненным умирающими и трупами лазаретом, с пустыми складами и без единого неотстрелянного заряда, открыла свои ворота.

В течение всей кампании князь, всякий раз бесстрашно рискуя жизнью, не получил ни царапины. Никто его не узнал или, по крайней мере, не выдал его имени. Пока он исправно исполнял свой долг, оно никого и не интересовало.

Однако теперь ситуация изменилась. Как бывший офицер императорской гвардии, этот повстанец имел все шансы привлечь к себе особое внимание — внимание расстрельной команды на расстоянии десяти шагов. Больше месяца он оставался неопознанным среди отчаявшихся пленных, которыми были забиты крепостные казематы. Чтоб душа как-то держалась в теле, им назначили паек, но от ран, лишений и болезней в день умирало человек по сорок.

Так как крепость находилась в центре страны, в нее поступали все новые партии пленных, захваченных в ходе окончательного усмирения. Среди таких новоприбывших оказался молодой человек, приятель князя со школьной скамьи. Он узнал его и в крайнем смятении воскликнул: „Боже мой! Роман, ты — здесь!“

Говорят, что за эту минутную несдержанность он поплатился годами отравленной угрызениями жизни. Все это случилось в главном дворе крепости. Предупреждающий жест князя не дошел вовремя, и жандармский офицер, услышав возглас, решил, что в деле стоит разобраться. Расследование не потребовало много времени и сил: в ответ на категоричное требование назвать свое настоящее имя князь сразу признался.

Донесение о том, что среди пленных обнаружен князь С***, отправилось в Петербург. Его родители уже были там, в страхе и неуверенности ожидая худшего. Столица империи оказалась наиболее безопасным местом для аристократа, чей сын столь таинственно пропал из дома как раз во время восстания. Уже много месяцев старики ничего не слышали ни от него, ни о нем. Они старались не противоречить слухам о самоубийстве от отчаяния, которые ходили в высшем свете, помнившем о примечательной любовной истории, об искреннем

и чарующем счастье, прерванном смертью. Однако втайне они надеялись, что сын их выжил и успел пересечь границу с той частью армии, что сдалась пруссакам.

Вести о его пленении стали для них сокрушительным ударом. Напрямую помочь ему было невозможно. И все же знатный род, положение, широкий круг знакомств и связей в высшем свете давали родителям возможность действовать окольными путями, и они, как говорится, горы свернули, дабы спасти сына от „последствий его безумия“, как, не колеблясь, выразался бедный князь Ян. Видные в свете фигуры обращались к влиятельнейшим особам, велись беседы с высокими сановниками, могущественных должностных лиц просили замолвить по этому делу словечко. В ход шли всевозможные тайные связи и влияния. Личные секретари получали солидные взятки. Крупная сумма досталась любовнице некоего сенатора.

Но, как я уже говорил, в таком громком деле нельзя просить напрямую и действовать в открытую. Единственное, что можно было сделать, — через третьих лиц склонить главу военного трибунала к проявлению милосердия. В итоге намеки и советы, получаемые из Санкт-Петербурга, иногда из самых высоких кругов, произвели на него должное впечатление. Да и благодарность представителей такой знатной фамилии, как князя С***, с точки зрения положения в обществе чего-то да стоила. Он был не только верным подданным его величества, но и добродушным человеком. Кроме того, ненависть к полякам не была тогда важнейшим элементом русского патриотизма, каковым стала лет тридцать спустя. С первого взгляда он проникся к этому молодому человеку: загорелый, с впалыми щеками, измученный долгими месяцами тяжелой кампании, тяготами осады и невзгодами плена, он вызывал в нем расположение.

Трибунал состоял из трех офицеров. Они сидели за длинным черным столом в пустой крепостной зале со сводчатыми потолками. По краям стола расположились писари, конвоиры привели князя, больше в помещении не было никого.

В этих четырех зловещих стенах, отгородивших князя от свободы со всеми ее запахами и звуками, от утешительных

иллюзий, от всякой надежды на будущее, один перед лицом своих врагов, ставших ему судьями, — мог ли он сохранить жизнелюбие? Что осталось от того чувства долга, что открылось ему в горе? От пробудившейся любви к родной стране? Стране, которая требует, чтобы ее любили, как ни одну другую, но это та скорбная любовь, что испытывают к умершему, которого невозможно забыть, и тот неугасимый огонь безнадежной страсти, который только живая, дышащая, неизбежная мечта может разжечь в нашей груди, принося с собой гордость, изнеможение, ликование, и погибель. Такие притязания Родины могут показаться непомерными, пока не увидишь, как ее сыны откликаются непоколебимой верностью без страха и упрека. Приближаясь к кульминации всей своей жизни, князь мог лишь чувствовать, что она вот-вот закончится. Он прямо и кратко, с глубочайшим безразличием отвечал на поставленные вопросы. После напряженных месяцев на линии огня речь изнуряла его. Но он не подавал виду, чтобы враги не могли заподозрить в нем глухого разочарования, упадка духа. Впрочем, подробности его поведения были уже не так важны; мыслями он был далеко от этого судилища. Князь сохранил неукоснительно учтивый тон и откасался сесть, когда ему было предложено.

О том, как проходили предварительные слушания, известно только со слов председателя. Придерживаясь единственно возможной тактики в этом очевидно проигрышном деле, он с самого начала попытался внушить князю, какой линии защиты тому следует держаться. Он выстраивал вопросы таким образом, чтобы вложить в уста подсудимого правильные ответы, и дошел до того, что уже предлагал ему точные формулировки: как, обезумев от непомерного горя после смерти молодой жены, в отчаянии неспособный отвечать за свои действия, в минуту слепого безрассудства, не осознавая в высшей степени предосудительный характер поступка, не говоря уже о его опасности и бесчестии, он, повинувшись внезапному порыву, присоединился к ближайшему отряду мятежников. И как теперь, раскаявшись...

Но князь Роман хранил молчание. Военные судьбы глядели на него с надеждой. Тогда он взял перо и написал на листе

бумаги, который оказался под рукой: „Я присоединился к народному восстанию согласно своим убеждениям“.

Он подвинул лист бумаги на противоположную сторону стола. Председатель взял его и поочередно показал коллегам, находившимся по правую и левую руку. Затем, не отводя глаз от князя Романа, он демонстративно выронил листок бумаги из рук. Мертвая тишина прервалась, только когда председатель приказал конвоирам увести арестанта.

Таким было письменное признание князя Романа в решающий момент его жизни. Я слышал, что князя С*** и все их ветви сделали слова „согласно убеждениям“ девизом на фамильном гербе. Я не знаю, достоверна ли эта информация, мой дядя не был уверен. Отметил только, что, по понятным причинам, на личной печати князя Романа такого девиза не было.

Его приговорили к пожизненной каторге на сибирских рудниках. Император Николай, который всегда лично рассматривал решения по делам польских аристократов, своей рукой написал на полях: „Всем уполномоченным лицам приказываю строго следить, чтобы этот каторжник прошел в цепях весь положенный путь без поблажек“.

Приговор обрекал его на медленную смерть. В шахтах людей погребали заживо, редко кто выдерживали более трех лет. Однако, когда по истечении этого срока стало известно, что он все еще жив, в ответ на прошение родителей и в виде исключительной милости ему было позволено служить рядовым на Кавказе. Любые контакты с ним были запрещены. Он был лишен всех прав. Он существовал только для страданий, для всего остального он как будто умер. Малышка, которую он так боялся разбудить, когда целовал ее в колыбели, по смерти князя Яна унаследовала все состояние. Ее существование спасло их обширные земли от конфискации.

Только через двадцать пять лет князь Роман, абсолютной глухой, с подорванным здоровьем, получил разрешение вернуться в Польшу. Его дочь вышла замуж за блестящего польско-австрийского вельможу и, вращаясь в космополитичных сферах высшей европейской аристократии, жила главным образом за границей — в Ницце и Вене. Он же поселился

в одном из ее поместий, не в том, что с роскошной резиденцией, а там, где стоял небольшой скромный дом. С дочерью он виделся крайне редко.

Но князь Роман отнюдь не закрылся от мира, как человек, свершивший на своем поприще все. Напротив, в частных делах и общественной жизни округи мало что делалось без его совета и помощи, к нему обращались все — и всегда не напрасно. Известно, что жизнь свою он посвятил согражданам. Особенно благоволил он бывшим ссыльным, которым помогал деньгами и советом, улаживал их дела и подыскивал средства к существованию.

От своего дяди я слышал много историй про самоотверженное служение князя, в котором он всегда руководствовался простой мудростью, высокой нравственностью и самими строгими представлениями о честности в делах — как личных, так и общественных. Благодаря той встрече в бильярдной, его образ до сих пор жив в моей памяти. Стремясь поскорее услышать рассказ про того сволочного волка, я мимолетно соприкоснулся с человеком, который, как никто другой, умел глубоко чувствовать, непоколебимо верить, любить всей душой.

До сих пор я вспоминаю это рукопожатие, когда князь своей костлявой, морщинистой рукой сжал мою покрытую чернилами ладошку, и наполовину серьезный, наполовину насмешливый взгляд моего дяди, когда тот смотрел на своего нашкодившего племянника.

Они пошли дальше и скоро позабыли о мальчишке. Я же не двинулся с места; я смотрел им вслед не то чтобы с разочарованием, скорее озадаченный этим князем, совсем не как из сказок. Они очень медленно двигались по комнате. У двери в следующую комнату князь остановился, и я услышал и, кажется, до сих пор слышу его голос: „Буду благодарен, если вы напишете в Вену о кандидате на этот пост. Это весьма достойный товарищ, и ваша рекомендация может стать решающей“.

Дядя повернулся к нему, лицо его выражало искреннее удивление. На нем недвусмысленно читалось: неужели

ей нужны какие-то еще рекомендации, помимо отцовской? Князь моментально уловил его выражение и снова заговорил с интонацией человека, долгие годы не слышавшего свой голос, в беззвучном мире которого обитают только молчаливые тени. Я до сего дня помню дословно, что он сказал: „Я прошу вас, потому что моя дочь и зять, видите ли, считают, что я не разбираюсь в людях. Им кажется, что я слишком доверяю чувствам“».

1911

Сказка

Сумеречный свет медленно угасал за единственным окном, и бесцветное свечение его огромного квадрата резко очерчивалось сгущающейся полутьмой комнаты.

Комната была длинной. Ночь неудержимым потоком устремлялась в ее глубину, туда, где взволнованный мужской шепот то прерывался, то с жаром звучал вновь, как будто разбиваясь о еле слышные, бесконечной грусти исполненные ответы.

И вот ответа не последовало. Тогда он медленно поднялся с колен над едва различимой широкой тахтой, на которой с трудом угадывался силуэт полулежащей женщины, и встал, вытянувшись почти до потолка. Темнота полностью поглощала его фигуру, и выделялся только белый воротничок, да тускло поблескивали медные пуговицы на мундире.

На мгновение он замер над ней — таинственный и мужественный в своей неподвижности, потом опустился на стоящий неподалеку стул. Он мог разглядеть лишь размытые очертания обращенного к нему лица и ее бледные руки, покоящиеся на черном платье. Еще мгновение назад эти руки отдавались его поцелуям, а теперь, словно после непосильного труда, оставались неподвижны.

Он не смел произнести ни звука, пасуя, как всякий мужчина, перед обыденной стороной существования. Как всегда, женщина оказалась смелее. Она первой нарушила тишину — голос ее звучал почти бесстрастно, в то время как сама она содрогалась от противоречивых чувств.

«Расскажи мне что-нибудь», — попросила она.

Полумрак скрыл его удивление и последовавшую улыбку. Разве он не сказал ей только что самые важные на свете слова — и уже не впервые?

«Что же мне рассказать тебе?» — спросил он успокаивающим ровным голосом. Он уже чувствовал благодарность за ту решительность в ее тоне, что ослабила напряжение.

«Расскажи мне сказку».

«Сказку?!» — искренне удивился он.

«Да. Почему бы и нет?»

Эти слова прозвучали слегка раздраженно, с оттенком сумасбродства обожаемой женщины, прихоть которой сколь непредсказуема, столь и обязательна к исполнению, даже если ставит в тупик.

«Почему бы и нет?» — повторил он с легкой насмешкой, как будто она попросила его достать луну. Теперь он даже немного злился на нее за легкость, с которой женщина сбрасывает эмоцию, как роскошное платье.

Он услышал, как она немного робко и с какой-то трепещущей интонацией, заставившей его задуматься о полете бабочки, произнесла:

«Раньше ты так хорошо рассказывал... рассказывал свои простые истории про... про службу. По крайней мере мне было интересно. До войны... до войны ты делал это просто... просто мастерски».

«Правда? — произнес он, невольно помрачнев. — Но сейчас, видишь ли, война», — продолжил он таким неживым, ровным тоном, что она почувствовала, как легкий холод коснулся ее плеч. Но она все же настаивала, ибо на свете нет ничего невыблемее женских капризов.

«Сказка может быть и не об этом мире», — пояснила она.

«Ты хочешь сказку об ином, о лучшем мире?» — деловито поинтересовался он. — Для этого придется вызвать тех, кто уже туда отправился».

«Нет. Я не об этом. Я имею в виду другой... не наш мир. В нашей вселенной — а не в раю».

«Это уже легче. Но ты забываешь, что у меня всего пять дней отпуска».

«Да, я ведь тоже освободилась всего на пять дней от... от своих обязанностей».

«Мне нравится это слово».

«Какое слово?»

«Обязанности».

«Порой это просто невыносимо».

«Это потому что тебе кажется, что они тебя ограничивают. А это вовсе не так. В обязанностях есть бесконечность и... и столько... всего...»

«Это у тебя цеховое».

Он не обратил внимания на шпильку. «Абсолютная индульгенция, например, — продолжил он. — А что до твоего другого мира: кто станет искать его, кому нужны его истории?»

«Ты», — сказала она с неожиданной для нее кокетливой категоричностью.

Едва заметным жестом он выразил согласие, иронию которого не смогла скрыть даже сгущающаяся темнота.

«Будь по-твоему. В том мире, стало быть, жили-были Капитан Корабля и Норман. С большой буквы, поскольку других имен у них не было. То был мир морей, островов, континентов...»

«Совсем как Земля», — разочарованно буркнула она.

«Да. Чего еще ждать, отправляя в путешествие к другим мирам человека, слепленного из того же траченного материала, что и все вокруг? Что он может там найти? Что понять, на чем остановить внимание? Как прочувствовать то, что недоступно его ощущениям? Так вот. Было в том мире место и комедии, и кровопролитию».

«Опять все как на Земле», — вздохнула она.

«Конечно. А поскольку во всей вселенной я вижу только то, что доступно моим ощущениям, была там и любовь. Но об этом мы говорить не станем».

«Да, не станем, — сказала она безразличным тоном, хорошо скрывавшим ее облегчение — а возможно, и разочарование. И после паузы добавила: — Пусть это будет смешная история».

«Что ж... — помедлил он. — Пожалуй. В каком-то смысле. Но это будет смех сквозь слезы. Это будет человеческая история; а комедия или трагедия — это как посмотреть, ты же

знаешь. В ней не будет лишнего шума. Пушки будут молчать — как молчат телескопы по всей земле».

«Ах, так, значит, пушки там есть! Интересно где?»

«На борту. Ты же помнишь, что в том мире, о котором мы говорим, свои моря. И еще в том мире шла война. До чего же глупое занятие! И все ужасно всерьез. Война бушевала на суше и на море, под водой, в воздухе и даже под землей. И многие молодые люди на этой войне, сойдясь в караульных или кают-компаниях, говаривали друг другу — прости за грубое слово — они говорили: „Идиотская война, но лучше уж такая, чем никакой вовсе“. Звучит легкомысленно, не правда ли?»

Из глубины дивана донесся нервный, раздраженный вздох, а он продолжил без паузы.

«И все же есть в этой легкомысленности нечто большее. За ней скрывается мудрость. Все кажется легкомысленным или комичным лишь на первый взгляд. Тот мир был не слишком благоразумным, но было в нем место и практической сметке. Правда, предприимчивость эту проявляли в основном те, кто сохранял нейтралитет, и за их работой на себя или на свое государство приходилось следить. Следить, напрягая острый ум и зоркий глаз. А глаза там нужны и вправду очень зоркие, уверяю тебя».

«Могу себе представить», — прошептала она с пониманием.

«Ты можешь представить себе все что угодно, — рассудительно произнес он. — Внутри тебя целый мир. Но вернемся к нашему Капитану, который, разумеется, командовал неким кораблем. Мои рассказы хоть и о службе (как ты давеча отметила), но в технические детали я никогда не вдаюсь. Просто отмечу, что когда-то это был щегольской корабль — бездна изящества, элегантности и роскоши. Да, было время! Теперь он был подобен красотке, которая обрядилась в мешковину и заткнула за пояс пистолеты. Но корабль был легкий, маневренный и все еще вполне себе ничего».

«Так считал Капитан?» — донесся голос с тахты.

«Да. Его часто отправляли патрулировать береговые линии и высматривать — все, что получится высмотреть. Не более

того. Иногда ему давали какие-то ориентировочные сведения, иногда нет. На самом деле разницы не было. Толку от этих сведений было не больше, чем если бы ты попыталась точно указать положение облака или предугадать намерения неуловимого фантома, возникающего то там, то здесь.

Это было в начале войны. На первых порах капитана удивляло, что облик вод никак не изменился. Их знакомое выражение не стало ни дружелюбнее, ни враждебнее. В погожие дни солнечные лучи все так же искрились в синеве; вдали, то там, то здесь, в воздухе мирно поднимались струйки дыма, и невозможно было поверить, что из любой точки знакомого чистого горизонта может нагрянуть опасность.

Да, в это трудно поверить, пока в один прекрасный день ты не видишь корабль — не твой, это как раз не так эффектно, — другой военный корабль, который внезапно взрывается и с тихим плеском уходит под воду быстрее, чем до тебя доходит, что на самом деле произошло.

И вот тогда у тебя не остается сомнений. Впредь ты будешь выходить на службу, чтобы смотреть и видеть — все, что сумеешь высмотреть, и жить с ощущением, что однажды погибнешь от того, что не смог разглядеть.

Тут позавидуешь солдатам, которые на исходе дня утирают с лиц пот и кровь и пересчитывают поверженных друзей, озирая разоренные поля и растерзанную землю, которая страдает и кровоточит вместе с ними.

Правда, позавидуешь. Предельной жестокости — отведенной на вкус первобытной страсти — безжалостной честности нанесенного удара — прямоте вызова и однозначности ответа. А вот в море ничего этого не было, оно будто делало вид, что с миром все в порядке».

Она перебила его, слегка взволнованно.

«О да. Прямота — честность — страсть — три столпа твоей веры. Мне ли не знать!»

«Подумать только! Разве мы не одной веры? — с тревогой спросил он и, не рассчитывая на ответ, тут же продолжил: — Вот что чувствовал Капитан. Ночь расстелилась над морем и, скрыв то, что походило на лицемерие старого друга, принесла

облегчение. Ночь делает слепым по правде — бывает, свет дня возненавидишь, как саму ложь. Ночью легче. Ночью Капитан мог наконец-то отпустить свои мысли — я не скажу тебе, куда именно. Куда-то, где нет другого выбора, кроме истины и смерти. А туман, хоть и ослеплял, но облегчения не приносил. Туман обманчив, его тусклое свечение невыносимо. Он внушает тебе, что там точно что-то есть.

В один мерзкий хмурый день корабль шел под парами вдоль опасного скалистого берега, черного, резко очерченного, будто нарисованного тушью по серой бумаге. В этот момент старший помощник обратился к Капитану. Ему показалось, будто он увидел что-то за бортом, со стороны, противоположной берегу. Что-то вроде обломка корабля.

— Но здесь вроде не должно быть обломков, сэр, — заметил он.

— Да, — ответил Капитан, — последние уничтоженные подлодками корабли затонули значительно западнее. Но кто знает. Могли быть и другие, о которых не сообщали и которых никто не видел. Раз — и пошел ко дну вместе со всей командой.

Так все и началось. Корабль изменил курс, чтобы подойти поближе и рассмотреть объект, насколько это возможно. Поближе, но не вплотную, потому что соприкасаться с неопознанными дрейфующими объектами не рекомендуется. Поближе, но не останавливаясь, даже не сбавляя скорость, поскольку стоять на месте пусть даже одну минуту в те времена было крайне неосмотрительно. Сразу оговорюсь, что объект сам по себе не представлял опасности. Незачем его описывать. Он мог быть не более примечателен, чем, скажем, какая-нибудь бочка. Но это был сигнал.

Длинная носовая волна подтянула объект чуть ближе, словно давая возможность рассмотреть его повнимательнее, после чего корабль, вернувшись на курс, безразлично повернулся к нему кормой, в то время как на палубе двадцать пар глаз пристально смотрели во все стороны, пытаясь хоть что-то разглядеть.

Капитан и старший помощник со знанием дела обсудили увиденное. Для них объект свидетельствовал не столько

о предприимчивости некой нейтральной стороны, сколько о ее активной деятельности. Деятельность эта нередко состояла в снабжении подводных лодок, находившихся в море. Таково было общее мнение в отсутствие прямых доказательств. Но сама сложившаяся в начале войны ситуация указывала на это. Объект, который они обнаружили, осмотрели и оставили с кажущимся безразличием, не оставлял сомнений в том, что неподалеку происходит нечто подобное.

Сам по себе объект был более чем подозрительный. Но то, что его бросили на виду, вызывало еще большие подозрения. Был ли здесь какой-то сложный и коварный умысел? Однако пускаться в долгие измышления на этот счет было без толку.

Наконец офицеры сошлись на том, что, скорее всего, имела место внештатная ситуация, вероятно, осложненная непредвиденными обстоятельствами. К примеру, необходимостью немедленно скрыться, что-нибудь в этом духе.

Они обменивались короткими вескими фразами, которые прерывали долгое напряженное молчание. И все это время они неустанно осматривали горизонт с доведенной до автоматизма бдительностью. Младший из собеседников мрачно подытожил:

— Что ж, это улика. Вот что это такое. Доказательство того, в чем мы и так не сомневались. Причем неопровержимое.

— И много же нам от него пользы, — возразил Капитан. — Союзники далеко, подлодка черт ее знает где с торпедами наизготове, а благородные нейтралы утекают на восток, с враньем наизготове!

Тон Капитана заставил старпома ухмыльнуться. Понятно было, что нейтралам даже не придется особо врать. Это такие типы, что если не схватить их с поличным, чувствуют себя довольно уверенно. Еще и погогочут, с них станется. Этот наверняка посмеивался. Очень может быть, он не первый раз в деле и плевать хотел на оставленные улики. Тут как: чем больше играешь, тем смелее ставки и больше выигрыш.

И он снова слегка ухмыльнулся. Но его капитан не терпел коварства и равнодушия жестоких соучастников убийства, которые оскверняли сам источник человеческих чувств

и благородных побуждений; искажали представления, на которых зиждутся понятия о жизни и смерти. Он страдал...»

Голос с тахты прервал рассказчика.

«Как мне это знакомо!»

Он слегка подался вперед.

«Да. Мне тоже. В любви и на войне все должно быть предельно ясно. Ясно как день, ведь и то и другое — служение идеалу, который так легко, так ужасно легко предать ради Победы. — Он помолчал и продолжил: — Я не уверен, что Капитан так углублялся в собственные чувства. Однако они мучали его — разочарование наводило на него тоску. Иногда он даже чувствовал себя дураком. Человек многогранен. Но времени для раздумий у Капитана не было: с юго-запада к его кораблю приближалась стена тумана. Огромные клубы пара летели по верху и обвивали трубу и мачты, которые словно начали таять. А затем и вовсе исчезли.

Судно встало, звуки стихли, туман завис и, сгустившись, стал будто осязаем в своей удивительной немой неподвижности. Вахтенные потеряли друг друга из виду. Шаги стали бесшумными; редкие голоса, нечеткие и обезличенные, глохли в толще тумана. Слепая белая неподвижность овладела миром.

Казалось, это надолго. Это вовсе не значит, что туман повсюду был одинаково густым. Время от времени он вдруг таинственным образом начинал редеть, и сквозь него члены экипажа могли разглядеть более или менее призрачный силуэт своего корабля. Даже очертания мрачного берега несколько раз всплывали перед их взорами в колеблющейся матовой пелене необъятного белого облака, прильнувшего к водной глади.

Во время таких прояснений корабль осторожно подошел ближе к берегу. Какой толк оставаться в открытом море, когда вокруг не видно ни зги? Офицеры на борту знали каждый уголок побережья по маршруту патрулирования. Решили, что гораздо лучше будет укрыться в знакомой бухточке. Места там было немного, как раз, чтобы встать на якорь. Там они переждут, пока туман не рассеется.

Медленно, терпеливо и с крайней осторожностью они подходили все ближе и ближе, различая лишь призрачные очертания темных скал, окаймленных бушующей пеной у подножия. Туман был настолько густой, что когда корабль становился на якорь, они видели ту же картину, что наблюдали бы в открытом море за тысячу миль отсюда. Тем не менее уже чувствовалась близость суши, приют земли. Было нечто особенное в неподвижности воздуха. Еле слышимый, почти неуловимый плеск воды о скалистый берег бухты достигал их слуха через паузу — это было неожиданно и загадочно.

Бросили якорь, выбрали лотлинь. Капитан спустился в свою каюту, но пробыл там совсем недолго, пока голос из-за двери не позвал его обратно на палубу.

„Что на этот раз?“ — подумал он про себя.

Его слегка раздражала необходимость снова выходить и снова всматриваться в этот наводящий тоску туман.

Он обнаружил, что туман снова немного рассеялся, впитав в себя мрачный оттенок темных скал, лишенных форм и очертаний, но уверенно заявлявших о своем присутствии завесой теней вокруг корабля. Одно-единственное светлое пятно обозначало выход в открытое море. Несколько вахтенных наблюдали все это с мостика. Помощник Капитана встретил его и, затаив дыхание, прошептал донесение: в бухте еще один корабль.

Несколько пар глаз уже разглядели его буквально минутой ранее. Корабль стоял на якоре перед самым входом в бухту и виделся лишь размытым пятном на светлом фоне тумана. Наконец Капитан, взглядевшись туда, куда ему упорно указывали, и сам различил очертания, без сомнения принадлежавшие какому-то судну.

— Чудо, что мы не столкнулись на входе, — заметил старший помощник.

— Отправьте на борт шлюпку, пока он не исчез, — скомандовал Капитан. Это предположительно было каботажное судно. Вряд ли что-то еще. Но другая догадка мелькнула в его голове.

— Действительно, чудо, — сказал он помощнику, когда тот вернулся, отослав шлюпку.

К этому моменту оба уже сообразили, что корабль, так внезапно обнаруженный, не известил о своем присутствии ударом в судовой колокол.

— Мы, конечно, прошли очень тихо, — заключил младший офицер. — Но они должны были услышать хотя бы наших лотовых. Мы прошли ярдах в пятидесяти от них. Едва разминулись! Они могли даже различить нас, знали ведь, что кто-то приближается. Странно, что мы ни звука оттуда не услышали. Парни на борту, должно быть, затаили дыхание.

— Это да... — задумчиво произнес Капитан.

Шлюпка, как положено, вернулась, неожиданно возникнув у борта, будто проделала себе лаз в тумане. Старший по званию поднялся на борт для доклада, но Капитан не дал ему заговорить, крикнув издали:

— Каботажное судно, не так ли?

— Нет, сэр. Не местный, из нейтралов, — последовал ответ.

— Нет. Ну надо же! Рассказывайте, рассказывайте. Что он здесь делает?

Молодой матрос пересказал длинную и запутанную историю про поломку двигателя. Однако с чисто профессиональной точки зрения все это было похоже на правду: отказ машины, опасный дрейф вдоль берега, многодневный туман, опасность шторма и, наконец, решение зайти в бухту, бросить якорь у берега и так далее. История вполне вероятная.

— Двигатели все еще неисправны? — осведомился Капитан.

— Никак нет, сэр. Корабль под парами.

Капитан отвел старпома в сторону.

— Боже милостивый! — воскликнул он. — Вы были правы! Они и в самом деле затаили дыхание, когда мы проходили мимо. Не иначе!

Однако теперь старший помощник засомневался.

— Такой туман заглушает небольшие звуки, сэр, — заметил он. — И потом, с какой целью?

— Ускользнуть незамеченными, — ответил Капитан.

— Тогда почему же они этого не сделали? Ведь могли же, сами понимаете. Ну, скажем, не совсем незамеченными. Вряд ли им удалось бы поднять якорь совсем бесшумно. Но через минуту

или около того они пропали бы из виду — исчезли раньше, чем мы смогли бы как следует их рассмотреть. Однако ж они здесь.

Офицеры переглянулись. Капитан покачал головой. За-
кравшееся подозрение было не из тех, что легко доказать. А ведь
он еще толком его и не высказал. Старший матрос закончил до-
клад. Груз на борту вполне безопасный, практического свойства.
Идут в английский порт. Бумаги и прочее в идеальном порядке.
Ничего подозрительного нигде не обнаружено.

Говоря о людях, он отметил, что команда судна ничем осо-
бым не отличается. Обычные механики, гордые своими успеха-
ми в ремонте двигателей. Угрюмый старпом. Капитан — яркий
представитель Северной Европы, весьма вежливый, но, похоже,
под мухой. Казалось, он пытается выйти из очередного запоя.

— Я сказал, что не смогу разрешить им отчалить. Он отве-
тил, что сам бы не решился развернуть корабль в такую непо-
году — с разрешения или без. Я все же оставил одного из на-
ших на борту.

— Вполне разумно.

Капитан корабля, покрутив так и эдак свои подозрения,
отозвал помощника в сторону.

— А вдруг это тот самый корабль, что снабжает адскую под-
лодку, а то и не одну? — спросил он вполголоса.

Тот вздрогнул. Затем сказал убежденно:

— Тогда он уйдет безнаказанным. Вы ничего не докаже-
те, сэр.

— Я хочу лично его досмотреть.

— Боюсь, что, судя по рапорту, который мы выслушали, вы
не найдете даже уместного повода для подозрений, сэр.

— Я все равно к ним наведуся.

Решение было принято. Любопытство — мощное топли-
во ненависти и любви. Что ожидал он найти? Этого он не смог
бы объяснить никому — даже самому себе.

На самом деле он рассчитывал уловить там тот особый ду-
шок подлого предательства, что было для него неприемлемо; ибо
он полагал, что даже азарт бескорыстного злодейства не имеет
оправданий. Но сможет ли он распознать этот душок? Проню-
хать? Почувствовать на вкус? Уловить те тайные послания, что

превратят его неистребимое подозрение в уверенность, достаточную для применения силы со всеми вытекающими?

Главный встретил его на юте. Его фигура темным пятном парила в тумане, окруженная размытыми очертаниями корабельной оснастки. Это был крепко сбитый, бородатый Норман в расцвете лет. На голове его плотно сидела кожаная фуражка. Руки он держал глубоко в карманах кожанки. Не вынимая рук, хозяин объяснил, что в рейсе живет в штурманской рубке, и небрежным шагом повел туда Капитана. Добравшись до расположенной под мостиком двери, он слегка покачнулся, но выправился и распахнул дверь. Словно ненароком подперев плечом стену, он уставился пустым взглядом в заполненное туманом пространство. Однако, как только Капитан вошел, он последовал за ним, захлопнул дверь, включил свет и тотчас засунул руки обратно в карманы, как будто боялся, что они его невзначай обнимут или придушат.

В помещении было душно и жарко. Под потолком был обычный стеллаж, заполненный картами. На столе лежала развернутая карта, прижатая пустой кружкой и блюдцем с разлитой в нем темной жидкостью. Надкушенное печенье лежало на футляре от хронометра. В рубке были две койки, одна из которых служила кроватью: на ней лежала скомканная подушка и несколько одеял. Не вынимая рук из карманов, хозяин повалился на эту кровать.

— Ну, вот мы и пришли, — сказал он, и как будто удивился звуку собственного голоса.

Сидя на второй койке, Капитан рассматривал приятное раскрасневшееся лицо. На пшеничной бороде и усах осели капельки тумана. Тут Норман озадаченно нахмурил темные брови и — вскочил.

— А куда пришли, я, собственно, и не знаю. Понятия не имею, — выпалил он с предельной прямоотой. — Черт подери! Угораздило же заплутать! Меня этот туман уже неделю преследует. Даже дольше. А тут еще и двигатели отказали. Сейчас расскажу, как все было.

Он пустился в многословные объяснения. Говорил он без спешки, но с напором. И при этом не очень связно. Его рассказ

прерывался весьма странным молчанием, словно он раздумывал. Каждая пауза длилась не дольше пары секунд, но за это время он успевал полностью уйти в себя. Когда он принимался говорить снова, казалось, что сам он не замечал этих пауз, будто их и не было. Все тот же пристальный взгляд, та же предельная прямота. Он их не осознавал. В самом деле не раз эти паузы возникали посреди предложения.

Капитан слушал его рассказ. История казалась ему слишком правдоподобной, даже более правдоподобной, чем обычно бывает правда. Но Капитан, возможно, был предвзят. Все время, что говорил Норман, Капитана не оставлял внутренний голос. Из глубины души он мрачно нашептывал другую историю, как будто желая поддержать в нем огонь негодования и злости к тлетворной алчности и узколюбости, что так часто порождает простые решения.

Это была та же история, которую выслушал старший матрос около часа назад. Время от времени капитан слегка кивал, внимая Норману. Тот закончил и отвел глаза. И, подумав, добавил:

— Тут любой с катушек слетел бы, разве нет? Я в этих местах впервые. Да еще и корабль мой собственный. Ваш офицер проверил документы. Посудина скромная, сами видите. Старое грузовое судно. Едва хватает, чтобы семью прокормить.

Он поднял большую руку и указал на фотографии, которыми был обклеен бимс. Жест получился тяжеловесный, как будто рука была свинцовая. Капитан небрежно заметил:

— И все ж таки на этом старом корабле вы еще скотите приличное состояние для вашей семьи.

— Да, если не лишусь корабля, — мрачно заметил Норман.

— Я имел в виду — на войне заработаете, — пояснил Капитан.

Взгляд Нормана был странным: невидящим и внимательным одновременно, как могут смотреть только обладатели глаз особого синего оттенка.

— Вы же не станете держать на нас зла, — проговорил он, — правда? Вы же джентльмен. Мы ведь тут ни при чем. Ну приглядились бы мы всех оплакивать, какой в этом прок? Пусть слезы

льют те, кто эту кашу заварил, — напористо подытожил он. — Говорят, время — деньги. Что ж, времена и правда денежные. Не так ли?

Капитан попытался скрыть свое глубокое отвращение. „Это не вполне уместно, — сказал он себе. — Так устроены люди. Готовы съесть соседа, окажись он в несчастье“. А вслух он произнес:

— Вы предельно ясно растолковали, как вы здесь оказались. Записи судового журнала подтверждают каждое ваше слово. Но, разумеется, журнал проще простого подделать.

Ни один мускул не дрогнул на лице Нормана. Он уставился себе под ноги и, казалось, ничего не слышал. Прошло какое-то время, прежде чем он поднял голову и небрежно проворчал:

— У вас нет никаких оснований в чем-либо меня подозревать.

„Зачем он это сказал?“ — подумал Капитан. Норман же тотчас добавил:

— Мой груз должен быть доставлен в английский порт.

Последнее слово он произнес с хрипотцой. Капитан задумался: „Он прав. Искать тут нечего. И у меня нет оснований его подозревать. Но зачем же тогда стоять в тумане под парами? И почему, услышав наше приближение, он не подал никаких признаков жизни? Значит, совесть у него нечиста, а как иначе? Заметив лотовых, он вполне мог понять, что это военный корабль.“

Действительно — почему? А что, если я спрошу его напрямик и посмотрю на его реакцию? — продолжал размышления Капитан. — Так или иначе он себя выдаст. Да, тип запойный, это точно. Пить-то пьет, но ловко врать это ему не мешает“. Капитан был из тех, кого необходимость уличить во лжи тяготила нравственно и едва ли не физически. Он весь сжимался от презрения и отвращения, и одолеть их ему не давала даже не высокая нравственность, а скорее темперамент.

Поэтому он вышел на палубу, где в официальном порядке собрал для инспекции команду корабля. Именно такими он их себе и представлял, слушая доклад боцмана. И отвечая на

его вопросы, они точно придерживались истории, изложенной в судебном журнале.

Он дал им разойтись. Впечатление складывалось такое: все как на подбор; каждому пообещали пригоршню монет, если все пройдет гладко; все немного встревожены, но не напуганы. Похоже, никто не проболтается. За свою жизнь они не опасались. Слишком хорошо они знали Англию и английские порядки!

Он встревожился, заметив, что рассуждает так, будто смутные сомнения уже переросли в уверенность. Хотя на деле для его умозаключений не было ни малейших оснований. Им просто нечего скрывать.

Он вернулся в штурманскую рубку. Норман оттуда так и не выходил; едва заметная перемена в осанке, более дерзкий взгляд остекленевших голубых глаз навели Капитана на мысль, что парень урвал-таки возможность сделать глоток-другой из припрятанной где-то бутылки.

Он также заметил, что, встречаясь с ним взглядом, Норман делает нарочито удивленное лицо. По крайней мере оно казалось нарочитым. Ничему нельзя доверять. И тут англичанин с ошеломляющей ясностью ощутил, что все это — сплошной обман, прочный, как стена, и до правды не докопаться. Ему даже померещилась уродливая гримаса этой убийственной лжи, поглядывающей на него с циничной усмешкой.

— Полагаю, — заговорил капитан неожиданно, — вас удивляют мои разбирательства, но ведь я вас и не задерживаю, верно? Вы же не рискнете уйти в таком тумане?

— Да я понятия не имею, где мы, — убедительно выпалил Норман. — Ни малейшего.

Он осмотрелся, будто впервые видел рубку и все ее содержимое. Капитан поинтересовался, не заметил ли он какие-либо необычные дрейфующие объекты.

— Объекты! Какие еще объекты? Мы несколько дней пробирались вслепую, на ощупь.

— На нашем пути туман иногда прояснялся, — заметил капитан. — Мы кое-что обнаружили, и вот что я об этом думаю.

И он вкратце рассказал ему свою версию. Капитан услышал резкий, как сквозь сжатые зубы, вдох. Норман стоял,

опершись рукой о стол, не шелохнувшись, не говоря ни слова. Стоял как громом пораженный. Затем выдавил нелепую улыбку.

Или Капитану она показалась нелепой. Имело ли это значение или было пустым кривлянием? Он не знал, уверенности не было. В этом мире не осталось правды, она словно растворилась, поглощенная чудовищной подлостью, в которой этот человек был виновен. Или не виновен.

— Вот так по-своему некоторые и понимают нейтралитет. Расстреливать таких мало, — выдержав паузу, сказал Капитан.

— Да, да, да, — поспешно согласился Норман, а затем добавил неожиданно мечтательно. — Впрочем...

Притворялся ли он пьяным или, наоборот, пытался выглядеть трезвым? Взгляд его был прямым, но каким-то остекленевшим. Из-под пшеничных усов видны были плотно сжатые губы, но они подергивались. Или не подергивались? И почему он кажется таким поникшим?

— Никаких „впрочем“ тут быть не может, — сурово произнес Капитан.

Норман выпрямился и вдруг сам показался суровым.

— Согласен. Но как быть с искусствителями? Вот кого надо поубивать. Сколько их — четыре, пять, шесть миллионов... — мрачно сказал он, но миг спустя его голос уже звучал жалобно. — Но мне лучше попридержать язык. Вы меня в чем-то подозреваете.

— Нет, не подозреваю, — заявил Капитан.

Он ни секунды не колебался. В тот момент он был совершенно уверен. Спертый воздух рубки был пропитан чувством вины, дерзкой ложью, бросающей вызов разоблачению, пренебрегающей простейшими понятиями о добре и зле, попирающей все человеческие чувства, всякие представления о порядности, любые мыслимые приличия.

Норман сделал глубокий вдох.

— Вы, британцы, конечно, джентльмены. Но давайте говорить начистоту. За что нам вас любить-то? Не за что вас любить. Конечно, мы и этих... не слишком любим. Они ведь тоже ничем хорошим не отличились. Приходит, приносит мешок золота... Не просто же так я заходил в Роттердам!

— Что ж, вам будет что рассказать нашим, когда доберетесь до порта, — перебил его Капитан.

— Может, и рассказал бы. Но у вас же в Роттердаме свои люди. Пусть они и докладывают. Мое дело — сторона нейтральная, разве не так?.. Вы когда-нибудь видели бедняка, который бы отказался от мешка золота? Разумеется, меня-то этим не проймешь. У меня бы пороху не хватило. Куда мне. Мне-то что. Вот сейчас как на духу говорю.

— Да, и я вас внимательно слушаю, — спокойно произнес Капитан.

Норман навис над столом.

— Теперь, раз вы меня больше не подозреваете, я все скажу. Вы не знаете, что такое есть бедняк. А я знаю. Я сам такой. Ведь эта посуда, она и сама по себе не ахти, так еще и заложена. Едва хватает на жизнь, да и только. У меня, конечно, кишка тонка. Но если у кого хватит пороху! Судите сами. Груз, который он берет на борт, на вид самый обычный — ящики, бочки, консервные банки, медные трубки — всякое. Он не видит, что к чему. Ему и дела нет. Но он видит золото. А до золота ему дело есть. Меня, конечно, не заставишь. Нутро крутит. От страха я бы с ума сошел или... или... запил, или еще что. Риск слишком велик. Чуть что — и не миновать беды!

— Вернее говоря — смерти, — отрезал Капитан и встал. Норман встретил это заявление тяжелым взглядом, который плохо вязался с блуждающей улыбкой. У Капитана подступило к горлу от этого духа кровавого пособничества, что был плотнее, беспросветнее и прилипчивее, чем туман снаружи.

— А мне-то что, — пробормотал себе под нос Норман, заметно покачиваясь.

— Да ничего, — подхватил Капитан, с большим трудом пытаясь сохранить спокойный тон. Его внутренняя убежденность была непоколебима. — Тем не менее я намерен очистить этот берег от всей вашей братии. И начну прямо с вас. Через полчаса вы должны уйти.

К тому времени Капитан уже шел по палубе, Норман плелся рядом.

— Что?! В такой туман? — просипел тот.

— Да, вам придется идти в тумане.

— Но я даже не знаю, где мы. Правда не знаю.

Капитан обернулся, приступ ярости охватил его. Глаза их встретились. Взгляд Нормана выражал крайнее изумление.

— Ах вот как, вы не знаете, как отсюда выбраться? — Капитан говорил спокойно, но сердце его колотилось от злости и ужаса. — Я дам вам курс. Держите на зюйд-тень-ост полрумба к осту около четырех миль, а там уже курс на восток до порта назначения. Погода скоро прояснится.

— С чего бы это? Кто меня заставит? Да мне и пороху не хватит.

— И все же вам придется уйти. В противном случае...

— Не надо, — судорожно вздохнул Норман, — довольно с меня.

Капитан спустился в шлюпку. Норман так и стоял, будто прирос к палубе. Но прежде чем шлюпка добралась до своего корабля, Капитан услышал, как на пароходе начинают выбирать якорь. Затем судно направилось по заданному курсу едва различимой тенью в тумане.

— Да, — сказал он своим офицерам, — я его отпустил».

Рассказчик наклонился над тахтой, где ни одно движение не выдавало присутствия живого человека.

«Пойми, — с трудом выдавил он, — следуя этому курсу, Норман должен был напороться на риф. А направил его по этому курсу Капитан. Он снялся с якоря — налетел на риф — и пошел ко дну. И раз так — он говорил правду. Он действительно не знал, где находится. Но это ничего не доказывает. Ровным счетом ничего. Может, только это в его рассказе и было правдой. И все же... Дело решил один грозный взгляд — и ничего более».

Рассказчик отбросил условности.

«Да, это я указал ему тот курс. Я решил, что пусть это станет для него решающим испытанием. Я уверен, что... нет, не уверен. Я не знаю. Но тогда я был уверен. Они все пошли ко дну; и я не знаю, было ли это суровое наказание или хладнокровное убийство; кого я отправил на усыпанное трупами дно непроницаемого моря — невинных людей или бесчестных преступников. Не знаю. И не узнаю никогда».

Он встал. Женщина на тахте поднялась и обвила его шею руками. Глаза ее сверкнули в глубоком мраке комнаты. Ей были знакомы его жажда правды, его отвращение ко лжи, его милосердие.

«Бедный мой, бедный...»

«Я никогда этого не узнаю», — сурово повторил он, вывободился из объятий, прижал ее руки к своим губам и вышел.

1917

Джозеф Конрад:
взгляд из России
XXI века

Вместо послесловия

Джозеф Конрад — уроженец Бердичева Йозеф Конрад Корженевский, один из столпов литературного модернизма, писатель, чье влияние признавали такие несхожие с ним и между собой авторы, как Грэм Грин, Хорхе Луис Борхес, Уильям Берроуз, Итало Кальвино, Салман Рушди; человек, который вывел приключенческую прозу на новый интеллектуальный и художественный уровень, попутно заложив основы таких жанров, как шпионский роман и политическая эпопея; беллетрист и мореплаватель, жизни и творчеству которого посвящены фильмы, комиксы, произведения искусства, научные сообщества и журналы, не говоря о сотнях академических изданий.

Пересказывать жизненный путь Конрада в послесловии к его автобиографии было бы странно. Однако «Личное дело» было написано в 1909 году, посреди его писательской карьеры, вторая половина которой оказалась ничуть не менее насыщенной. Хронологически «Дело» заканчивается, когда тридцатишестилетний Конрад, следуя не вполне осознанному порыву, бросает должность капитана британского торгового флота, чтобы стать писателем. И если морской опыт послужил материалом для значительной части его произведений, то приключения Конрада в мире литературы стали широчайшим исследовательским полем, целой отраслью литературоведения. Самым интересным для сегодняшнего русского читателя аспектам писательской жизни и наследия Конрада мы и посвятили это предисловие. Кроме того, представить сравнительно широкой публике портрет Джозефа Конрада — не только честь, но и дань уважения автору, чьи произведения, помимо долгих

часов размышлений, подарили нам и редкие минуты переводческого вдохновения.

Я говорю «нам», потому что над переводом этой книги трудилось без малого сто человек. И это не преувеличение. Перед вами плод пятилетней работы Мастерской литературного перевода, которая открылась в Петербурге в 2013 году. Выяснив, что несколько произведений любимого автора все еще не переведены на русский[•], я решил восполнить этот пробел и опробовать формат совместного перевода. В течение пяти лет люди разных профессий и возрастов собирались за одним столом (а в случае с онлайн-группой в одном видеочате), чтобы провести пару часов за вдумчивым чтением оригинала и кропотливым обсуждением перевода. Дома каждый переводил небольшой отрывок самостоятельно, а на занятии мы работали над текстами все вместе. Над нами не довели сроки, поэтому над одним предложением, оттенком смысла, различными толкованиями неоднозначных пассажей мы бились, пока не доводили перевод до максимально близкого к безупречному состояния. Это удивительно, но в таком, казалось бы, интимном деле, как литературный перевод, принцип «одна голова — хорошо, а две — лучше» действует почти пропорционально количеству голов. По мере работы над текстами мы все глубже погружались в сложноустроенный мир Конрада и находили все больше связей с сегодняшним днем, убеждаясь, что многие актуальные вопросы Конрад сформулировал уже сто лет назад.

• В процессе работы выяснилось, что некоторые произведения по-русски уже печатались. Так, рассказ «Осведомитель» был опубликован в журнале «Огонек» в 1929 году.

Конрад глазами писателей и современников

«Личное дело» — скорее автобиография духа, писательское и гражданское кредо, нежели последовательное изложение событий. Конрад был убежден, что книги и есть автопортрет писателя, и проявлял чрезвычайную щепетильность в отношении своего личного пространства. Он внимательно следил за тем, как преподносятся обстоятельства его биографии, планомерно сжигал письма всех адресатов и, если у него появлялась такая возможность, — свои[•]. Кроме того, в «Деле» не упомянут ни один из знаменитых друзей Конрада, знакомство с которыми для иных и становится поводом для мемуаров. Зато они оставили целый корпус воспоминаний, которые, наряду с автобиографией, помогают воссоздать стереоскопический образ писателя. Одним из первых пишущих друзей Конрада стал Джон Голсуорси, автор «Саги о Форсайтах»:

Я познакомился с Конрадом в марте 1893 года, на борту английского парусника «Торренс» в порту Аделаида. Он командовал погрузкой и на обжигающем солнце имел весьма темный вид: загорелый, с черной бородкой клинышком, почти вороной шевелюрой и темно-карими, глубоко посаженными глазами. Сухощавый, невысокого роста, с длинными руками и широкими плечами. Голова его была несколько наклонена вперед. Он говорил с сильным акцентом и даже показался мне не вполне уместным на английском корабле. В его компании я провел пятьдесят шесть дней плавания.

• Жена Конрада Джесси вспоминала: «За несколько дней до свадьбы он пришел и официальным тоном потребовал сжечь всю нашу драгоценную переписку, те несколько писем, что я получила от него из Женевы. Более того, он лично наблюдал за этим жертвоприношением. Ни одно письмо не уцелело».

Первый помощник на парусном судне несет основную нагрузку. Всю первую ночь плавания он боролся с пожаром в трюме. Никто из семнадцати пассажиров ничего не узнал, об инциденте нам рассказали много позже. Он принял на себя основной удар, когда мы попали в ураган возле мыса Лиувин, а потом и в еще один шторм. Хороший моряк, он был внимательным к погоде и споро управлял кораблем. К новичкам он относился с особым вниманием: на судне был один бедолага, долговязый бельгиец, который зачем-то отправился в море, хотя жутко боялся высоты. Участливый Конрад старался не посылать его на мачты. Матросы любили Конрада, для него все они были не просто подчиненными, но индивидуальностями. Он любил поболтать с ними после вахты. Он хорошо относился ко второму помощнику — молодому, веселому и способному моряку, англичанину до мозга костей; и с уважением, пусть и слегка окрашенным иронией, к своему английскому капитану, крепкому старику с седыми бакенами. Чтобы стать адвокатом по морским делам, я должен был изучать навигацию и каждый день вычислял положение корабля под руководством капитана. Мы сидели по одну сторону стола в кают-компании и сверяли свои наблюдения с записями Конрада, который слегка насмешливо смотрел на нас с другой стороны. Конрад и сам был капитаном, и его подчиненное положение на «Торренсе» объяснялось лишь тем, что он еще не до конца оправился от своего конголезского приключения, в котором едва не лишился жизни. Когда погода благоприятствовала, вечерние вахты мы проводили на юте. Он был мастер рассказывать истории, а историй этих почти за двадцать лет плаваний накопилось немало: о кораблях и штормах, о польской революции, о своей афере с контрабандой оружия для карлистов, о малайских островах, о Конго и о разных людях; мне было двадцать пять лет от роду, и я не мог заслушаться его рассказами.

Если с недавним выпускником Оксфорда и будущим лауреатом Нобелевской премии по литературе Конрада свел случай, то последующие встречи были обусловлены его новой писательской карьерой, первый и najważнейший толчок которой дал Эдвард Гарнетт, рецензент издательства, в которое Конрад отправил свой дебютный роман.

Я познакомился с Конрадом в ноябре 1894 года. За несколько месяцев до того я, в качестве рецензента издательства мистера

Фишера Анвина, на скорую руку набросал один из своих поверхностных «отчетов» и рекомендовал «Причуду Олмейера» к печати. Необычная атмосфера тропиков и поэтический «реализм» этого романтического повествования заинтриговали меня, и я подумал, что в венах автора, вероятно, течет восточная кровь. Когда же мне сказали, что он поляк, интерес мой только возрос, поскольку мои друзья-нигилисты Степняк и Волховский, когда кто-нибудь сочувствовал положению поляков, всякий раз отзывались о них как о «жалких неудачниках». <...> Я помню яркого брюнета, невысокого, но чрезвычайно изящного в своих несколько нервических движениях. Его блестящие глаза то сужались и становились пронзительными, то теплели, смягчаясь. В манерах его также чередовалась напряженность и расслабленность, он говорил то сдержанно, то резко, то вкрадчиво. Никогда прежде не видел я человека столь по-мужски энергичного и столь по-женски чувствительного.

Первые книги Конрада не пользовались широкой популярностью, зато писатели заметили нового автора сразу, и со многими у него завязались длительные, часто непростые отношения. Вот что о Конраде пишет Герберт Уэллс:

На меня он сперва произвел наистраннейшее впечатление, впрочем, как и на Генри Джеймса. Маленький, сутуловатый, он, казалось, раз и навсегда втянул голову в плечи. Темное, будто уходящее назад лицо, очень аккуратно подстриженная борода клином, испещренный морщинами лоб и очень тревожные темные глаза. Движения рук его шли от плеч, что выглядело очень по-восточному. Английский его был весьма необычным. Говорил он в целом неплохо, часто использовал французские слова, особенно когда речь заходила о вопросах культуры или политики. Но были и странности. Читать по-английски он стал много раньше, чем говорить, поэтому составил неверное представление о произношении многих самых обычных слов. Так, например, он был неисправим в своей привычке произносить конечное «е» в словах *these* и *those*. <...> Говоря о морском деле, он всегда был на высоте, но при обсуждении менее знакомых тем ему нередко приходилось искать слова.

Конрад с миссис Конрад и их белокурым, ясноглазым сынишкой часто приезжали в Сэндгейт. Коляской, запряженной черным пони, он,

пощелкивая кнутом, правил, словно это были дрожки, и к ужасу всех присутствовавших погонял маленькую кентскую лошадку громкими криками и уговорами по-польски.

Мы никогда особенно не «ладили». Пожалуй, я был даже менее понятен и симпатичен Конраду, чем он мне. Полагаю, он считал меня обывателем, недалеким и слишком англичанином. Он не верил, что я могу всерьез воспринимать социальные и политические вопросы, всегда старался копнуть под самые основы моей личности, раскрыть мои воображаемые obsessions и понять, что я представляю из себя на самом деле. <...> Помню, как однажды мы лежали на пляже в Сэндгейте, смотрели на море и беседовали. Он спросил, как бы я описал ту лодку, что стоит, плывет, танцует или трепыхается на воде? Я ответил, что в девятнадцати случаях из двадцати лодке досталась бы самая обычная фраза. Чего-то более выразительного она удостоилась бы, только если бы имела какую-то важность, и тогда эта фраза зависела бы от угла зрения, при котором лодка приобретает значение. Но тот факт, что лодка может быть просто лодкой, в корне расходился с его чрезмерно чувственным восприятием. Он желал запечатлеть ее с достоверностью собственного зрительного образа. Я же хотел видеть ее только через отношения с чем-то еще — с историей или фабулой.

В моем доме Конрад познакомился с Шоу, и тот завел разговор в привычной для него фривольной манере. «Знаете ли, дорогой коллега, ваши книги никуда не годятся», — говорил он, отстаивая я уж и забыл какой из своих шоувианских аргументов, и далее в том же духе. Я вышел из комнаты и вдруг обнаружил, что Конрад идет за мной по пятам. Бледнее полотна, он быстро проговорил: «Этот человек хочет меня оскорбить?» Соблазн сказать «да» и стать секундантом на дуэли был очень велик, но я преодолел его. «Это юмор», — сказал я и вывел Конрада в сад освежиться. Слово «юмор» всегда ставило Конрада в тупик. С этой чисто английской хитростью он так и не научился управляться.

Полагать, что в компании английских корифеев Конрад был слабо артикулированным объектом насмешек, было бы неверно. Перед тем, как рассориться с Уэллсом в 1907 году, он так подытожил их расхождение: «Разница между нами, Уэллс, фундаментальная. Люди вам безразличны, но вы полагаете,

что их можно усовершенствовать. Я же люблю людей, но знаю, что они неисправимы!» Пионер в литературе, в жизни Конрад придерживался скорее консервативных ценностей. Он не верил в политические преобразования и даже в век революций видел в человеческой природе больше неизменности, чем прогресса. Пройдя путь от юнги на французском корабле до английского писателя, ценимого эстетствующей публикой, он остался отпрыском знатного шляхетского рода. Выбрав английский язык своих произведений, Конрад не мог поступиться своими представлениями о чести польского дворянина. На нередкие упреки в непатриотизме Конрад отвечал: «Широко известно, что я поляк и что Йозеф Конрад — мои имена, последнее из которых я использую как фамилию, чтобы не слышать, как иностранцы коверкают настоящую, чего я просто не выношу. Мне не кажется, что я предал свою родину, доказав англичанам, что джентльмен из Украины способен не хуже них управлять судном и ему есть что сказать им на их же языке». Когда в 1924 году ему предложили титул рыцаря Британской империи, он вежливо отказался. Похоже, тщеславие вообще было ему несвойственно, до этого он отказался от почетных ученых степеней в Кембридже, Йеле, Эдинбургском и других университетах. Любая шумиха вокруг него раздражала Конрада, большие скопления людей утомляли, как и многих, но по весьма необычным причинам, описанным в воспоминаниях английского поэта Генри Ньюболта.

С первого взгляда меня поразила невероятная разница между его профилем и фасом. В обоих случаях это было лицо восточного типа, однако если орлиный профиль его был властным, анфас его широкий лоб, широко расставленные глаза и полные губы производили впечатление человека вдумчивого и спокойного, а иногда даже мечтательного и философствующего. Но вскоре меня ждал сюрприз и весьма неожиданный. Усевшись полукругом возле камина, мы болтали обо всем понемногу, и тут я увидел третьего Конрада — его артистическое «я», предельно чувствительное и неугомное. Чем больше он говорил, тем чаще курил и так быстро скручивал сигареты, что пальцы обеих рук пожелтели до самых ладоней. Когда я спросил его, почему он уезжает из Лондона, не пробыв и трех дней,

он ответил, что не способен оставаться в Лондоне дольше одного-двух дней, потому что толпа на улице ужасает его. «Ужасает? Этот серый поток стертых лиц?» Он пригнулся ко мне, воздев сжатые замком руки. «Да, ужасает: я вижу, как характер каждого из них наскакивает на меня, словно тигр!» И он изобразил тигра, да так, что слушатели вполне могли испугаться. Но уже через секунду он снова говорил умно и здраво, как самый обычный англичанин, в теле которого не раздражен ни один нерв.

Необычайную восприимчивость Конрада отмечал и Бертран Рассел — математик и философ. О своих впечатлениях от состоявшейся в 1913 году встречи Рассел по свежим следам написал своей возлюбленной леди Оттолайн Моррелл:

Это было потрясающе — я полюбил его и думаю, что и сам ему понравился. Он много говорил о своей работе и жизни, и целях, и о других писателях. Сперва мы оба стеснялись и чувствовали себя неловко. <...> Потом мы пошли прогуляться и постепенно между нами возникла удивительная близость. Я набрался храбрости и сказал, что думаю о его творчестве: он врывается в реальность, чтобы добраться до самой глубины, скрытой под очевидными фактами. Мне показалось, он почувствовал, что я понял его. Потом я остановился, и некоторое время мы просто смотрели друг другу в глаза, а потом он сказал, что уже начинает жалеть, что не способен жить на поверхности и писать иначе, что он стал бояться. В этот момент глаза его выражали внутреннюю боль и ужас, с которыми он борется постоянно... Потом он много говорил о Польше и показывал альбом с семейными фотографиями 60-х годов, говорил, каким сном все это теперь кажется и что иногда приходят мысли, что ему не стоило заводить детей, ведь у них нет ни корней, ни традиций, ни родственных связей. Он много рассказывал о своей морской жизни, и о Конго, и о Польше, и обо всем. Сначала он был сдержан, даже если говорил откровенно, но когда мы вышли на прогулку, его сдержанность испарилась и он проговаривал самые глубокие свои мысли. Невозможно выразить, как я полюбил его.

С Расселом, также будущим нобелевским лауреатом, Конрад поддерживал отношения до самой смерти. А вот с Киплингом — первым из британцев, получившим эту премию еще в 1907 году, — близкого знакомства так и не свел. Их нередко

сравнивали, поскольку далекие, экзотические колонии служили фоном произведений обоих авторов, но в своем отношении к идеологии колониализма они не совпадали в корне[•]. Взаимоотношения этих авторов — отдельная тема, мы же приведем отзыв Киплинга, который он дал Конраду уже после его смерти: «Когда он говорил, понять иногда его было непросто, но с пером в руке он был среди нас первым. И все же, читая его, я не могу отделаться от ощущения, что это превосходный перевод иностранного автора».

• Подробнее об этом см. раздел «Конрад и постколониальная теория».

Конрад и язык

Конрад — единственный в истории классик мировой литературы, во взрослом возрасте овладевший языком, на котором написаны все его произведения. Польский был для него родным, по-французски он говорил с детства, живую английскую речь впервые услышал пятнадцатилетним школьником. Твердое намерение стать моряком привело семнадцатилетнего Йозефа Корженевского в Марсель, где он устроился на французское судно. Три года спустя выяснилось, что Йозеф не получил разрешения царского правительства на работу за границей, и бюрократия Третьей республики не смогла переварить этот казус. После не слишком удачной аферы с контрабандой оружия в охваченную гражданской войной Испанию русский подданный нашел работу в Британском торговом флоте, который никаких разрешений не требовал. Так в возрасте двадцати лет он столкнулся с необходимостью выучить еще один язык. Тот факт, что через шестнадцать лет Конрад опубликует свой дебютный роман, который войдет в канон английской литературы, может показаться невероятным. И факт этот на разные лады обсуждался современными Конраду критиками и литераторами. Восторги по этому поводу Конрада скорее раздражали: «Я всегда ощущал, что на меня смотрят как на некий феномен, — и такой взгляд едва ли можно назвать лестным, если только вы не выступаете на арене цирка». В том же предисловии к «Личному делу» он предлагает свое видение взаимоотношений с английским языком: «Это никогда не было вопросом выбора или овладения. У меня даже мысли не было выбирать. Что касается овладения — да, оно случилось. Но это не я, а гений языка

овладел мной; гений, который, не успев я толком научиться складывать слова, захватил меня настолько, что его обороты — и в этом я убежден — отразились на моем нраве и повлияли на мою до сих пор пластичную натуру». Интересно, что описанный здесь парадокс, в котором субъект и объект «овладевания» меняются местами, предвосхитил целое направление лингвистики, изучающее связь между структурой языка, культурой и мировоззрением носителей[•].

В частных беседах о выборе в пользу наименее «родного» из языков Конрад был менее последователен, нежели в публичных высказываниях. Так, американскому скульптору Джо Дэвидсону он говорил: «Чтобы писать по-французски, его нужно знать. Английский же настолько пластичен, что если не нашел подходящего слова, то можно и придумать. А вот чтобы писать на французском, нужно быть настоящим художником, как Анатоль Франс». Своему соотечественнику философу Лютославскому еще на заре своей писательской карьеры Конрад признавался: «Я слишком ценю нашу прекрасную литературу, чтобы дополнять ее своей бессмысленной писаниной. Вот для англичан моих способностей хватает вполне: они позволяют мне зарабатывать на жизнь». Цитата вошла в корпус воспоминаний о Конраде со слов Лютославского, и это скорее похоже на оценку возможностей англоязычного литературного рынка, по сей день крупнейшего в мире, просто выраженную в лестной для поляка форме. Однако определенная раздвоенность, если не растроенность языковой и культурной идентичности Конрада не была секретом и для него самого: «В море и на земле я смотрю на мир с английской точки зрения, из чего не стоит делать вывод, что я стал англичанином. Это совсем не так. В моем случае *homo duplex* имеет несколько значений»^{••}.

• Речь идет о гипотезе лингвистической относительности Сепира — Уорфа, в общих чертах сформулированной в 1930-х годах.

•• *Homo duplex* — понятие, которое ввел один из основоположников социологии Эмиль Дюркгейм, обозначает двойственную природу человека как биологического организма со свойственными ему инстинктами и желаниями с одной стороны и социального существа, включенного в общество с его моралью и правилами, с другой.

Язык — базовый элемент самоидентификации, данность, которую большинство людей получают при рождении. Конрад родился в польской семье, в украинском Бердичеве, детство провел в Вологде и Чернигове, отрочество — в Кракове, юность — в Марселе, до тридцати шести лет ходил на разных судах от Мексиканского залива до Южно-Китайского моря и от Африки до Австралии, пока не стал писателем и не осел в Англии. Какой бы приветливой или недружелюбной ни была очередная среда обитания, принимая ее правила, он никогда не забывал о других своих идентичностях. Человек впечатлительный и даже нервический, он выжил благодаря искусству культурной пластичности, и этот тяжким трудом добытый навык позволил ему ту степень отстраненности и иронии, которую исследователь Джин К. Мур сравнивает с архимедовой точкой, внекультурной, внеязыковой позицией, дающей возможность если не сдвинуть Землю, то наблюдать за творящимся на ней противостоянием идей и правд с высокой степенью непредвзятости.

Конрад овладел английским, или английский — Конрадом, произошло это главным образом на смысловых уровнях: имитировать выговор Конрад, похоже, даже не пытался. Соавтор нескольких его произведений Форд Мэдокс Форд вспоминал: «Он говорил с акцентом, присущим скорее чернокожим, нежели европейцам. На первый взгляд производил впечатление настоящего марсельца <...>, а ударения ставил настолько произвольно, что временами его сложно было понять».

Сложный «акцент» проник и в прозу Конрада. Культивируемая писателем «английскость» была одним из уровней языкового палимпсеста, о чем свидетельствует обилие галлицизмов и полонизмов. Так, в повести «Негр с „Нарцисса“» главный герой — чернокожий моряк — говорит лондонскому проходимцу: «Не надо фамильярничать, мы с тобой свиней не пасли», — цитируя польскую поговорку. От французской прозы Конраду достался сложный синтаксис, плавный ритм, изысканная витиеватость изложения. Даже в лучших произведениях Конрада критики обнаруживают избыточную риторику и мелодраматизм, которые рассеивают внимание и вызывают в читателях,

чувствительных к рациональному использованию языка, даже некоторое раздражение. Когда поляк приспособливает достижения французской беллетристики к английской литературе, чтобы переработать и изложить свой неповторимый опыт, трудности неизбежны, но важно помнить, что это — эксперимент, который до сих пор никто не смог повторить.

Обилие прилагательных и сложный синтаксис имеют еще один аспект: Конрад использует их, чтобы замедлить действие, подчеркнуть важность происходящего, чтобы, продравшись сквозь очередной пассаж, читатель в процессе осмысления поднял от книги глаза и невидящим взором уставился в воображаемую картину — будь то пейзаж, портрет или батальная сцена. Такой опыт медленного чтения доступен сегодня, к сожалению, немногим. Конрад называл современную ему прозу *imaginative literature*, и обилие эпитетов — это еще и до-тошное желание воспроизвести картину ровно такой, какой она рисуется в памяти или воображении. Поэтому если в ней присутствует полыхающий закат, закат будет полыхать всеми оттенками, отражаясь во всех поверхностях, и т. п. В конце концов, сетовать на многословность Конрада — это все равно что жаловаться на обилие точек на полотне пуантилиста.

Разумеется, такие особенности открывали перед нами, переводчиками, еще один уровень сложности, и преодолеть его, помимо вдумчивого чтения, помогали подробные обсуждения и экскурсии в историю автора и описываемых им событий.

То плутая, то снова выходя на верную, как нам казалось, дорогу, мы старались донести до русского читателя тот голос, о котором Т.Э. Лоуренс (известный как Аравийский) писал: «Хотел бы я знать, как он добивается, чтобы каждый параграф (а вы заметили, что он почти всегда пишет параграфами, а не предложениями), подобно колоколу, оставлял после себя долгие звуковые волны. Источник этого звука не в привычном прозаическом ритме, он будто бы существует только в его голове». Это цитата из письма 1920 года, когда Конрад, уже признанный английский писатель, взялся осваивать новый, еще более универсальный язык.

Конрад и кинематограф

Для киноманов Конрад остается автором повести, вдохновившей Фрэнсиса Форда Coppолу на «Апокалипсис сегодня». При этом на сайте IMDb.com значится семьдесят девять фильмов, снятых по его произведениям, — это больше, чем у его современников-модернистов Пруста, Джойса и Вирджинии Вулф вместе взятых. Даже из нашего скромного сборника экранизировано два рассказа[•]. Среди ставивших Конрада режиссеров — Хичкок, Вайда, Ридли Скотт. Истории экранизаций Конрада, кинематографическим свойствам его прозы и сложностям, с которыми сталкиваются адаптаторы, посвящено множество статей и несколько толковых книг^{••}. Здесь мы остановимся на главных вехах кинокарьеры Конрада, которая началась еще при его жизни.

Опубликованный в 1915 году роман «Победа» сделал молодого уже писателя популярным по обе стороны Атлантики, и вскоре Конрад обратил на себя внимание американских кинопродюсеров. После недолгих переговоров агент Конрада — Джеймс Б. Пинкер — уступил компании Famous Players-Lasky (предтеча Paramount) права на экранизацию четырех его произведений (в том числе «Победы») за 22 500 долларов.

• По рассказу «Всё из-за долларов» в 1953 году была снята мелодрама «Хотушка Анна», а в 2005-м Патрис Шеро экранизировал рассказ «Возвращение» с Изабель Юппер в главной роли. Этот, по словам кинокритика Марии Кувшиновой, «неовисконтианский шедевр» получил пригоршню «Сезаров» и номинировался на «Золотого льва».

•• Одно из изданий — «Конрад на кинолентке» (Conrad on Film) под редакцией Джина К. Мура (Gene K. Moore) — мы горячо рекомендуем всем, кто заинтересуется этим вопросом.

Покупательная способность доллара была, разумеется, другая, однако Голливуд, как и сегодня, находился в непрерывном поиске «хорошей истории», а продажа прав, как и сегодня, приносила литераторам более устойчивое благополучие. Получив за проделанную работу сумму, значительно превышающую годовой доход, Конрад немедленно приобретает «кадиллак», а к осени снимает недалеко от Кентербери более просторный дом, ставший его последней резиденцией.

Заокеанские деньги не только повысили уровень жизни Конрада, они изменили его отношение к новому медиа. Для литераторов рубежа веков важным источником дохода был театр: постановки неплохо оплачивались, приносили известность и становились двигателем книжных продаж. Конрад стал первым серьезным автором, чья репутация сочинителя приключенческих историй в экзотических декорациях позволила ему сделать ставку на кинематограф. Экранизация «Победы» с участием звезды немого кино Лона Чейни состоялась в 1919 году, а уже на следующий год в письме другу[•] Конрад сообщает: «Помимо [прочего], я буду работать над сценарием по „Гаспару Руису“. Стыдно признаться, но чем-то надо жить! Сам Пинкер придет мне помогать!!! Он до смешного скрытничает, но я думаю, что ему предложили кругленькую сумму за конрадовский сценарий. Если уж пришлось пасть так низко, то, при прочих равных, я предпочту кинематограф сцене. Кино — это всего лишь дурацкие колена для простаков, а вот театр может скомпрометировать автора куда сильнее, поскольку способен обогатить саму душу произведения, как на изобразительном, так и на интеллектуальном уровне...»^{••}

Очевидно, что любых посредников между своими произведениями и читателем Конрад считал чем-то избыточным, лишним звеном, уступкой экономической необходимости. Он сам хотел проецировать движущиеся картинки перед внутренним взором зрителя. В 1897 году, когда кинематограф был

- Литератору Ричарду Керлу.
- The Collected Letters of Joseph Conrad, vol. 7.

еще балаганным развлечением, Конрад в предисловии к повести «Негр с „Нарцисса“» пишет: «Цель, которую я пытаюсь достичь, состоит в том, чтобы силой печатного слова заставить вас услышать, почувствовать, но прежде всего — увидеть». В этом и проявляется «модернизм» Конрада: он не рассказывает истории, подводя читателя к заранее намеченным выводам, он их живописует; причем живописует не как чтящий конвенции академист, но как верный собственным впечатлениям импрессионист. В этой точке зрения пересекаются новейшие течения живописи и литературы: жанр и сюжет уже не столь важны, главное — это авторское видение. Но молодому искусству кино до этого еще далеко, и авторское видение самого Конрада Голливуд переварить не смог: к экранизации его сценарий под названием «Силач Гаспар» не приняли. Тем не менее подход засчитан: Конрад — первый крупный европейский писатель, решивший самостоятельно адаптировать свое произведение для кино.

Неудачливый сценарист Конрад к началу 1920-х — один из самых тиражных современных писателей в англоязычном мире, на него рисуют карикатуры, журнал *Time* выходит с его портретом на обложке. Собираясь в турне по США, он пишет своему агенту: «Не думайте, я не стану бранить кино, напротив, я собираюсь их [американцев] умаслить. <...> Я набросал в общих чертах план лекции или, скорее, непринужденной беседы, тезисы которой на первый взгляд могут показаться весьма экстравагантными: искусство образного письма в своей основе зиждется на тех же принципах сценического движения, что и кинематограф, с той лишь разницей, что художник — устройство куда более тонкое и сложное, чем камера, с куда более широким охватом, пусть и менее точной передачей изображения»[•]. Стремясь «умаслить» помешанных на кино американцев, Конрад выдает метафору, которую по сей день разрабатывает целое направление теории искусств, а также обозначает дистанцию между своим творчеством и его киноинтерпретаторами.

• The Collected Letters of Joseph Conrad, vol. 8.

Первым, кто попытался преодолеть эту дистанцию, был Орсон Уэллс — нью-йоркский вундеркинд, скандально известный радиопостановкой «Войны миров»[•]. На волне славы Уэллс прибывает в Голливуд, чтобы снять свой дебют — «Сердце тьмы». Он уже ставил эту вещь в своем радиотеатре и считает, что «нет на свете другого писателя, чьи произведения можно было бы буквально проецировать на экран». Это становится основой его художественного метода: все, что происходит на экране, зрители должны видеть глазами альтер эго автора — капитана Чарльза Марлоу. Чтобы крепче навязать свое видение, до начала основного действия Уэллс помещает зрителя в клетку, где тот должен почувствовать себя канарейкой, а затем проводит его из тюремной камеры на электрический стул. Пробы зрителя на роль камеры (или наоборот) Уэллс заканчивает словами: «Это кино вы не посмотрите, вы его проживете». Если Конрад предвосхитил развитие кинематографа, то Уэллс в 1939 году ставит перед собой задачи, которые сегодня решают компьютерные шутеры. Для выполнения этих задач выдающийся оператор Грегг Толанд придумал сложные механизмы и монтажные приемы, а всю историю уложили в 165 долгих планов. Марлоу, которого камера видела только в отражении реки, должен был сыграть сам Уэллс, Куртца — тоже. Столь радикальные решения насторожили студийное начальство, кроме того, бюджет фильма грозил серьезно превысить оговоренную сумму. Картину закрыли, и Уэллсу пришлось действовать по плану Б — так появился «Гражданин Кейн».

Понадобилось тридцать лет, чтобы вместо аккуратно выбритых продюсеров золотого века решения стали принимать бородатые деятели Нового Голливуда. Тридцатилетние режиссеры перестроили индустрию под нужды авторского кинематографа, по сути совершив модернистский переворот в американском кино. Две ключевые фигуры этого движения Фрэнсис Форд Коппола и Джордж Лукас в 1969 году учредили компанию American Zoetrope, и одним из первых проектов

• 30 октября 1938 года инсценировка репортажа «с места событий» заставила тысячи слушателей спасаться бегством и баррикадироваться в подвалах, а репортеров — прославить начинающего режиссера и его радиотеатр «Меркури».

независимой киностудии стала вольная экранизация «Сердца тьмы». Фильм должен был стать высказыванием на самую болезненную для Америки 1960-х тему. Название «Apocalypse Now» — производное от популярного среди хиппи слогана «Nirvana Now»; действие перенесено из Конго 1880-х в охваченный войной Вьетнам 1960-х, торговец слоновой костью (Куртц) стал полковником спецназа, а посланный ему на помощь капитан — профессиональным убийцей. Авторы транспонировали все аккорды в совершенно другую тональность, однако конрадовская мелодия узнается безошибочно. Поэтому, когда Мур говорит: «Самое интересное в экранизациях Конрада — это модус и степень неверности литературному источнику, на которую режиссер отваживается ради новых и более равноправных отношений между прозой и кинематографом», — мы согласно киваем.

Лукас хотел снять малобюджетное мокьюментари прямо во время военных действий, но армейское начальство отказалось сотрудничать. В 1974-м Zoetrope выпустила второго «Крестного отца», и, став миллионером, Коппола вернулся к проекту уже режиссером • масштабной постановки. В качестве оммага на роль Куртца был приглашен Орсон Уэллс, но ехать в джунгли тот, как и многие другие, отказался. Не без труда Коппола собрал команду, договорился с диктатором Маркосом о найме американской военной техники и на пять месяцев отправился на Филиппины. Там уже все пошло по Конраду — то есть не по плану: тропический тайфун разрушил большую часть декораций, филиппинские вертолетчики улетали прямо во время съемок воевать с повстанцами на юге страны, у исполнителя главной роли Мартина Шина случился инфаркт, Марлон Брандо капризничал ••, группа шалела от жары и наркотиков, режиссер — от страха не справиться с амбициозной задачей. На второй год съемок стало понятно, что Коппола рискует не только

• Лукас отказался от участия, так как был занят «Звездными войнами».

•• Брандо явился на съемки не в форме: он весил на двадцать килограммов больше оговоренного и не знал ни сценария, ни оригинала. Коппола в течение нескольких высокооплачиваемых дней читал ему «Сердце тьмы» вслух прямо на площадке.

своим состоянием, но и психическим здоровьем. Заложив дом и виноградники, он все-таки доснял свой *opus magnum* и, потратив еще два года на монтаж, привез его в недособранном виде в Канны. Получая «Золотую пальмовую ветвь», он сказал, вторя Орсону Уэллсу: «Мой фильм — это не кино. Мой фильм — не о Вьетнаме. Мой фильм и есть Вьетнам».

Пытаясь выловить в океане идей и событий те, что соответствуют усмотренной нами логике, мы часто грешим пристрастным подбором цитат. Однако выросшие из конрадовского визионерства рифы слишком высоки, чтобы не заметить, как они выстраиваются в гряде, обуславливающую в том числе и наш с вами ландшафт. Еще один такой пик можно было бы назвать в честь одной из самых успешных кинофраншиз в истории. В 1977 году Ридли Скотт снял свой первый фильм «Дуэлянты». Это одна из наиболее близких к тексту (и по духу) экранизаций Конрада: в хорошо проработанных декорациях времен наполеоновских войн рассматривается социальный концепт офицерской чести и демонстрируется его (как и любого другого концепта) условность. «Дуэлянты» получили в Каннах приз за лучший дебют. По собственному признанию, рассказ «Дуэль» режиссер выбрал не из особой любви к автору. За пару лет до этого произведения Конрада стали всеобщим достоянием — истек срок копирайта, и покупать права было не нужно[•]. Тем не менее эпиграфом к сценарию следующего фильма стала строчка из «Сердца тьмы»^{••}, а все действие «Чужого» происходит на космическом корабле «Ностромо». Так называется опубликованный в 1904 году роман, сюжет которого разворачивается в вымышленном южноамериканском городе Сулако. Корабль поменьше, на котором эвакуируется героиня Сигурни Уивер, называется так же, как шхуна из упомянутой выше новеллы «Негр с „Нарцисса“». Снимая сиквел «Чужие», Джеймс Кэмерон решил продолжить традицию и назвал космолет «Сулако». С тех пор названия всех космических кораблей всех выпусков франшизы, включая кроссоверы («Чужой

- К слову, в нашем случае этот фактор тоже сыграл свою роль.
- «Мы живем и грезим в одиночестве...»

против хищника») и компьютерные игры («Alien: Isolation») заимствуются из книг Конрада. Разумеется, в деятельности этого тандема просматривается и более глубокий уровень: подавлением и манипулированием в антиутопиях Ридли Скотта («Бегущий по лезвию», «Чужой») занимается не государство, как в классических образцах жанра, но глобальные корпорации, а это, по мнению австралийской исследовательницы Патрик Пирсон, — результат влияния произведений Джозефа Конрада. Об этом можно спорить, однако опубликованный в нашем сборнике рассказ «Анархист» подкрепляет данный тезис в той его части, что Конрад одним из первых разглядел монструозную сущность глобальных корпораций, впрочем, как и саму глобализацию.

Последний фильм, на котором мы здесь остановимся, — малазийский блокбастер «Ханйут», снятый в 2012 году по мотивам романа «Причуда Олмейера». Пройдя вместе с кинематографом от становления до апогея, Конрад сделал круг и в XXI веке оказался там, где черпал вдохновение для своего литературного дебюта, — на берегу малазийской реки Пантай. Только теперь историю о голландском торговце, его малайской жене и прекрасной дочери, которая между «просвещенной» Европой и «дикой» Азией выбирает последнюю, рассказывает не европейский писатель, но малазийский режиссер, мэтр национального кинематографа У-Вэй Хаджи Шаари. «Я обожаю Конрада. Он один из немногих авторов, который пишет о малайцах без покровительственного тона. <...> Если б мне довелось встретить Конрада сейчас, я бы сказал примерно следующее: „Мистер Конрад, простите великодушно, но ваша история теперь стала моей историей“». И пусть в оригинале, конечно, story, а не history, налицо обратная апроприация совершенно в духе теории постколониализма, провозвестником которой и был Джозеф Конрад.

Конрад и пост-колониальная теория

Жизнь Джозефа Конрада пришлось на расцвет империй, большая история во многом определила его судьбу. Подданный двух самых крупных, но развивавшихся по принципиально разным траекториям империй[•], Конрад прекрасно знал весь репертуар колонизации — как внутренней, так и внешней. Отпрыск колонизировавшей Украину шляхты^{••}, он понимал, каково это — быть хозяином земли, на которой работают люди «другой крови». Сын польского патриота^{•••}, сосланного в Вологду, он хорошо усвоил, как реагирует метрополия на всякое освободительное движение. Юнга на французском судне, он видел порядки на колонизированных Карибах. Офицер британского торгового флота — знал, на чем держится империя, над которой никогда не заходит солнце. Один из самых громких и кровавых эпизодов бельгийской колонизации Конго послужил фоном для самого известного его произведения. Говоря словами американского исследователя Джона Мак-Клур: «Конрад одновременно был туземцем колонизированной страны и принадлежал к обществу колонизаторов». В своей книге «Киплинг и Конрад, колониальная проза»^{••••} Мак-Клур сравнивает творчество носителя «бремени белого человека»,

• Получив британское подданство, Конрад долгое время вел переписку с Петербургом, чтобы отказаться от российского.

•• По подсчетам французского историка Даниэля Бовуа, на момент раздела Польши около миллиона украинцев были собственностью семи тысяч польских землевладельцев.

••• После Третьего раздела Польши значительная часть страны, включая Варшаву, входила в состав Российской империи как Царство Польское.

•••• Kipling & Conrad, the Colonial Fiction. Harvard University Press, 1981.

просветителя «дикарей» Киплинга с работами его антипода Конрада, в которых за приключенческими сюжетами скрываются подлинные мотивы колонизаторов и угадываются опасности, которыми империализм грозит всем участникам процесса. Это измерение конрадовской прозы считывали и современники. В рецензии на дебютный роман «Причуда Олмейера», опубликованной в сингапурской газете Straits Times в 1896 году, безымянный критик пишет: «Властью европейцев открытая война сменилась здесь худым миром. И чем бы ни прикрывали мы данное обстоятельство, сделано это было в интересах торговли, а не цивилизации. Цивилизации не нужны новообращенные, напротив, она отгораживается от них стеной расовых предрассудков. Коренные народы вынуждены судить о цивилизации и христианстве по моральным качествам торговца и манерам матроса — ведь именно с этими европейцами им приходится сталкиваться чаще всего. Результаты плачевные, но не замечать их нельзя».

Спустя несколько лет в первой главе «Сердца тьмы» Конрад устами Марлоу выскажется еще более однозначно: «Они захватывали все, что могли захватить, и делали это исключительно ради наживы. То был грабеж, насилие и избиение в широком масштабе, и люди шли на это вслепую, как и подобает тем, что хотят помериться силами с мраком. Завоевание земли — большей частью оно сводится к тому, чтобы отнять землю у людей, которые имеют другой цвет кожи или носы более плоские, чем у нас, — цель не очень-то хорошая, если поближе к ней присмотреться. Искупает ее только идея, идея, на которую она опирается, — не сентиментальное притворство, но идея. И бескорыстная вера в идею — нечто такое, перед чем вы можете преклоняться и приносить жертвы».

Действительно, во второй половине XIX века «креста и меча» для обоснования экспансии уже не хватало. В колонизации стремились поучаствовать все европейские державы, и каждая из них нуждалась в идеологии. Двумя столпами таких идеологий стали цивилизаторская миссия и расовое (национальное) превосходство. Примерно в то же время складывается идеология превосходства классового. К чему

привело прямое столкновение этих идеологий, лишившихся к 1930-м годам всякого гуманистического флера, Конраду увидеть не довелось, однако в своих произведениях он последовательно развенчивает и ту, и другую, демонстрируя, как в самых разных обстоятельствах они становятся инструментом самовозвеличивания и подавления, насилия и грабежа. Так герой впервые опубликованного здесь рассказа «Анархист» — механик Поль, обладатель «горячего сердца и неокрепшего ума», сперва становится жертвой парижской банды, промышляющей во имя всеобщего равенства, а когда оказывается на другом континенте, управляющий скотоводческим хозяйством гигантской корпорации по производству суповых концентратов делает из него раба. Обратите внимание, как Конрад актуализирует проблему, в самом начале рассказа подчеркивая, что продукция этой фирмы благодаря рекламе известна всем и очень многие ею пользуются. Рабский труд механика Поля есть и в нашем разведенном бульоне.

Скептические взгляды Конрада на левую идеологию не позволяли советским переводчикам работать над некоторыми произведениями, что в свою очередь дало нам возможность сделать это чуть более века спустя после публикации. Критика колониализма и уникальный в своей многогранности опыт автора объясняют интерес, который проявляет к его творчеству постколониальная теория.

Теория эта изучает политику репрезентации: как в культуре колонизаторов изображаются завоеванные народы (а позднее и наоборот — как аборигены видят завоевателей), как художественные произведения работают на создание стереотипов, формируют и подкрепляют империалистское мышление, явно или скрыто оправдывают колониальные практики. Эту столбовую сегодня академическую дорожку в 1978 году проторил Эдвард Саид, опубликовав программный труд «Ориентализм», в котором подробно разобрал предрассудки о жителях Ближнего Востока, впечатанные в западную культуру ее лучшими представителями (например, Флобером и Лоуренсом Аравийским). Книга была переведена на тридцать шесть языков, принесла автору всемирную известность и, как это часто бывает, привлекла

внимание к его более ранним работам. А первый труд, выросший из диссертации по английской литературе, которую Саид защитил в Гарварде, называется «Джозеф Конрад и вымысел автобиографии»[•]. Среди прочих важных рассуждений Саид показывает, как в произведениях Конрада отражается колониальная политика европейцев, их цивилизаторский энтузиазм и его, как правило неприглядная, подоплека. Для нас эта книга тем более интересна, что в ней рассматриваются все опубликованные здесь произведения, включая, разумеется, и автобиографию.

Биография самого Эдварда Саида перекликается с конрадовской, особенно по части встраивания в различные (и не всегда доброжелательные) культурные среды. Саид родился в Иерусалиме в 1935 году в семье палестинских христиан, которые после создания государства Израиль вынуждены были переехать в Каир. В возрасте семнадцати лет Саид впервые оказался в США, став первым студентом арабского происхождения на кафедре английской литературы Принстона. Опыт пребывания по обе стороны культурной границы позволил Саиду разглядеть и концептуализировать ориентализм — призму, через которую колонизаторы и колонизированные смотрят друг на друга.

Постколониальный дискурс немедленно перекинулся на Индию, Африку, Латинскую Америку и далее — весь мир. На просторы Российской империи трафарет постколониальной теории первым наложил Александр Эткинд, из чего получилась работа «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России». В книге, объединяющей историографическую и литературоведческую традиции, автор дает новое прочтение московской экспансии как континентальной (внутренней) колонизации, а в произведениях русских классиков («Ревизор», «Мертвые души», «Очарованный странник» и прочих) усматривает черты колониальной прозы.

Конраду Эткинд посвящает целую главу, в которой сопоставляет «Сердце тьмы» и «Очарованного странника», Чарльза

• Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, 1966.

Марлоу и Ивана Флягина, конголезскую сельву, в которой оказывается англичанин, и среднеазиатские степи, куда заносит русского, устье Темзы, где на пришвартованной яхте друзья слушают рассказ о непостижимом Куртце, и Ладожское озеро с идущим на Соловки пароходом, пассажиры которого внимают автобиографической повести, в которую мало кому верится. По Эткинду, произведение Лескова — такой же документ внутренней колонизации, как повесть Конрада — внешней. Это, безусловно, важное исследование, и мы надеемся, что со временем в этом ракурсе будет рассмотрен и русский фольклор, и устные традиции коренных народов от Кавказа до Чукотки. Однако какими бы убедительными ни были аргументы, сам Конрад, вероятно, отнесся бы к подобным интерпретациям без энтузиазма. «Теория, — писал он своему другу и редактору Гарнетту, — каменная плита на могиле истины». Всякая натяжка, встраивание, упрощение, экстраполяция представлялись ему насилием над правдой, как и любое продиктованное политической или литературоведческой теорией толкование его текстов. И все же подтверждения постколониальных тезисов легко обнаруживаются на страницах его произведений, в том числе и тех, что впервые публикуются в этом сборнике. Во времена, когда превосходство одной нации над другими имело вполне общепринятое «научное» обоснование, Конрад проявляет поистине удивительную непредвзятость, которая среди прочего объясняется его многосторонним опытом. Впрочем, тот же многосторонний опыт питает и единственный национальный предрассудок, в котором можно заподозрить Конрада, — и предрассудок этот напрямую касается нас.

Конрад и Россия

Как ни печально, приходится признать: Джозеф Конрад не любил России. Не любил отчетливо, артикулировано, активно. Ни грандиозность проекта, ни жертвенность, ни масштаб личностей, его воплощающих, не впечатляли его, как не впечатляло бывшее в ту пору на небывалом подъеме русское искусство. Во всех победах России он видел торжество грубой, бессмысленной силы, во всех поражениях — естественный исход в отсутствие здоровых устремлений и морального стержня.

Его первым развернутым высказыванием на эту тему стала статья «Самодержавие и война», вошедшая в сборник «Заметки о жизни и литературе». Поводом для статьи послужили неудачи России в войне с Японией. Конрад стремится развеять миф о всемогуществе русского оружия и предсказать скорый конец самому самодержавию. Базовой метафорой для текста (который еще предстоит перевести) служит высказывание Бисмарка. Князь провел в Петербурге три года (1859-1861) в качестве посла Пруссии и дал стране такое определение: «La Russie, c'est le néant»[•]. Это, вероятно, апокриф, поскольку большинство ссылок на афоризм ведут к конрадовским же текстам. Мастер амбивалентности в прозе, в публицистике Конрад предпочитает однозначность и на протяжении довольно пространного текста бьет в одну и ту же точку, находя сотни подтверждений основным тезисам: самодержавная Россия — это «персонаж из ночного кошмара, восседающий на троне из страха и подавления», ее военная мощь — призрак, который,

• Россия — это пустота / прорва / бездна (*франц.*).

наконец, изгнали японцы, самодержавие — историческое зло, исправить которое может только могила. Приведем для наглядности несколько цитат.

«Впервые западный мир получил возможность заглянуть столь глубоко в черную бездну, разделяющую бездушное самодержавие, которое претендует и даже мнит себя арбитром Европы, и душу народа, который оно держит в голоде и невежестве. Это и есть основной урок этой войны, незабываемый и наглядный».

«Даже на кровавой заре своего существования Россия дышала воздухом деспотизма, от самого верха до самого низа своей организации она пропитана темным произволом. Отсюда ее непроницаемость для того подлинного, что содержится в западной мысли. Пересекая границы России, западная мысль попадает под чары самодержавия и становится пагубной пародией на самое себя».

«Говорят, что время для реформ в России прошло. Это лишь поверхностный взгляд на более фундаментальную истину: за всю историю человечества в России не было и не могло быть подходящего времени для реформ. Продуманный план реформ несовместим со слепым абсолютизмом; а в России не было даже того перепутья, к которому приверженцы пусть увядающей, но осознанной традиции могли бы, после вековых блужданий, вернуться, чтобы выбрать другую дорогу. <...> Для самодержавия Святой Руси существует только один способ реформации — самоубийство».

«В самих ошибках и злоупотреблениях европейских монархий содержатся зерна мудрости. У них есть прошлое и будущее, в них есть человечность. Русское самодержавие ничему не наследует; у него нет исторического прошлого, как нет и надежды на историческое будущее. Оно может только закончиться. Ни усердные исследования, ни умопомрачительная благожелательность не помогут представить русское самодержавие как период развития, через который общество и государство должны пройти на пути к полному осознанию своего предназначения».

«Главный государственный секрет этой империи, которую князь Бисмарк имел прозорливость и мужество назвать

le néant, — это умение выкорчевывать всякую осмысленную надежду. Поэтому употреблять по отношению к России слово „эволюция“, которое и есть суть выражение наивысшей осмысленной надежды, — было бы грубой лестью. В могиле не может быть эволюции. Другое, куда менее научное понятие все чаще используется в связи с будущим России, слово неоднозначное, вызывающее и ужас, и надежду, и слово это — „революция“».

«В каком бы восстании не нашло свой конец российское самодержавие, эта революция не преподнесет человечеству полезного морального урока. Это может быть только восстание рабов. Весьма трагическое обстоятельство, но единственное, что можно пожелать народу, который не знает ни закона, ни порядка, ни справедливости, ни права, ни правды о себе, ни об остальном мире, не знает ничего, кроме капризов своих безответственных хозяев, — это чтобы в приближающуюся тяжелую годину он нашел себе если не организатора или законодателя, мудростью сравнимого с Ликургом или Солоном, то хотя бы энергию и силу отчаяния в еще неизвестном нам Спартаке».

Это, конечно, кривое, но все же зеркало, в котором и век спустя угадываются знакомые черты. Оставив за скобками личные мотивы, питавшие столь непримиримую позицию (которых было предостаточно[•]), попробуем разобраться, почему объяснимая ненависть к России как политическому субъекту сочеталась у Конрада с неприятием всего русского вообще и ключевой фигуры нашей литературы Ф.М. Достоевского в частности.

На литературную арену Конрада вывел Эдвард Гарнетт — редактор, рецензент издательства, важный в Лондоне человек, который одобрил к печати первый роман недавно сошедшего на берег моряка. Гарнетт и Конрад остались друзьями на всю жизнь. Жена Гарнетта — Констанс — переводчица, открывшая англоязычному читателю Пушкина, Гоголя,

• В вологодской ссылке мать Конрада заболела туберкулезом, вернуться на родину ей позволено не было, но семью перевели в Чернигов, где она умерла, когда Джозефу было шесть лет. Через четыре года скончался и его отец.

Тургенева, Толстого, Чехова, Достоевского. Любовь к русской культуре ей привили друзья мужа Волховский и Степняк, эмигранты-революционеры, литераторы, учредители «Общества друзей русской свободы» — организации, которая отвечала за связи русского революционного подполья с либеральной общественностью Запада. Волховский, который бежал из сибирской ссылки через Америку, давал ей уроки русского, а Степняк, заколовший в Петербурге главу Третьего отделения генерала Мезенцева, стал редактором ее переводов. Это были люди ближнего круга, нередко упоминаемые в письмах самим Конрадом в таком, например, контексте: «Твои слова взорвались во мне, как бочки в пороховом погребе. Во всей вселенной только у взрыва бывают такие продолжительные последствия. Он оставляет по себе хаос, воспоминания, свободное место, пространство для движения. Спроси у своих друзей-нигилистов. Однако на куски меня все же не разнесло. Я как русская государственная машина: чтобы изменить меня, понадобится не один, но многого запалов. Надеюсь, этим ты не ограничишься, собственная личность тяготит меня неимоверно».

Очевидно, что Конрад нередко грелся у главного очага русской культуры в англоязычном мире, при этом весьма остро подшучивал над его хозяином: «Ты так русифицирован, дорогой мой, что чуешь правду, только когда она пахнет щами, каковой аромат немедленно вызывает твое глубочайшее уважение. Нельзя забывать, что ты есть русский посол в республике Литературы». В русской литературе для Конрада было два полюса: «слишком русский» автор «Братьев Карамазовых» («Невообразимая куча ценного сырья. Потрясающе плохая проза производит мощное впечатление, прямо выводит из себя. Уж не знаю, за что Достоевский выступает, что он хочет нам доказать, но точно знаю, что для меня он слишком русский. На мое ухо это звучит как лютая брань допотопных времен») и почти совсем не русский Тургенев («Я восхищаюсь Тургеневым, но в действительности Россия для него не более чем холст для художника. Если б все его герои жили на Луне, менее великим он от этого не стал бы. Его

русские — то же, что итальянцы у Шекспира»). Известно, что и Достоевский, отбывавший каторгу вместе с несколькими политическими из поляков, составил о них пренебрежительное мнение, которое отразилось впоследствии и в публицистике, и в прозе. Так, игрок из одноименного романа жалуется: «В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французику, что нет возможности вымолвить слова, если вы только русский». Впрочем, шовинизм и ксенофобия русского гения лишь подтверждали общую теорию Конрада о бездонном невежестве России.

Другое дело — Тургенев. После некоторых уговоров Конрад даже согласился написать предисловие к гарнеттовской книге о нем, уточнив, что не хочет представлять знатоком России, ведь он даже не знает русского алфавита (в чем, впрочем, есть сомнения[•]). В итоге, поддавшись на уговоры, он пишет предисловие, но и здесь задирает своего метафизического оппонента: «Обладать таким величием и одновременно такой тонкостью — фатальное сочетание для художника, как и для любого человека. И страдания эти принял не припадочный, одержимый ужасами Достоевский, но Тургенев, человек, от рождения одаренный всевозможными талантами <...> Панегирик должен был закончиться противопоставлением Тургенева куда более популярному «малахольному гиганту, который с бессмысленным пафосом смутно описывает бесцельное мистическое страдание, которое выставляется напоказ страдания же ради». В финальный текст этот пассаж не вошел, но кому он адресован, сомнений не вызывает.

Чем яростней Конрад отрекся от русского влияния, тем очевидней это влияние становилось. В 1907 году он публикует роман «Секретный агент»: анархист Верлок на деньги иностранного государства (предположительно, России) планирует подорвать Гринвичскую

• Нелюбовь Конрада к империям, разделившим его родину, перекинулась и на языки этих империй. С трех до десяти лет он жил в России, потом учил немецкий в краковской гимназии, но утверждал, что не знает ни слова ни по-русски, ни по-немецки.

обсерваторию — символ западного прогресса. (Интерес России в том, чтобы под давлением общественности Британия и Европа перестали укрывать у себя революционеров.) А в 1911 году выпускает роман «На взгляд Запада», в котором коллизия «Преступления и наказания» помещена в мир «Бесов». Главный герой Разумов предает своего сокурсника — бомбиста Халдина и, став сексотом охраны, прибывает в логово революционеров в Женеву. Однако любовь к сестре Халдина, а также беспринципность и мелочность вожаков, заставляет его все переосмыслить: он раскрывает карты и сообщает революционерам о своем предательстве. «На взгляд Запада» — это Достоевский наоборот, где вместо богоискательства и духовного перерождения — подробный психологический разбор мотивов, вместо сопереживания — ироничная отстраненность, вместо замутненных светлыми слезами надежды глаз — поджатые губы и твердый взгляд в неизбежное. Про параллели и заимствования Конрада у Достоевского написаны тома, а его идиосинкразия в отношении Федора Михайловича породила целое направление, получившее название «русской революции» в конрадоведении. Очевидно, что оба автора бурили человеческую породу в одном направлении, но пользовались принципиально разными орудиями: двигатель прозы Достоевского — непостижимого диапазона душевные метания героев плюс ирония божественного замысла — работает на озарениях, переданных предельно понятным, почти разговорным языком; напротив, герой Конрада, сталкиваясь со стихией (будь то тайфун, безумие или молва), делает что должно, а потом уже приходит к нередко парадоксальным, но всегда артикулированным умозаключениям, запечатленным в многословных, неоднозначных пассажах. Один живет в иррациональном, но ясном мире религиозных откровений, другой в неизведанном, смутном, но лишенном всякой мистики мире человеческой морали. Укорененный в родном языке литератор, пропустивший через себя весь спектр (слева направо) русской мысли, Достоевский обеими ногами упирался в родной ему мир и до сих пор остается эмблемой загадочной

русской души. Человек, который всю жизнь произвольно выстраивал свои профессиональные и культурные идентичности по самым неочевидным траекториям, английский писатель, к которому англичане прислушивались, чтобы понять, Конрад стоял «на почве той удивительной общности, что схожими надеждами и страхами объединяет всех живущих на этой земле». Свою литературную дуэль с Федором Михайловичем Конрад проиграл: вера Достоевского помогала ему бесстрашно заглядывать в свое персональное сердце тьмы, а вот Конрада работа над русской темой заставила разглядеть в себе то самое бессознательное и хтоническое, чего он бежал всю жизнь. Дописав роман, Конрад на несколько недель слег с сильнейшим нервным истощением, бредил, говорил со своими героями по-польски, читал погребальные молитвы. К России в своем творчестве он больше не возвращался.

Февральская революция, которая вызвала в либеральной среде по обе стороны Атлантики чуть не ликование, оставила Конрада равнодушным. Американскому адвокату Джону Куинну, скупавшему его автографы, Конрад пишет: «Простите, но восторгов по поводу русской революции я не испытываю, увольте. Революцию можно обстричь за двадцать четыре часа, а вот природу этой страны изменить за сутки не удастся. Россия всегда была ненадежным союзником — таким и остается... Львов, Милюков и компания настолько неспособны кого-либо подавить, что сами того и гляди окажутся на виселице. Сейчас там нет вообще никакого правительства. Экспертов по организации процессов, которых вы намерены послать в Россию (так, во всяком случае, пишут газеты) ждет нечто поразительное и обезкураживающее. Это как выбросить человека за борт, чтоб он организовал морские волны». Разумеется, Конрад презирал ленинских «фигляров» и аплодировал «чуду на Висле» — поражению Красной армии в советско-польской войне, обеспечившему независимость его родине, однако сама большевистская диктатура в его картине мира была лишь печальной неизбежностью.

В России на злопыхательства Конрада реагировали закономерно — никак. И «Тайный агент», и «На взгляд Запада» были переведены практически сразу по выходу — в 1908 и 1912 году соответственно — и даже имели определенный успех, тем более что в событиях и героях последнего романа легко угадывались перипетии и персонажи недавней русской истории. «На взгляд Запада» считался первой серьезной попыткой осмысления русской революции извне, и каким бы критическим оно ни было, речь там идет об условных народниках и эсерах, поэтому и в большевистской России антагонизма по отношению к Конраду поначалу не наблюдалось, а интерес читающей публики, напротив, возрос. Корней Чуковский, ведавший отделом английской прозы в издательстве «Всемирная литература», отредактировал перевод и написал вступление к «Избранным сочинениям», вышедшим среди первых томов задуманной Горьким грандиозной библиотеки; частные и государственные издательства ежегодно публиковали его произведения. Больше других для популяризации Конрада сделали поэт и литературный критик Евгений Ланн и его жена Александра Кривцова, в переводе которых современный читатель и знает Конрада. В 1924 году Ланн задумал выпустить десяти томное собрание сочинений в издательстве «Земля и фабрика» и до начала 1930-х успел выпустить половину.

Двадцать пять самых суровых лет про Конрада в России не вспоминали, и первая крупная публикация прошла уже в разгар «оттепели» — двухтомник избранных произведений, переведенных Кривцовой и Ланном, издали в 1959 году, и вещи из него до сих пор перепечатываются в разных комбинациях. Лишь в 2012 году в совместном проекте издательств «Наука» и «Ладомир» вышел ограниченным тиражом новый, третий по счету перевод «Тайного агента» и «На взгляд Запада», выполненный А. Антипенко.

Приступая к работе над малой прозой Конрада, мы ставили перед собой задачи познакомить читателя с неиздававшимися по-русски произведениями классика, с его весьма критическим, но оттого не менее интересным взглядом на

роль нашей страны в истории[•], актуализировать наследие Конрада, сделать его голос в русской культуре чуть более отчетливым. Ведь, следуя конрадовскому афоризму: «Подлинная жизнь человека — это то, что посвящено ему в мыслях других людей...»

• Помимо биографии, тема России затронута в рассказе «Князь Роман» — манифесте польского идеалистического патриотизма.

Благодарности

Сложно переоценить благородный порыв, приведший слушателей мастерской обучаться ремеслу, которое не причислишь к высокооплачиваемым или перспективным. Основным стимулом для большинства слушателей было саморазвитие, тем отраднее успехи тех, кто решил заняться литературным переводом профессионально — полка изданных нашими слушателями переводов ширится с каждым годом. Всем слушателям мастерской я выражаю глубокую и искреннюю признательность. Все ошибки и недочеты, разумеется, идут на мой счет.

Идею формата мне подсказал писатель Андрей Аствацатуров, и первый набор прошел в рамках его Литературной мастерской — за что ему большая благодарность.

Спасибо пространству «Тайга», которое стало нам домом на долгие четыре года, пока алчность собственников не лишила Петербург этой важной культурной институции. Спасибо коворкингу «Практик», приютившему нас после закрытия «Тайги».

Спасибо писателю Леониду Абрамовичу Юзефовичу, который одним из первых прочел «Личное дело» по-русски и поделился своими впечатлениями и ценными замечаниями. Спасибо издательству Ad Marginem за понимание и высокий профессионализм. Спасибо друзьям и родственникам за поддержку. Спасибо Google и Skype за инструменты, которые позволяют участвовать в мастерской слушателям от Хабаровска до Сан-Франциско.

Источники текстов:

Личное дело / A Personal Record, 1912, Предисловие / Author's Note, 1920 (для собрания сочинений издательства Doubleday).

«Возвращение»: The Return (1898) // Tales of Unrest. 1898.

«Анархист»: An Anarchist (1905) // A Set of Six. 1908.

«Осведомитель»: The Informer (1906) // A Set of Six. 1908.

«Граф»: Il Conde (1908) // A Set of Six. 1908.

«Компаньон»: The Partner (1911) // Within the Tides. 1915.

«Все из-за долларов»: Because of the Dollars (1914) // Within the Tides. 1915.

«Князь Роман»: Prince Roman (1911) // Tales of Hearsay. 1925.

«Сказка»: The Tale (1917) // Tales of Hearsay. 1925.

Переводчики:

Над переводом работало несколько выпусков Мастерской, поэтому, чтобы никого не забыть, а с другой стороны, не мучить читателя списками, все участники проекта указаны ниже в алфавитном порядке. Порядковый номер в скобках указывает, над какими конкретно текстами работал тот или иной участник.

Личное дело — 1	<i>Алешина Наталья (1)</i>
Возвращение — 2	<i>Басова Анастасия (2, 7, 9)</i>
Осведомитель — 3	<i>Белоглазова Елена (6)</i>
Анархист — 4	<i>Белоглазова Марина (6)</i>
Граф — 5	<i>Бергарт Анастасия (7, 9)</i>
Компаньон — 6	<i>Бородина Галина (8)</i>
Князь Роман — 7	<i>Бревнов Борис (6)</i>
Все из-за долларов — 8	<i>Винокурова Вика (1)</i>
Сказка — 9	<i>Волоцкий Арсений (8)</i>
	<i>Воскресенская Елизавета (1)</i>
	<i>Гаврилова Анна (1)</i>
	<i>Гапонова Дарья (2)</i>
	<i>Гончарова Ольга (2)</i>
	<i>Гудкова Анна (3, 4)</i>
	<i>Данилова Екатерина (1)</i>
	<i>Дельядо Анна (7, 9)</i>
	<i>Добкина Елизавета (1)</i>
	<i>Друнин Александр (1, 3, 4)</i>
	<i>Духавина Дария (7, 9)</i>
	<i>Егорова Ирина (6)</i>
	<i>Елисеева Екатерина (1)</i>

Журавлева Мария (1)
Завьялова Анна (6)
Зильбербург Мария (1, 2, 6, 7, 9)
Зорина Марина (2)
Иванов Дмитрий (7, 9)
Исаева Ксения (1)
Каварнукаева Анна (1)
Капустин Владимир (2)
Карташкин Алексей (6)
Киселева Наталья (4)
Климов Иван (6)
Козлова Виктория (1)
Колмагорова Татьяна (1)
Кольващенко Дарья (6)
Лаппо-Данилевская Ася (8)
Лемешева Марина (4)
Лидовская Елена (1)
Ломова Маша (8)
Лурье София (1)
Макарова Виктория (2)
Маранджян Карина (1)
Мартыненко Никита (1)
Матвеева Анна (7, 9)
Махлаюк Артур (8)
Медведева Мария (1)
Муртазина Анна (4)
Немалевич Сергей (1)
Никифоров Иван (8)
Никифоров Николай (6)
Нурдавятова Инна (1)
Османова Кира (1, 2, 3, 4)
Паго Анна (8)
Панайотти Дарья (7, 9)
Панайотти Дмитрий (7, 9)
Панферова Ирина (2)
Патрухина Аня (8)
Перова Елена (1)
Покорская Анна (1)
Подлипаева Кира (1)
Полякова Ольга (2)
Попов Илья (3, 4)
Пыч Татьяна (1)
Резцова Анна (2, 3)
Роговая Юлия (2)
Розенманн Елена (1)
Руднева Елена (3, 4)
Рыбалко Наталья (2, 3, 4, 7, 9)
Рыскина Виктория (1)
Свалова Ася (1)
Сверидов Всеволод (8)
Сергеев Иннокентий (2, 7, 9)
Сергеева Вероника (1)
Силова Ксения (1)
Симановский Евгений (8)
Сорокина Анна (1)
Струнникова Марианна (7, 9)
Суслопарова Анастасия (1)
Таранова Вика (8)
Тихомирова Таисия (1, 6)
Файзахманова Ирина (1)
Фельдман Анна (1)
Феоктистова Таня (1)
Фисун Анна (2)
Флягина Виктория (3, 4)
Хмелева Анна (6)
Хубиева Наталья (1)
Шашкова Ксения (1)
Шевченко Мария (1)
Шиндер Александр (4, 5)
Шоломова Мария (1)
Шошмина Маша (8)
Якубович Ника (9)

Джозеф Конрад
**Личное дело.
Рассказы**

Издатели

Александр Иванов

Михаил Котомин

Выпускающий редактор

Лайма Андерсон

Корректор

Юлия Кожемякина

Дизайн

Екатерина Юмашева, ABCdesign

Все новости издательства

Ad Marginem на сайте:

www.admarginem.ru

По вопросам оптовой закупки книг

издательства Ad Marginem

обращайтесь по телефону: +7 (499) 763-32-27

или пишите на sales@admarginem.ru

ООО «Ад Маргинем Пресс»,

Резидент ЦТИ «Фабрика»

105082, Москва, Переведеновский пер., д. 18

тел.: +7 (499) 763-35-95

info@admarginem.ru